

ВЛАДИМИР  
**КРЮКОВ**

# ЧЁРТОВ ПАЛЕЦ

РЕТРО ДЕТЕКТИВ

АМФОРА

ВЛАДИМИР КРЮКОВ  
**ЧЁРТОВ ПАЛЕЦ**



9 785367 003734  
ISBN 978-5-367-00373-4

## Р Е Т Р О Д Е Т Е К Т И В

Роман Владимира Крюкова «Чёртов палец», впервые опубликованный в Финляндии сразу на двух языках — русском и финском, отныне становится достоянием и российского читателя.

«Чёртов палец» — произведение многогранное, его по праву можно назвать и исторической мелодрамой, и романтическим детективом, и психологическим романом о любви.

Изящный стиль Владимира Крюкова, мастерски нарисованная пленительная атмосфера петербургской жизни 1910-х годов, а также отмеченные финскими критиками точность в изображении эпохи, эмоциональность, субъективизм и психологизм, заставляющие вспомнить творчество Достоевского, Гончарова и Сэмюэла Ричардсона, доставят читателю истинное удовольствие. «Чёртов палец» — это роман для души.

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
*амфора*













Владимир Крюков

# ЧЁРТОВ ПАЛЕЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 АМФОРА 

2 0 0 7

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)  
К 85

*Защиту интеллектуальной собственности и прав  
издательской группы «Амфора»  
осуществляет юридическая компания  
«Усков и Партнеры»*

**Крюков, В.**

К 85 Чёртов палец : [роман] / Владимир Крюков. — СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2007. — 351 с. — (Серия «Ретродетектив»).

ISBN 978-5-367-00373-4

Летом 1912 года князь Феликс Навроцкий, утомлённый светской жизнью и влюблённый в молодую петербургскую красавицу Анну Ветлугину, приезжает в Гельсингфорс на похороны дяди, не подозревая, какую роль эта поездка сыграет в его судьбе...

Юная финляндка Лотта Янсон, прибыв в поисках работы в столицу империи, впервые испытывает чувство любви, но, не успев насладиться счастьем, узнаёт, что у неё есть соперница...

Княжна Анна Ветлугина готова пойти на многое, чтобы вернуть ускользнувшую от неё страсть, но даже ей, блестящей аристократке, имеющей постоянный успех у мужчин, не всегда удаётся противиться року...

Речная полиция вылавливает из Невы труп молодой женщины. Нить от убийства тянется к дьявольски хитрой афере...

УДК 882  
ББК 84(2Рос-Рус)

© Крюков В., 2005  
© Оформление.  
ЗАО ТИД «Амфора», 2007

ISBN 978-5-367-00373-4

Единою блистали вы красою,  
Но разный пламень души волновал.

*Фофанов*



## Пролог

### 1

— Кто это сделал? — спросила классная дама низким, почти мужским, голосом. Она оторвала от доски маленькие колючие глазки, и они беспокойно забегали за толстыми стеклами очков.

Девочки молчали.

— Кто это сделал? — повторила классная дама. Её лицо, упиравшись острым подбородком в белый кружевной воротничок, медленно багровело то ли от смущения, то ли от негодования.

Девочки молчали.

В этот обычный учебный день поздней осени 1907 года в хорошо натопленных классах петербургского N-го института благородных девиц, несмотря на утренний сумрак и холод за окном, было светло и по-домашнему уютно. Но обещавший пройти монотонно и скучно день, — ибо в этот день в расписании не было ни занятий живописью, ни уроков танцев или музыки, вносявших оживление в однообразную институтскую жизнь, — неожиданно начался с маленькой неприятности. И неприятность эта заключалась вовсе не в том, что учитель математики Люлякин захворал и не явился на урок, а в том, что девочки, пользуясь этим обстоятельством, расшалились и не заме-



тили, как в класс вошла отлучившаяся было к инспектрисе классная дама.

— Кто это сделал? — спросила надзирательница в третий раз, чётко обозначив паузы между словами.

Её цепкий взгляд заставил девочек потупить головы. Тишина воцарилась такая, что было слышно, как гудели недавно установленные в классе новые электрические лампы.

— Барышни вы или разбойники с большой дороги? Институтки или гусары?

— Гусары, — раздалось негромкое эхо из белоснежной массы пелеринок.

Девочки захихикали.

— *Qui a dit ça?*<sup>1</sup> — взвизгнула классная дама, прозванная Пинчером за прилизанные волосы и оттопыренные уши.

Девочки снова потупились, но тут же повернулись в сторону Риты Ахмаевой, которая медленно поднималась со скамьи, шурша накрахмаленным передником.

— Что это значит, Ахмаева?! — опешила Пинчер. Она сняла очки, протёрла их бархатным платочком, снова нацепила на нос и в изумлении уставилась на одну из лучших в классе учениц.

Чёрные кавказские глаза Риты — прелестные, по общему мнению институток, — лукаво блестели.

— Вы же знаете, мадам, мы готовим к рождеству спектакль, и некоторые девочки будут в нём гусарами, — проговорила Рита, вскидывая худые плечики, точно ангелочек крылышки.

— Садитесь, Ахмаева. Сейчас вы институтки, а не гусары! Я ещё раз спрашиваю: кто написал этот... мерзкий стишок?

---

<sup>1</sup> Кто это сказал? (фр.)

В классе вновь, торжествуя победу над прочими звуками, загудели электрические лампы. Никто из девочек не желал выдавать виновницу инцидента.

— Я знаю, кто его написал! — нарушил вдруг общее молчание звонкий голосок Риты.

Вслед за робким всплеском удивления по классу прокатилась волна неодобрительного шёпота. Нажмуренные взоры девочек устремились на Ахмаеву.

— Очень похвально! — обрадовалась Пинчер. — Так кто же это написал?

— Это стихотворение написал Барков, — отчеканила Рита.

Звук отхлынувшей от берега волны пробежал по скамьям и замер. Девочки посветлели и на мгновение застыли в ожидании продолжения сцены.

— Какой такой Барков? — удивилась Пинчер.

— Иван Семёнович. Это перевод его стихотворения на французский язык.

Лицо классной дамы приобрело сомнамбулическое выражение. Она несколько секунд усиленно соображала, какие меры необходимо принять в данном случае, но без видимого успеха.

— Садитесь, Ахмаева, — сказала она, приходя в себя. — Я в вас ошиблась. Вы отлично понимаете, что я имею в виду. Кто из вас написал это на доске?

Девочки понурили головы.

— *Très bien!*<sup>1</sup> Я даю вам десять минут. Если за это время виновная не найдётся, наказаны будут все!

Пинчер вышла из класса, неплотно притворив дверь. Фривольный стишок остался на доске. Девочки не сомне-

---

<sup>1</sup> Очень хорошо! (фр.)

вались в том, что свою угрозу классная дама осуществит, но выдать Анюту ни одной из них даже в голову не могло прийти. Все оглянулись на последнюю скамейку, где рядом с Лютиком сидела красавица Аня. В тёмных глазах Анюты, увенчанных густыми шелковистыми ресницами, не было никаких признаков испуга. Напротив, в них плясали весёлые огоньки задора и озорства. Она вскочила со скамейки и, сдёрнув с Лютика очки, в два прыжка очутилась на кафедре.

— Кто это сделал?! — закричала она голосом Пинчера, нацепив очки на нос. — Барышни вы или разбойники с большой дороги? Институтки или гусары?

Девочки покатались со смеху.

— Какой такой Барков? — басила, не унимаясь, Аня.

В этот момент дверь класса распахнулась и в дверном проёме появилась классная дама. Аня бросилась на своё место.

— Я вижу, у вас здесь весело, — строго сказала Пинчер, но в голосе её уже не было прежней суровости.

Вместе с Пинчером в класс вошла красивая белокурая девочка, и взгляды институток обратились на неё. По классу пробежал шепоток «Новенькая!»

— Прошу любить да жаловать вашу новую товарку, — сказала Пинчер, указав новенькой на свободное место, и как ни в чём не бывало стёрла с доски стишок.

Девочки облегчённо вздохнули.

— Не такая уж эта Пинчер и злочка, — шепнула Лютик своей наперснице Ане.

В перерыве, во время проветривания класса, институтки облепили новенькую, как пчёлы яркий цветок.

— Ты откуда? Как тебя зовут? Расскажи о себе! — слышалось со всех сторон.

— Какая она красавица! — сказала Лютик.

— Ну уж и красавица! — скривила губки Анюта. — Видели мы таких красавиц! У неё же дурной вкус. Смотри, какие на ней вульгарные ленты!

Окинув новенькую взглядом степного помещика, покупающего на ярмарке лошадь, Лютик хотела что-то возразить, но Анюта её перебила:

— Ничего, завтра она наденет форменное платье и распрощается со своими лентами. Посмотрим тогда, какая она красавица!

Вечером в дортуаре, когда классная дама убедилась в том, что девочки легли спать, и закрыла за собой дверь, расспросы новенькой возобновились.

— Мы будем звать тебя Лёлей! — донёсся до Анюты обращённый к новенькой приглушённый голос кого-то из девочек.

Ещё днём кто-то назвал новенькую первой красавицей в институте, и Анюту до самого вечера неотступно преследовало чувство... нет, не зависти, а досады, как будто по отношению к ней совершилась какая-то великая несправедливость. Все её усилия быть великодушной, бороться с этим огорчительным чувством были напрасны. Она разделась, расчесала волосы, спадавшие до пояса блестящей тёмной волной, бесшумно скользнула под одеяло и, не поболтав, против обыкновения, перед сном даже с Лютиком, утопила лицо в подушке...

## 2

Близились святки. Бал, устроенный перед разъездом институток на праздники, был в самом разгаре. После короткого перерыва объявили вальс, и оркестр, заставив

молодёжь восторгаться, заиграл вступление. Лицеист Степанов, высокий, подтянутый юноша с несколько смазливой, женственным личиком (на него более всего обращали внимание девочки), решительно направился к Анюте через всю залу. Один раз Анюта уже танцевала с ним и видела, с каким восхищением смотрели на них институтки. Ведь и она, и Степанов были пресвосходными танцорами, и даже сдержанная и сухая Пинчер не поскупилась на похвалу. «*C'est parfait! Adorablement!*»<sup>1</sup> — долетел до Анюты её отрывистый голос, когда, подхваченная Степановым, она стремительно пронеслась мимо классной дамы. В вальсе Анюта была особенно хороша, и ей не терпелось снова заскользить по паркету в головокружительном вихре, когда раздувается юбка и кажется, что вот-вот оторвёшься от пола и полетишь. Любуясь выправкой шагнувшего к ней Степанова, готовясь в ответ на его поклон присесть в реверансе, она уже предвкушала адресованные ей со всех сторон восторги, как вдруг произошло нечто странное: прямая линия, соединявшая её с лицеистом, внезапно надломилась, сам он как-то неловко качнулся и начал отклоняться в сторону. «Куда же он?» — удивилась Анюта, ведь было ясно как божий день, что он намеревался пригласить именно её. Взглянув в ту сторону, куда теперь шёл Степанов, она увидела Лёлю, поджидающую его с приветливой улыбкой. И вот Лёля сделала книксен, Степанов, в белых перчатках, взял её руку, коснулся спины, и они завертелись в круговороте чудного вальса. На мгновение Анюте показалось, что сердце её перестало биться, что оно замерло от нестерпимой боли. С той поры как в классе появилась Лёля, Анюте волей-неволей приходилось делить с ней лавры первой красавицы и все-

---

<sup>1</sup> Чудесно! Прелестно! (фр.)

общей любимицы, но уступать лучших партнёров в танцах было выше её сил! Не успела Анюта оправиться от постигшего её удара, как к ней, с небывалой для него резвостью, подскочил кадет Коромыслов — толстяк, увалень и рохля — и под волшебные звуки «*Wo die Zitronen blüh'n*»<sup>1</sup> увлёк её в самую гущу танцующих. Ноги и руки не слушались Анюту; ей казалось, что и товарки её, и учителя, и приглашённые кавалеры, и даже младшие институтки — все насмешливо и с презрением смотрят на её неловкое кружение с низкорослым и тучным Коромысловым, на предательскую слезу, медленно сползающую у неё по щеке...

Вечером в дортуаре, когда погасили свет и девочки, не желая засыпать, делились друг с другом впечатлениями бала и промывали косточки кадетам и лицеистам, когда Рита с восторгом заговорила о Степанове, назвав его душкой, а Лёлю везучей, Анюта не выдержала.

— Она строила Степанову глазки, завлекала его, вот он её и выбрал, — сказала она.

— Это неправда. Я никого не завлекала, — парировала Лёля.

— Правда! Я сама видела!

— Нет, неправда!

Анюта выскользнула из кровати и, схватив подушку, быстро подошла к Лёле.

Лютик, почувствовав недоброе, тоже встала.

— Это правда! — кричала Анюта, замахиваясь подушкой.

На Лёлю посыпались удары.

— Вот тебе за Степанова! Вот тебе за вальс!

Лёля защищалась, закрываясь от подушки руками, а Лютик стояла возле её кровати и, с удивлением глядя на обеих своих подруг, улыбалась глупой, беспомощной улыбкой.

---

<sup>1</sup> «Там, где цветут лимоны» (нем.).

— Девочки, прекратите! — начала она жалобно умолять их. — Я сейчас расплачусь!

Ей было жалко их обеих, и слёзы и впрямь уже наворачивались у неё на глазах. Наконец, не в силах более наблюдать эту сцену, она перешла к решительным действиям и начала оттаскивать Анюту от кровати Лёли. В тот же момент скрипнула дверь и на пороге дортуара показалась фигура Пинчера.

— Что здесь происходит?! — громко крикнула классная дама в темноту и включила свет, но девочки уже успели забраться под одеяла. — Немедленно всем спать!

Пинчер удалилась, но ещё долго после её ухода девочки беспокойно ворочались в постелях. Лёля лежала с открытыми глазами и задумчиво глядела на полоску дежурного света, кравшегося из коридора под дверь. Ярость Анюты казалась ей смешной и ничуть её не сердила. Лицеист Степанов ни капельки её не интересовал, и она легко могла уступить его даже Анюте...

### 3

Преподаватель истории Сергей Львович Богомазов, постукивая указкой по растопыренным пальцам левой руки, перекатывал глазки-бусинки от одной институтки к другой. Под его липучим взглядом девочки конфузились и опускали головы: всем было известно, что у Богомазова имелось особое чутьё на институток, не выучивших урок.

— Итак, барышни, сейчас мы выясним, культ какого божества преобладал у древних славян-язычников, — сказал Богомазов. — На этот вопрос ответит нам...

Сергей Львович, для верности, ещё раз окинул институток испытующим взглядом и, промокнув носовым плат-

ком лысину, прошёлся между рядами скамеек. Остановясь против Анюты, он два раза стукнул по её столу кончиком указки.

— Вот вы, пожалуйста, ответьте.

Анюта встала и пристально взгляделась в тусклые глазницы Аристотеля, словно надеясь найти в них спасение, но гипсовый философ взирал на неё из своего угла холодно и безучастно.

— Ну-с? Что же вы молчите?

Анюта тщетно напрягала память, кусая в отчаянии губы.

— Та-ак... Не знаете?

В голосе Богомазова прозвучало удовлетворение: и на этот раз чутьё не подвело его. Он вернулся на кафедру и стал просматривать классный журнал.

— Ну-с? Я жду.

В то самое мгновение, когда Анюта подумала, что единицы ей на этот раз не миновать, где-то в глубине класса чей-то голос осторожно прошептал:

— *Cultus falli*<sup>1</sup>.

Анюта не расслышала, но насторожилась, чтобы не пропустить подсказку в следующий раз. Шёпот повторился чуть громче:

— *Cultus falli*.

— *Cultus falli!* — громко, почти торжественно, провозгласила обрадованная Анюта.

Сергей Львович оторвался от журнала.

— Что вы сказали?

— *Cultus falli*, — повторила Анюта.

Лысая голова учителя внезапно покрылась странными пятнами, точно в результате мгновенного химического

---

<sup>1</sup> Фаллический культ (лат.).



процесса превратилась в кусок розового мрамора, глазки-бусинки потухли и замерли. В классе раздались сдержанные смешки.

— Да вы сами-то понимаете, о чём говорите?! — смущённо и зло бросил Богомазов, проводя по лысине спасительным носовым платком.

Анюта побледнела. Всё её существо наполнилось обидой и жгучей ненавистью к подведшей её товарке. Но кто это был? «Ну конечно же Лёля, — решила Анюта. — Кто же ещё? Она мстит мне за историю с кадетом».

— Садитесь. Скверно! Отвратительно! — буркнул Богомазов и вывел в журнале напротив фамилии Анюты жирную, как рождественский гусь, единицу.

Подавленная, убитая горем, Анюта опустила на скамью. Сердце её жаждало отмщения...

## 4

— А-а-а! — раздался среди ночи крик в дортуаре.

Лютик проснулась, села на край кровати и протёрла глаза. Пробудились и заворочались в постелях и другие девочки.

— А-а-а! А-а-а! — кричал кто-то, точно в истерике.

В темноте что-то металось, слышались странные хлопающие и шаркающие звуки. Наконец кто-то догадался добраться до выключателя и зажечь свет. Перед девочками предстала страшная картина. Рядом со своей кроватью стояла Лёля, бледная, с широко раскрытыми глазами, с застывшим в них ужасом. Она смотрела куда-то вниз, себе под ноги, и мелко дрожала.

— Что с тобой, Лёля? — подскочила к ней Лютик.

Но Лёля не отвечала, её как будто схватило параличом. Она вдруг сделала движение губами, словно хотела набрать в рот воздуха, и рухнула на пол без чувств.

— Ах, боже! — вскрикнуло сразу несколько голосов.

Лютик бросилась к Лёле, склонилась над ней и увидела под кроватью, в углу между стеной и тумбочкой, дико взиравшего оттуда взъерошенного голубя. В голове у неё мелькнула догадка.

— Позовите скорей Пинчера! — крикнула она девочкам и поискала глазами Анюту.

Та сидела на кровати и, поёживаясь, равнодушно наблюдала за суматохой в дортуаре. «Это, наверное, она, — подумала Лютик. — Никто, кроме нас с ней, не знал о тайне Лёли».

Девочки начали ловить голубя, который с перепуту носился как ошалелый под кроватями, взлетал и бился об стены. Наконец Рита Ахмаева набросила на него одеяло. Тотчас было открыто окно, и несчастная птица обрела свободу.

Вскоре прибежала Пинчер. Лёлю удалось привести в чувство, но она была так плоха, что её пришлось отправить в лазарет.

На другой день утром, в умывальне, Лютик подошла к Анюте.

— Это ты? — спросила она подругу, заглянув ей в лицо.

— Что?

— Подсунула в постель Лёли голубя.

Анюта утвердительно кивнула головой.

— Как же ты могла? Ты же знаешь, что у неё колумбофобия!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Навязчивый страх — боязнь голубей (от *лат.* columbus — голубь и гр. phobos — страх).

— Ах, оставь, пожалуйста... Я и не догадывалась, что это так серьезно. Я думала, она преувеличивает. И потом... — подбирала слова Анюта, выдавливая из тубы пасту на зубную щётку. — Я хотела её немного проучить...

Лёля вернулась из лазарета только через день. Пинчер попыталась довести начатое было расследование до победного конца, но натолкнулась на упорное молчание институток и потерпела поражение.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## Глава первая

### 1

— Ваш дядя, князь, был славным человеком, тихим, незаметным... Врагов у него не было, да и друзей было не много. Я, собственно, и был его единственным приятелем, — говорил полковник, снимая с седеющей головы форменную фуражку.

Навроцкий ничего не отвечал. Из пришедшей на похороны немногочисленной публики он не знал никого, кроме полковника Тайцева, вызвавшего его из Петербурга телеграммой. Дядю, многие годы прослужившего в Гельсингфорсе, он не видел с детства, и теперь его не оставляло ощущение странности и даже неуместности своего присутствия здесь. Он никак не мог проникнуться сообразным с моментом чувством сожаления и скорби и поэтому ежеминутно делал над собой усилие, чтобы не выдать своего безразличия к происходящему. Этой внутренней борьбы ему не удалось, однако, скрыть от полковника, который, пристально всматриваясь в князя, угадывал причины его видимой чѣрствости. В конце концов полковник заключил, что князь ещё молод и, верно, чем-то крепко озабочен, что холодность его не выражает всей его натуры и что можно ему это простить.

После того как были произнесены речи гарнизонного начальства и по крышке гроба, опущенного в свеже-

вырытую могильную яму, сначала гулко, а затем всё глуше застучали комья земли, Навроцкий отошёл в сторону, вынул из изящной, украшенной монограммой сигарочницы тонкую сигарку, приложил её по привычке к кончику носа, втянул ноздрями сладковатый аромат и, не замечая последовавшего за ним полковника, неторопливо и раздумчиво закурил.

— Была тут у него одна дамочка, финка, — сказал полковник, — очень приятная, надо сказать, особа, заботливая. Вроде как вдова. Муж её без вести в японскую войну пропал. Порхали они с вашим дядей, как два влюблённых голубка. Собрался он уж было жениться на ней, домик купил в Борго, да заболела она скоротечной чахоткой и в прошлом году, перед самой пасхой, скончалась. Жалко было смотреть на вашего дядю: осунулся, постарел, начал пить... А ведь раньше пьяницей никогда не был. А тут — что ни день... Словом сказать, сам себя в могилу и загнал.

Полковник взглянул на князя и, заметив его отрешённый, скользкий над могилами взор, кашлянул два раза в кулак.

Навроцкий затушил едва начатую сигарку, бросил её в урну.

— Хорошее это кладбище, светлое, сухое, — сказал он, оглядевшись кругом. — Хорошо будет дяде здесь покойться.

Полковник согласно кивнул головой, но тут же, вздохнув, возразил:

— Хорошо-то оно хорошо, да жить всё-таки лучше.

— Вы так считаете? — мрачно усмехнулся Навроцкий.

— А вы неужто... — не смог найти подходящих слов полковник и лишь вопросительно посмотрел на князя.

Навроцкий ничего не ответил: у него не было желания исповедоваться.

— Ну что ж, Алексей Петрович... — сказал он минуту спустя. — Спасибо за то, что сообщили.

— Пётр Алексеевич, — поправил его полковник.

— Простите, Пётр Алексеевич. Рад был познакомиться. Будете в Питере — навещайте!

У ворот кладбища Навроцкий подозвал извозчика и, попрощавшись с полковником, велел отвезти его на вокзал.

— Эх, молодёжь... — покачал головой полковник, грустно глядя на удалявшийся экипаж, и вдруг, вспомнив о чём-то, закричал: — Постойте, Феликс Николаевич, а как же домик? Что с домиком-то делать?

Навроцкий приказал извозчику остановиться.

— Какой домик? — спросил он, обернувшись.

— Ну как же? Домик-то, который вам дядя завещал... Я же вам писал... В Борго...

— Продайте, — равнодушно бросил Навроцкий. — А деньги пришлите... и возьмите себе, сколько нужно. Поехали! — крикнул он извозчику.

Экипаж тронулся, но полковник не унимался:

— Да как же продать-то? Нужна доверительная бумага. Да домик-то хороший. Вы бы хоть взглянули на него.

Экипаж остановился.

— В Борго, говорите? Сколько туда езды?

— Да часа три — три с половиной. По шоссе до Борго, а затем ещё версты четыре вдоль берега на восток. Да вот тут я приготовил вам адрес и карту нарисовал.

Полковник достал из нагрудного кармана мундира лист бумаги с подробными указаниями, как отыскать завещанную князю дачу. По аккуратным проведённым под линейку линиям и каллиграфическому почерку Навроцкий понял, что Пётр Алексеевич старался быть безукориз-

ненно точным, и впервые почувствовал симпатию к этому человеку. Ему сделалось неловко за свою холодность.

— Съездите, Феликс Николаевич! Место уединённое, тихое, рыбалка превосходная. Даст бог, погода изменится. Я сам имел удовольствие гостить там, так что смею вас заверить, не пожалеете. Дядя-то ваш хотел выйти в отставку и, женившись, совсем поселиться там. Свою городскую квартиру он не любил, старался больше времени проводить на природе. Да вот вышло-то как... А продать всегда успеете.

Навроцкий потянулся было за сигаркой, но передумал.

— Уговорили, Пётр Алексеевич, — решил он. — Значит, часа за три доберусь?

— За три с половиной часа непременно доедете, — оживился полковник и на ломаном финском языке объяснил извозчику, куда тому следует ехать. — Да, совсем забыл, вот ещё... — хлопотливо добавил он, протягивая князю ключ от дома. — А на его казённой квартире тоже кое-какие вещи остались: книги, бумаги, мебель... Что с этим делать прикажете? Ведь всё это тоже теперь ваше.

— Гм... — задумался Навроцкий. — Книги и бумаги, пожалуйста, пришлите мне в Петербург, а мебель возьмите себе или делайте с ней что хотите.

— Благодарю вас, Феликс Николаевич, — сказал полковник, испытывая явное удовольствие от предложения князя. — У покойного был отличный письменный стол из карельской берёзы.

— Спасибо вам, Пётр Алексеевич, за участие.

— Прощайте, князь.

Коляска быстро покатилась вдоль стены кладбища по гладкой брусчатке, лоснящейся после покрапавшего из нечаянной тучки дождика. Полковник с минуту постоял, глядя вслед экипажу, и не спеша побрёл домой...

Убаюканный мерным покачиванием на рессорах, Навроцкий впал в дремотную задумчивость и не сразу заметил, как кончился дождь, как чистенькие улочки Гельсингфорса сменились хорошо укатанным шоссе, точно ножом прорезавшим массив соснового леса. После дождя особенно остро пахло хвоей, и, глубоко вдохнув свежий запах, он преодолел в себе желание закурить. Вспомнив, что накануне отъезда из Петербурга получил два письма, на которые второпях не успел даже взглянуть, он извлёк их из саквояжа.

Письма, судя по датам на штемпелях, были отправлены в один и тот же день августа 1912 года. На узком и продолговатом конверте первого из них, запечатанном небольшой сургучной печатью с вензелем А. В., адрес Навроцкого был написан аккуратным женским почерком. Но даже если бы конверт был девственно белым, без обратного адреса и вензеля, князь безошибочно узнал бы отправительницу: от письма исходил тонкий аромат хорошо знакомых ему духов. Из всех известных ему петербургских женщин такие духи были только у молодой княжны Анны Фёдоровны Ветлугиной, и, прежде чем прочесть письмо, ему захотелось вдоволь ими насладиться. Медля открыть конверт, он снова и снова подносил его к лицу, вдыхая благоухание, вызывающее в памяти волнительные образы недавнего прошлого. Петербург, театр, тонкие завитки, падающие на шею княжны из-под подбранных сзади волос, маленькая родинка на спине над правой лопаткой — всё вдруг живо встало у него перед глазами. Сколько раз мчался он в театр не ради оперы, а ради её полупрофиля, который украдкой созерцал всё пред-



ставление; сколько раз вдыхал этот сладостный, колдовской запах, когда оказывался возле неё в фойе; сколько раз провожал взглядом фигурку княжны до самой дверцы кареты, за тёмным стеклом которой, отражавшим фонари театрального подъезда, лица её уже нельзя было различить. Он помнил все её платья, в которых она появлялась в ложе: розовое с волнистыми сборками, голубое с узкими бретельками на плечах, лиловое с мелкими пуговицами на спине, белое, плотно облегавшее упругий бутон её тела... Помнил он и все настроения, которые привык угадывать на её лице, — всегда разные, как и её платья.

Незадолго до отъезда из Петербурга Навроцкий имел счастье быть представленным Анне Фёдоровне. Несколько коротких разговоров в петербургских салонах, разговоров ни о чём, каждый раз прерываемых её многочисленными знакомыми, несколько па, сделанных вместе на двух-трёх балах и взволновавших его до головокружения, — вот и всё, чего он добился в этом недолгом ухаживании за княжной. Насколько глубоким было его чувство, он и сам ещё толком не мог понять, но очевидно было одно: Анна Фёдоровна не на шутку занимала его воображение.

Наконец Навроцкий, сорвав сургуч, распечатал письмо. Анна Фёдоровна писала, что их семейство уже вернулось из тверского имения в столицу по причине сырой погоды, что матушка её, Софья Григорьевна, задумала завести литературные журфиксы и что князь, который, вероятно, скоро вернётся в Петербург, будет на них желанным гостем. Навроцкого это письмо приятно удивило. И хотя из него не было ясно, для кого он будет желанным гостем — для самой Анны Фёдоровны или для её матушки, да и тон письма был совершенно приятельский, это неожидан-

ное внимание к нему со стороны княжны он тут же истолковал как некоторый успех.

Отправителем второго письма был Иван Карлович Шнайдер, управляющий делами и поверенный Навроцкого, нанятый им недавно взамен попросившегося на покой старика Тихона Родионовича, который прослужил не один десяток лет у родителя Феликса Николаевича и ничего не смыслил в биржевых операциях, так увлекавших князя в последнее время. Всю свободную наличность и деньги, вырученные от продажи унаследованного от отца имения, Навроцкий решил пустить в дело, поручив Шнайдеру заняться инвестицией в строительство железной дороги, а также помещением части капитала в бумаги телефонной компании и картонной фабрики. Письмо от Шнайдера пахло дешёвым немецким табаком и не сулило ничего хорошего. Навроцкий засунул было его, не читая, в карман, но передумал и открыл конверт.

Как он и предполагал, письмо от управляющего оказалось далеко не столь же приятным, сколь первое. Строительство железной дороги откладывалось, так как по новым расчётам требовало гораздо больших затрат, чем предполагалось ранее, и вся затея ставилась теперь многими под сомнение. Подрядчик уже пригрозил потребовать немедленного покрытия расходов на разработку проекта и подготовительные работы, и Навроцкий рисковал потерять вложенный в дело капитал. В довершение всего курс акций картонной фабрики, владельцем крупного пакета которых князь недавно стал по совету Шнайдера, стремительно упал по причине опустошительного пожара на ней. Ходили слухи, что фабрика не была даже застрахована, и именно поэтому, а не из-за амурной истории, как писали газеты, один из её главных владельцев на днях

свёл счёты с жизнью в своей шикарной квартире в Копенгагене. Встал вопрос о продаже акций ввиду возможного дальнейшего падения курса. По словам Шнайдера, неважно шли дела и у телефонной компании, и её бумаги тоже следовало бы продать. Управляющий жаловался также на невозможность заставить Навроцкого по телефону и просил его о безотлагательном свидании, чтобы князь самостоятельно мог принять важные решения.

«Зачем мне управляющий, не способный обходиться без моего участия?» — подумал Навроцкий, несколько раздражаясь, но тут же вспомнил, что Шнайдер, ходивший до того в секретарях у покойного мужа графини Леокадии Юльевны Дубновой и приглашённый им, Навроцким, на место управляющего по её совету, имел ряд рекомендаций от уважаемых в Петербурге лиц и что до сих пор у него не было повода усомниться в добросовестности этого немца. Поразмыслив, он решил, что Шнайдер, пожалуй, прав и что в дальнейшем следует принимать большее участие в собственных делах. Как бы ни был хорош управитель, да не верь Власу, а верь своему глазу.

Навроцкий не привык слишком круто менять планы, и, вероятно, ему было бы недостаточно письма от управляющего, чтобы отказаться от намеченного путешествия в Европу, куда он намеревался отправиться через Стокгольм после похорон дяди. Скорее всего, он отделался бы от Шнайдера резкой телеграммой, надеясь, что тот как-нибудь всё уладит, но письмо от Анны Ветлутиной склоняло чашу весов в сторону, как ни странно, более разумного решения. Он понимал, что было бы глупо возвратиться в Петербург только потому, что Софья Григорьевна желает его присутствия на своих журфиксах, но, с другой стороны, было бы ещё более опрометчиво не ехать и самому не при-

нять участие в делах, от которых зависело собственное его благополучие. Трезвые, тщательно продуманные решения, однако, не всегда были его сильной стороной. Он привык потакать своим увлечениям и слабостям, но, так как был человеком живого и здравого ума, вполне отдавал себе отчёт в опасностях, которые его подстерегают. Стремление Навроцкого к свободе от обязательств перед кем бы то ни было, и даже перед самим собой, и связанная с этим стремлением склонность к риску уравновешивались в нём превосходной интуицией — качеством, позволявшим выходить сухим из воды даже в тех случаях, когда недостаток опыта заводил его, казалось бы, в самые безнадежные тупики. Этим своим качеством он умело пользовался, всецело доверяясь интуиции. Поступая беспечно, он всегда осознавал это, но опасение прослыть несерьезным человеком редко брало в нём верх над стремлением к душевному комфорту. Поэтому, получив письмо от Шнайдера, он едва ли поспешил бы вернуться в Петербург, прочтя же ничего не обещавшее, но так волнительно благоухавшее духами письмо от княжны Ветлугиной, способен был помчаться туда немедленно. Умозаключение о том, что на этот раз рациональность решения могла быть обеспечена легкомысленностью его обоснования, понравилось Навроцкому. Интерес к путешествию в Европу за несколько часов лесной дороги в Борго был им окончательно потерян, и на следующий же день он положил послать камердинеру телеграмму с распоряжением немедленно отменить отправку багажа в Париж, откуда рассчитывал продолжить путешествие в Биарриц, Испанию и Португалию.

Где-то сзади, за спиной Навроцкого, сначала тихо и неясно урча, а затем всё громче и зловещее, по небу раскатывался гром. Гроза, казалось, задалась целью нагнать экипаж. На подъезде к Борго пошёл дождь, и Навроцкий поднял кожаный верх коляски. Миновав рыночную площадь и окраину города, экипаж свернул на узкую дорогу, которая скоро углубилась в сомкнувшийся над ней густыми кронами лиственный лес. Извозчик то и дело нырял головой, чтобы не зацепиться фуражкой за низкую ветвь, и негромко при этом поругивался. Дождь усиливался. Иногда по шуму, проникавшему сквозь редевший с правой стороны дороги строй берёз и сосен, Навроцкий угадывал близкое присутствие моря, но в густых сумерках, за мутной пеленой дождя, различить ничего не мог.

После получасовой езды по своеобразному зелёному туннелю дорога внезапно упёрлась в лесной тупик.

— *Perillä ollaan*<sup>1</sup>, — сказал извозчик, останавливая лошадь.

Навроцкий в недоумении оглянулся вокруг, пытаясь обнаружить признаки жилья, но кроме плотной стены леса ничего не увидел. Он вопросительно посмотрел на извозчика, но тот лишь качнул головой — мол, доставил пассажира по назначению. Навроцкому ничего не оставалось делать, как только расплатиться. Он вылез из коляски и, спрятавшись от дождя под узловатым и закрученным стволом старой берёзы, полез в карман за планом полковника. Извозчик тем временем пытался развернуть экипаж, нещадно стегая лошадь кнутом, и не успел Навроцкий раскрыть план, как до него донеслись треск ломающихся

<sup>1</sup> Приехали (*фин.*).

веток и громкие крики на непонятном ему финском языке. Коляска повалилась набок, лошадь запуталась упряжкой в кустах, осев крупом на землю. Освободив животное, извозчик помог ему встать и тщетно силился поставить на колёса экипаж. Навроцкий поспешил на помощь, и, ухватившись вместе за коляску, они вытащили её на дорогу. При этом князь поскользнулся и упал, больно ушибив бок и запачкав новенькую чёрную пару, надетую им специально на похороны дяди.

— Пасипо! — сказал извозчик, широко улыбаясь и помогая ему подняться. Очевидно, в знак благодарности он указал князю на три тропинки, ведущие от конца дороги в лес.

Эти тропинки Навроцкий и впрямь увидел на плане. Одна из них, отмеченная стрелкой, заканчивалась жирным квадратом, обозначавшим, по-видимому, «домик». Две другие тропинки на плане Петра Алексеевича обрывались.

Под мощными раскатами грома и полившим как из ведра дождём Навроцкий направился по тропке, ведущей к дому. Костюм его сделался мокрым и грязным, и беречь его не имело смысла. Единственным желанием Навроцкого в эту минуту было поскорее попасть под крышу и переодеться в сухое, но идти ему пришлось дольше, чем он предполагал. Он уже начал проклинать дядю, выбравшего для жилья такое глухое место, когда тропка вывела его на небольшую поляну и беспрестанно сверкавшие молнии высветили тёмный силуэт дома. Дрожа всем телом, он нащупал в кармане ключ и, преследуемый злоеющими вспышками и оглушительным треском, отыскал входную дверь. В сенях он едва не спиб со стены керосиновую лампу, зажг её и, поднявшись по узкой, ведущей в спальню лестнице, скинул с себя мокрую одежду и повалился на кровать.

## Глава вторая

### 1

Рано утром Навроцкого разбудило яркое солнце. Оно светило прямо ему в лицо через ничем не занавешенное окно спальни. Он встал, чтобы задвинуть штору, намереваясь тут же снова забраться в постель, но, увидев отражение на зеркальной поверхности озера редких белых облаков, парящих в прозрачной голубизне, совершенно расхотел спать. Достав из саквояжа удобный спортивный костюм, всегда сопровождавший его в путешествиях, он быстро оделся и осмотрел спальню. Кроме широкой деревянной кровати и тумбочек у её изголовья, в комнате помещался высокий старый комод с ящиками, служивший для хранения чистого постельного белья. На комод-де стояли две фотографии в рамках. На одной из них был запечатлён сам дядя в парадном мундире, на другой — миловидная светловолосая женщина с простым лицом и доброй улыбкой. Спустившись в нижний этаж и оглядевшись, Навроцкий обнаружил, что «домик» представляет собой хоть и небольшую, но вместительную дачу с застеклённой, почти нависающей над озером верандой, светлой столовой с примыкающей к ней кухонькой, просторной гостиной и кабинетом.

В сенях он нашёл две двери, одна из которых вела в небольшую горницу, предназначенную, очевидно, для прислуги, а другая — в крохотную комнатку с квадратным окошком, впускавшим внутрь солнечный свет. В комнатке приятно пахло сосной. На прибитой к стене полке он увидел книжку Аксакова «Записки об ужении рыбы» и несколько практических книг по рыбной ловле на француз-

ском и немецком языках. Небольшой шкафчик на стене оказался полным блёсен, грузил, катушек с лесой и поплавков. В углу стояли удилища разного калибра и плетёные верши. Из найденного можно было заключить, что бывший владелец дома был страстным рыболовом, и странная его прихоть забраться в такую глушь стала князю понятней. Судя по размерам крючков, аккуратно разложенных в специальном ящичке с рыболовными принадлежностями, дядя охотился больше на крупную рыбу. Навроцкого, с детства обожавшего рыбалку, это обстоятельство обнадёжило. Он решил незамедлительно воспользоваться снаряжением дяди и поудить.

Снаружи дача произвела на него ещё более отрадное впечатление, обвеяв ощущением безмятежности, уюта и какого-то благостного уединения. Окружена она была высокими соснами и рябинником. На небольшом озере, к которому она прилепилась верандой, не было никаких других построек, кроме полустгнивших развалин сожжённого когда-то молнией вешняка в том месте, где из озера вытекала речушка, соединявшая его с морем.

Найдя в кухне кое-какую провизию, в основном в виде консервов и сухарей, и быстро закусив, Навроцкий выбрал удилище сажени в полторы, подобрал снасти, накопил червей, оказавшихся после дождя в изобилии в грядках небольшого огорода, и, столкнув в воду лодку, погрёб вдоль берега в поисках подходящего для рыбалки места. У зарослей камыша, прикрывавших вход в устье речки, он остановил лодку, наживил червяка и забросил удочку. Ветра не было, тишина стояла такая, что редкий звук, произведённый то ли ондатрой, то ли бобром, то ли чайкой, звонкой монетой катился по озёрной глади, пока не глух где-то в дремучих лесах. Под действием этого всепоглощаю-



щего, но хрупкого безмолвия природы Навроцкий замер, не смея сделать движение: тишь точно сковала его члены. Почти у самой лодки беспечно и беззвучно проплыла парочка хохлатых поганок. Заметивший человека самец шарахнулся от неожиданности в сторону и сердито прохрипел «круа-круа».

Клёва ещё не было, да и был бы — едва ли Навроцкий смог бы пошевелиться и вытащить рыбу. Оглушённый тишиной, ослеплённый прозрачностью воздуха и точно запыленный в невидимую жестянку лучами низкого, но уже пригревающего солнца, он пребывал в состоянии какого-то блаженного оцепенения, из которого не было желания выходить. Ему вдруг пришла в голову мысль, что и умереть в такую вот минуту, будучи так обласканным и согретым природой, было бы нисколько не страшно. Он закрыл глаза и попытался почувствовать свою готовность к смерти. Существо его всё явственнее наполнялось умиротворением; вот-вот, казалось ему, он прикоснется к неведомому пределу и душа его легко и беспрепятственно проникнет сквозь призрачную завесу, заслоняющую тайну небытия. Он ясно понял, что умирает, и сладостная истома охватила всё его существо. Он хотел смерти, искал её и с радостью отдавал себя той силе, что подарила ему жизнь; эта сила могущественна и щедра — она подарит ему и смерть. Он уже знал, что великое нечто принимает его, и всё глубже и глубже погружался в его мощные объятия, без сопротивления, с покорностью раба и любовника. Внезапно его объял испуг. Он очнулся, открыл глаза и, стряхнув с себя наваждение, стал жадно вслушиваться в запахи и звуки летнего утра. И в бездонной синеве неба, и в застывшей глубине озера медленно скользили причудливые тонкие облака, и Навроцкому казалось, что это он плывёт

куда-то мимо неподвижных белоснежных сгустков. Куда? Зачем? Но вот что-то осторожно дохнуло на гигантскую зеркальную плоскость, и вмиг подёрнулась она лёгкой, капризной рябью, и исчезло тяжёлое, сладкое очарование сна. «Жизнь ничуть не хуже смерти», — вдруг отчётливо пронеслось в его мозгу. И как хорошо, что он последовал совету Петра Алексеевича и заехал взглянуть на эту дачу! Ему уже не хотелось её продавать, и он начал строить планы будущих своих поездок сюда. Где же ещё, как не здесь, искать ему отдохновения от дел, от людей, от шумного Петербурга с его звоном трамваев, гудками автомобилей, от дорогой квартиры на Морской улице, от прислуги, от управляющего, наконец, от самого себя, вечно озабоченного отражением собственной персоны в зеркале петербургского общества, воплощением в жизнь честолюбивых эфемерных устремлений? «Не эта ли благодать, скрытая здесь под соснами от посторонних глаз, и есть то истинное, что люди в тщете жалкого существования, в слепоте своей ищут и не находят? — думал он. — Но истинное доступно не всякому. Лишь тому откроется оно, кто найдёт в себе силы отказаться от суетных желаний, кто сумеет услышать и понять тишину...»

Размышления его были прерваны всплесками, раздавшимися из-за камышей. «Верно, крупная рыба или явившийся на водопой зверь», — подумал он, прислушиваясь к странным звукам. Стараясь не обнаружить себя, он осторожно направил лодку через заросли камышей и осоки, как вдруг на противоположном берегу увидел девушку в белом платье и соломенной шляпе. Она сидела за мольбертом и бросала в воду камешки. Навроцкий хотел было выплыть из своего убежища в камышах и представиться незнакомке, но девушка вдруг встала и, быстро расстегнув

пуговицы платья, ослепила его белизной молодой, крепкой груди. От неожиданности у него перехватило дыхание, он едва не потерял равновесие и не оказался за бортом. Между тем девушка медленно входила в озеро, раздвигая руками лежавшие на поверхности воды кувшинки. Зайдя на глубину, она поплыла и, почти приблизившись к лодке Навроцкого, повернула обратно. Навроцкому было совестно подглядывать, но он боялся пошевелиться и выдать себя. Ему казалось, будто он видит перед собой картину гениального художника, сумевшего так живо передать не только свободное движение скользящего среди кувшинок, не стеснённого одеждой женского тела, но и звуки этого движения, тихие, осторожные всплески прозрачной как слеза воды, и даже отдалённое кукование проснувшейся где-то в лесной чаще кукушки. «Нет, — усомнился он, — едва ли даже самый талантливый художник способен изобразить так искусно то, что в эту минуту рисует природа, пробудить такое же сильное чувство. Жаль только, что картинки природы так недолговечны».

Искупавшись, девушка вышла на берег, расправила пышные светлые волосы и начала расчёсывать их гребнем. Загипнотизированный этим зрелищем, Навроцкий не мог двинуться с места. Нагое тело незнакомки казалось ему волшебной белой лилией, выросшей среди дикой зелени озера. Закончив с волосами, она облеклась в платье, надела шляпу и села за мольберт.

Придя в себя, Навроцкий осторожно оттолкнулся веслом, и лодка тронулась в обратном направлении. Вернувшись на прежнее место, он машинально насадил на крючок червяка и забросил удочку. И только он это сделал, как на другом конце удилица потяжелело и что-то потянуло лесу вниз. Навроцкий подсёк и вытащил крупную, фунтов

на шесть, красавицу форель, бросил её в ведро и снова закинул удочку, и снова вытащил форель. Удача разгорячила его, азарт охотника полностью вытеснил волнение, вызванное в нём созерцанием юной купальщицы. Он закидывал удочку снова и снова, и за короткое время в лодке оказалось дюжины две крупной рыбы. Наконец, спохватившись, что деть весь этот улов ему будет некуда, он остановился, выпустил рыбу помельче обратно в озеро, сложил в лодке снасти и погрёб к даче.

## 2

Сварив в кухне изрядную уху и раскупорив бутылку крымского вина из найденных в погребѣ дядиных запасов, Навроцкий плотно закусил и отправился в Борго, чтобы размяться и послать телеграмму в Петербург. Прогулка бодрым шагом по приятной лесной дороге, той самой, по которой он ехал вчера на извозчике, заняла не более часа. В городе был базарный день, и торговая площадь заполнилась прилавками, лотками, навесами, продавцами разнообразного товара, домохозяйками и прочим людом. Погуляв и купив петербургскую газету, Навроцкий выслал камердинеру Афанасию телеграмму об отмене поездки в Европу и, прежде чем двинуться в обратный путь, заглянул в маленькую кофейню, приютившуюся в узкой улочке вблизи телеграфа. В кофейне было уютно и тихо. Немногочисленная публика степенно попивала кофе с карельскими пирожками и пирожными Рунеберга. Навроцкий заказал свой любимый кофе со сливочной пенкой, который тотчас сварили и принесли, и, усевшись за свободный столик, развернул газету. Отпив несколько глотков и пробежав заголовки, он закурил сигарку и углубился в послед-

ние новости из Петербурга. Однако вскоре это занятие было прервано обращённым к нему вопросом.

— *Ursäkta, är det ledigt här?*<sup>1</sup> — спросила его, вежливо улыбаясь, немолодая, но ещё сохранившая приятные черты дама. Под руку её держала девушка лет девятнадцати-двадцати, с серо-голубыми глазами и длинной косой, спадавшей из-под шляпки на грудь и перехваченной, как у гимназистки, синим бантом. Кремовое батистовое платье девушки в талии было стянуто поясом и подчёркивало складность и легкость её фигуры. От девушки повеяло такой свежестью, что Навроцкий невольно потянулся к пепельнице, чтобы затушить сигарку. И в то же мгновение его точно обдало электрической волной: в юной спутнице пожилой дамы он узнал ту белую лесную лилию, тайна красоты которой волею случая открылась ему сегодня утром. От неожиданности он потерял дар речи.

— *Jag ser att herren är en främling*<sup>2</sup>, — сказала дама, увидев его замешательство.

— Да-да, здесь свободно... Прошу вас... — проговорил смущённо Навроцкий, не успев сообразить, что по-русски его, возможно, не поймут.

— Ах, да вы русский! — оживилась дама, переходя на почти лишённый акцента русский язык и присаживаясь к столику. — Мы сами всего лишь год как переехали сюда из Петербурга.

Навроцкий отложил газету.

— Мой муж работал на заводе Эриксона. Знаете, тот, что на Выборгской стороне?

— Да, конечно, — кивнул Навроцкий.

---

<sup>1</sup> Извините, здесь свободно? (*швед.*)

<sup>2</sup> Да вы, я вижу, чужестранец (*швед.*).

Он достал было спичку, чтобы зажечь потухшую сигарку, но, вспомнив, что находится в дамском обществе, положил её назад в коробку.

— Пожалуйста, курите, — заметила его движение дама. — Мой муж... мой покойный муж тоже курил. Я привыкла.

По её лицу пробежала судорога печали. Она вздохнула.

— Примите мои соболезнования, мадам, — посочувствовал Навроцкий.

— Меня зовут Матильда Янсон, — представилась дама. — А это моя дочь Лотта. — Она с умилением посмотрела на девушку, а затем перевела взгляд на князя, чтобы, как тому показалось, проверить впечатление, произведённое на него её очаровательным отпрыском.

— Очень приятно. Феликс Навроцкий, — отрекомендовался в свою очередь князь, стараясь держаться холодно и не выказывать волнения, испытанного им при внезапном появлении лесной незнакомки.

Госпожа Янсон, сделав грустное выражение лица, с минуту помолчала, отдавая, по всей видимости, дань памяти покойному мужу. Лотта скромно потягивала кофе, отправляя в прелестный ротик кусочки пирожного. Навроцкий закурил.

— Мой муж был инженером. Мы прожили в Петербурге десять долгих лет, — продолжала рассказывать госпожа Янсон. — Вот Лотта вышла там из института, — всё с тем же умилением взглянула она на дочь, как будто желая окончательно убедить собеседника в том, как нежно любит она своё дитя.

Каждый раз, когда госпожа Янсон обращала внимание князя на дочь, щёчки Лотты розовели от смущения. Навроцкий же, с виду полный невозмутимости, время от вре-

мени поглядывал на неё украдкой и не мог преодолеть чувство неловкости: ему казалось, будто она знает о том, что он подсматривал за ней на озере.

— Ну а вы, господин Навроцкий, верно, здесь проездом? — полубопытствовала мать девушки.

— Я получил в наследство дачу... Отсюда верстах в пяти... Вот заехал взглянуть...

— Ах вот как! Да, места здесь чудесные... И надолго вы к нам?

— Завтра возвращаюсь в Петербург.

Госпожа Янсон понимающе покачала головой.

— А нам было хорошо в Петербурге, не правда ли, Лотта? — обратилась она к дочери.

— Да, мама, — впервые прозвучал голосок девушки.

Навроцкий подозвал официанта и заказал ещё кофе и кренделей для себя и для дам. Будучи в благодушном настроении, он был не прочь поболтать с этими милыми особами, общество которых на время избавило его от меланхолии, следовавшей за ним в последнее время по пятам. Его намерение ехать в Биарриц, на корриду в Испанию и далее в Португалию было продиктовано исключительно той меланхолией, которой умному человеку приходится расплачиваться за неизбежное разочарование в жизни. Но ни Берлин, ни Париж — он хорошо знал это — не могли развеять нынешнее настроение его духа, да и на Биарриц надежд у него было не много. «Там и без меня, — думал он, — полно скучающих снобов». Он присмотрелся к сидевшей напротив Лотте. У неё были слегка волнистые волосы, чуточку вздёрнутый кончик носа и чистая провинциальная красота в лице. Но в ясном зоре её серо-голубых глаз нисколько не было провинциальной наивности, сквозь благородную скромность и даже застенчивость в нём проступали задор молодости и сознание собственного

достоинства. Это были глаза многообещающей женщины. Он почему-то представил её в ярком чёрно-красном платье, танцующей испанский танец, и решил, что именно такой наряд, несмотря на её происхождение северянки и светлые волосы, был бы ей более всего к лицу. «Мила, что и говорить, но всё-таки ещё ребёнок», — подумал он.

— Ну а теперь как ваши дела? — спросил он участливо госпожу Янсон.

Она взглянула на дочь, и Навроцкий снова заметил печальную тень на её лице.

— С божьей помощью, — сказала она и, немного помолчав, продолжала: — Конечно, после смерти мужа нам пришлось сменить квартиру и изменить наши привычки... — Она с грустью покачала головой, но тут же добавила более бодрым тоном: — Но я получаю небольшую пенсию за мужа... Да вот и Лотта, даст бог, найдёт место.

Лотта опустила голову.

— Правда, в Гельсингфорсе сейчас трудно найти приличную работу, — вздохнула госпожа Янсон. — А Лотта могла бы получить место гувернантки... К тому же она чудно выпивает и шьёт.

Госпожа Янсон и Навроцкий посмотрели на Лотту. Девушка скромно молчала. Замолчала и её мать. Возникшая за столом пауза заполнялась лишь стуком фарфоровых чашечек о блюдца. Вокруг курили и негромко болтали, в открытые двери кофейни время от времени залетали звуки проезжавших мимо экипажей. В окна светило перевалившее за полдень нежаркое августовское солнце.

«Вот тебе случай сделать доброе дело, — думал Навроцкий. — Ты много разглагольствуешь о добре — так делай же его! Сделай маленькое, но конкретное доброе дело. Не лучше ли это всех слов о каком-то великом, но призрачном братстве, слов, остающихся пустым звуком?»



Лотта хотела тихонько взглянуть на князя, но их взоры встретились, она покраснела и опустила голову. «Отчего бы не помочь этому кроткому созданию? — спрашивал себя Навроцкий. — Ведь это не стоит ни одного рваного рубля». И тут же в его душу закрадывались сомнения: «А если бы это была не юная Лотта, а грязная, нищая старуха, помог бы? Хитришь, брат...» Он с грустью усмехнулся этим мыслям.

— В Петербурге у меня есть знакомые, — сказал он наконец решительно, — которые сочтут за удовольствие помочь вашей дочери поступить на хорошую службу. Там теперь спрос на телефонных барышень... Да и место гувернантки не столь уж трудно найти...

Обе дамы от удивления выпрямились на стульях.

— О, вы очень любезны, господин Навроцкий! — воскликнула госпожа Янсон. — Но мы не хотим обременять вас нашими заботами. И потом... ведь мы едва знакомы.

— Уверю вас, это не составит мне никакого труда.

— Нет-нет, вы слишком любезны...

— Вы можете приехать в Петербург вместе с вашей дочерью...

— Навряд ли это возможно, — возразила госпожа Янсон уже не так уверенно. — Впрочем, мы подумаем...

Навроцкий вытянул из кармана жилетки небольшие золотые часы, заигравшие при открытии крышки вальс Шопена (Второй вальс шестьдесят четвёртого опуса), — подарок матери в день окончания университета — и, проверив час, начал прощаться.

— Ну что ж, мне пора, — сказал он, вставая. — Очень рад был познакомиться. Надумаете в Петербург — милости прошу.

Он положил перед госпожой Янсон свою визитную карточку и, повернувшись к Лотте, протянул ей по-друже-

ски руку. Лотта слегка привстала и, ответив на рукопожатие князя, подарила ему прелестную улыбку.

— У вас польская фамилия, не правда ли? — спросила госпожа Янсон, взглянув на карточку с золотым тиснением.

— В нас, русских, много кровей течёт. Мой прапрадед был из польских шляхтичей — отсюда и фамилия. А вот предок мой по материнской линии был мордовским князем.

— О! — воскликнула госпожа Янсон так, словно мордовский князь был императором вселенной.

— Я, вообще-то, космополит и вас, шведов, люблю, хоть вы и напраказничали под Полтавой, — улыбнулся Навроцкий. — Впрочем, мы задали вам тогда жару.

Дамы рассмеялись. Лотта впервые показала князю свои глянцево-зубки и ямочки на щеках.

— До свидания, мадам! — поклонился Навроцкий и, как ребёнку, подмигнул Лотте.

— Какой интересный мужчина! — сказала госпожа Янсон дочери, прищурив подслеповатые глаза и глядя через окно вслед удалявшемуся князю.

Лотта слегка зарделась и, взяв из рук госпожи Янсон визитную карточку с изящной надписью на русском и французском языках, о чём-то мечтательно задумалась...

### 3

Навроцкий возвращался на дачу такой же бодрой походкой, какой пришёл в город. День был тёплый, солнечный, по-настоящему летний, но не жаркий. Настроение у него было превосходное. Он как будто забыл на время о своих петербургских делах. Перед глазами у него стоял образ юной Лотты: вот она сидит на берегу озера за моль-

бертом, вот лёгкое платье скользит вдоль её стана и падает в траву, вот заходит она в озеро и медленно плывёт прямо к нему, вот садится за столик кофейни уже в другом платье и в другой шляпке, из-под полей которой на грудь её тянется длинная светлая коса. Всё это казалось Навроцкому чем-то невозможным. Ведь ещё вчера ничего этого не было! И как могло случиться, что встретил он её дважды за один день? А и правда, её ли видел он рано утром на озере? Не было ли это видением, галлюцинацией? Уж не русалка ли собственной персоной явилась ему?

На середине пути его нагнала коляска. Он посторонился.

— Да мы никак соседи, господин Навроцкий? — услышал он голос госпожи Янсон. — Подсаживайтесь к нам.

Он хотел было отказаться, но из вежливости согласился и, забравшись в коляску, очутился рядом с Лоттой. Госпожа Янсон снова принялась с увлечением рассказывать об их петербургской жизни. Навроцкий ограничивался короткими фразами, лишь изредка задавая вопросы для поддержания беседы. На неровностях лесной дороги, когда коляска подпрыгивала или наклонялась, он чувствовал прикосновение тела молодой девушки, и тогда у него по коже пробегали приятные мурашки. Этих мурашек ему было стыдно, но справиться с ними он был не в состоянии. Он рассеянно слушал госпожу Янсон и временами поглядывал на Лотту, сидевшую молча и не решавшуюся повернуть головку в его сторону. Ему хотелось спросить её — что она рисовала на берегу озера, была ли там вообще, но признаться в том, что видел её, он не осмелился.

Вскоре дамы свернули на боковую дорогу, и Навроцкому пришлось покинуть коляску, чтобы проделать остаток

пути пешком. Настроение его переменилось, его охватило какое-то смутное беспокойство, но природу этой внезапной тревоги он не мог себе объяснить — только казалось ему, что вместе с коляской, скрывшейся за пролеском, ускользнуло от него и что-то трогательное и таинственное, хрупкое и призрачное, как само счастье...

Вечером, удобно устроившись на постели с записной книжкой и карандашом, он принялся размышлять о делах и строить планы, но вскоре почувствовал, что не может сосредоточиться; мысли его начали путаться, неясные картины и образы постепенно завладевали мозгом: утренняя рыбалка и пешая прогулка сделали своё дело.

Эта женщина с распущенными волосами... Кто она? Почему она так странно смотрит на него из-за ствола раскидистого вяза? Она зовёт его? Да, она машет ему рукой, она зовёт его. Надобно подойти к ней, увидеть её лицо. Но что это? Почему она ускользает от него? Ему непременно нужно разглядеть её лицо. Он идёт за ней через лес, он бежит. Почему он не может приблизиться к ней? Он видит её волосы, гибкое тело, просвечивающее через тонкую ткань сорочки, но яркая, противная луна не позволяет ему различить её лицо. Почему она зовёт его? И почему он не может её настичь? Проклятая луна! Проклятая тень! Ему удаётся разглядеть её волосы: они длинные и тёмные, как зимняя петербургская ночь. Нет, показалось — они светлые, совсем светлые. Он бежит за ней всё быстрее и быстрее, ветки деревьев рвут на нём одежду, раздирают в кровь кожу. Но что это? Между ними разверзается пропасть. Он не в силах остановиться. Он летит в эту пропасть. Это конец! Смерть!

Разбудил его собственный крик. Оправившись от охватившего его страха, поняв, что всё это только сон, он посмотрел на часы. Было уже за полночь. Он открыл окно

спальной комнаты, и перед ним предстало озеро, освещённое лунным светом. Луна была полной и такой огромной, какой он никогда раньше не видел. Через всю поверхность озера мерцающей серебряной стрелой, направленной остриём прямо в него, протянулась гигантская лунная дорожка. «Дивно!» — проговорил он невольно вслух. Он успокоился, закурил сигарку и попытался вызвать в памяти запечатлевшийся в детстве образ дяди, но воспоминания его были слишком скудны. Припомнил он только, что дядя несколько раз приезжал к ним в имение, был всегда весел и брал его с собой на рыбалку. Последнее обстоятельство вызывало неудовольствие матери и неопишное ликование маленького Феликса. Вспомнились ему и какие-то недобрые слова матери, сказанные в адрес дяди, и громкие их ссоры, отзвуки которых через открытое окно долетали до него, занятого своими детскими играми во дворе усадьбы. «Как славно дядя мог бы коротать здесь старость», — думал он, закрывая окно и укладываясь снова в постель.

## Глава третья

### 1

Навроцкий так увлёкся рыбалкой, что вместо одного дня провёл на даче целую неделю, и эта неделя вполне заменила ему поездку в Европу: нервы его отдохнули, он чувствовал себя посвежевшим. Последние дни августа, когда к летнему теплу начинал примешиваться первый осенний холодок, были его любимым временем года. В эту пору он обнаруживал в себе какую-то особенную приподня-

тость и весёлость, способность по-новому смотреть на вещи. Здесь, в глуши, сидя в лодке с удочкой, он вдруг осознал всю необязательность того, чем занимался и жил в Петербурге. Биржа, акции, телефонные компании и картонные фабрики утрачивали здесь свою важность, были чем-то лишним, ненужным. Эта скромная дача, где умиротворилась его душа, казалась ему теперь гораздо более ценным приобретением, чем дорогая квартира в самом центре Петербурга, стоившая в денежном измерении во много раз больше.

Но пришла пора возвращаться домой, и вскоре он сидел в тёмно-синем вагоне первого класса петербургского поезда. Быстро полетели верста за верстой. Балы, театр, вечера у Ветлугиной — вот что большей частью занимало его мысли. К этому предвкушению приятных сторон петербургской жизни прибавлялась, однако, тревога по поводу сложного положения, в которое он попал из-за желания заняться делом и операциями на бирже, что отнюдь не было первой необходимостью для него — в будущем владельца нескольких поместий, должных перейти к нему по наследству и вполне способных обеспечить своему хозяину безбедное существование. Продать пару земельных владений было бы, очевидно, делом понадёжнее, чем пускаться в прокладку железных дорог, а тем паче помещать деньги в какие бы то ни было акции. Но если уже какая страсть овладевала им, то остановить его могла только другая страсть, ещё более сильная. Уж больно захотелось ему прослыть успешным промышленником и предпринимателем и, как честолюбиво, но вполне искренне думал он, сделать собственный вклад в экономическое процветание России. «Разве это не достойнее, чем проживать дворянские гнёзда предков?» — спрашивал он себя. Мудрые

советы не браться за то, в чём ровным счётом ничего не понимаешь, его не остановили. Два имения, уже перешедшие к нему после смерти отца, были им проданы, а вырученные за них деньги пущены в оборот. Но, несмотря на это своё усердие, он не любил слишком много думать о деньгах и все дела поручил молодому, подававшему надежды и горячо рекомендованному ему графиней Ивану Карловичу.

Глядя в окно на внезапно появлявшиеся и так же быстро исчезающие верстовые и телеграфные столбы, он вспомнил то время, когда из их родового имения ещё нельзя было добраться до Петербурга по железной дороге и маменька тщательно укутывала его, готовя к дальней зимней поездке в обтянутой кожей кибитке. С тех пор и полюбил он быструю езду. Будь то поезд, запряжённая лихими конями тройка или автомобиль — скорость одинаково будоражила его мысли, чувства, память, успокаивала нервы и наполняла душу неясными ожиданиями чего-то нового, лучшего. Ему вдруг захотелось зимы, снега, весёлой санной дороги к цыганам, русских разговоров и песен, и он окончательно уверился в том, что его поездка в Биарриц не состоится. Он соскучился по России, не успев её покинуть.

В Выборге в вагон зашёл новый пассажир. Положив на полку шляпу и поставив в угол тросточку, он со вздохом уселся напротив Навроцкого.

— Сын в Свеаборге служит, — сказал он безо всяких предисловий, едва устроившись на своём месте. — Ездил навещать. И вот ведь какая скверная штука приключилась. Чёрт меня дёрнул выйти в Выборге в буфет. Увлёкся, так сказать, тревоугодием и опоздал на поезд. Пришлось следующего дожидаться.

Господин засмеялся. До Навроцкого донёлся пивной дух.

— И давно ваш сын служит? — поинтересовался он из вежливости.

— Да уже второй год.

Господин помолчал.

— Финляндия хорошая страна, — вздохнул он, глядя в окно, — но уж больно здесь чужаков не любят. В России любой финляндец, если захочет, может карьеру сделать и министром стать, а вот русский в Финляндии — фигушки! Попробуйте-ка устроиться на службу в Финляндии! Чёрта вам с хреном! Чтобы стать здесь чиновником, нужно сначала окончить финляндское учебное заведение. Хотите купцом заделаться, торговлю вести? Прижмут вас здесь как миленького! Преподавать историю в Финляндии могут только лютеране! В сейм русские не могут ни избирать, ни быть избранными! Занимать государственные или общественные должности? Нате вам! — Он показал кукиш.

— Да ведь в этом отношении, кажется, наметились перемены, — возразил Навроцкий.

Его собеседник махнул рукой.

— Да и с русским языком здесь далеко не уедешь. Да-с... Вот вам и свобода! Зато для террористов и революционеров у них настоящая свобода. Все бомбы и оружие в Питер отсюда попадают. Здесь и лаборатории взрывчатых веществ имеются, и покушения готовятся. Помните Вайнштейна?

Навроцкий утвердительно кивнул головой: кто ж не читал в своё время в газетах о деле Вайнштейна?

— А латыша Трауберга? Этого знаменитого Карла?

Князь снова кивнул: дело Трауберга нашумело ещё больше.



— Здесь его, голубчика, наша полиция и сцапала. Все свои злодейства, убийства и ограбления он здесь и готовил, а финляндские жандармы смотрели на всё сквозь пальцы да ещё нашей полиции палки в колёса вставляли. Вот вам и Великое княжество! Вот вам и тихая, спокойная страна! — Помолчав, господин продолжал: — И куда только смотрит наше правительство! Давно пора провести в Финляндии операцию против террористов в широком, так сказать, масштабе, удалить опухоль, утопить всех этих революционеров, извините, в отхожем месте! Иначе финляндцы, того и гляди, устроят нам революцию.

То ли от возмущения против террористов, то ли от выпитого пива щёки и лысина господина сделались пурпурными. Он вдруг спохватился:

— Извините, позвольте представиться... Чиновник по особым поручениям Кутин Илья Ильич.

Представился и Навроцкий.

— Давайте возьмём экономическую сторону, — продолжал Илья Ильич. — Как вы думаете, во что нам эта Финляндия обходится?

Навроцкий пожал плечами.

— В шесть копеек с каждого россиянина в год! Тридцать копеек платит каждая крестьянская семья из пяти человек! Это значит, что раз в год каждый русский крестьянин по милости Финляндии без обеда остаётся! Вот так-с! Каждый финляндец, таким образом, получает от империи льготу в три рубля девятнадцать копеек, а на финляндскую семью затрачивается пятнадцать рублей девяносто пять копеек! При этом таможенные сборы на финляндской границе Финляндия забирает себе. Вот и подумайте: мы им — пироги, а они нам в благодарность — террористов!

Илья Ильич всё более и более увлекался политической темой и проговорил до самого Финляндского вокзала.

Прощаясь с ним, Навроцкий почему-то подумал, что Кутин похож на тайного агента, но в том, что правительство по отношению к террористам и революционерам применяет недостаточно суровые меры, был полностью с ним согласен.

Добравшись поздно вечером до своей квартиры, он сразу лёг спать, но долго не мог заснуть. Тихое лесное озеро и образ Лотты стояли перед ним точно мираж, не давая думать ни о чём другом. Чтобы отвлечься, он взял в руки книжку Вильгельма Матью «Успех в жизни» и, перелистывая её страницы, вскоре заснул.

## 2

Сразу после завтрака Навроцкий натянул шофёрские перчатки и, сев в свою «Альфу», отправился к графине Дубновой. Ему нравилось управлять автомобилем, и поэтому он предпочитал обходиться без шофёра. Даже когда мотор давал перебои и приходилось останавливаться, чтобы прочистить свечи, он делал это не без некоторого удовольствия.

К графине он поехал по привычке. Это был вернейший способ узнать последние новости. Утренние часы Леокадия Юльевна обычно проводила у телефона, болтая с жёнами важных лиц и получая таким способом информацию из самых надёжных источников. Она всё про всех знала, и по её рассказам можно было составить полное представление о том, что происходит не только в той части петербургского общества, составным элементом которой был Навроцкий, но и в Петербурге вообще. Графиня коротко знала родителей князя и его самого, привлёкши Феликса в свой круг ещё в бытность его студентом филологического

факультета. Поэтому не было ничего удивительного в том, что многое в жизни князя вращалось вокруг Леокадии Юльевны. Она являлась центром притяжения для людей совершенно разного сорта, что многим давало возможность найти в её кругу общение по своему вкусу.

Огромный дом её на Сергиевской был похож на проходной двор: сюда почти в любое время мог прийти всякий. Верхние этажи графиня сдавала почтенным людям, которые, как она думала, все были её друзьями. Будучи вдовой, и к тому же очень богатой, Леокадия Юльевна не любила оставаться в одиночестве. Гостеприимство её и неразборчивость в выборе знакомств не имели границ. В её доме можно было назначить встречу или свидание («Увидимся у Дубновой!»), побывать там и уйти, даже не поздоровавшись с хозяйкой. Однажды Леокадия Юльевна наткнулась у себя в гостиной на группу датских и норвежских морских офицеров. С минуту она в недоумении взидала на их эполеты, португали и кортики, как бы соображая, что всё это могло значить, уж не розыгрыш ли это, не маскарад ли какой, но, убедившись, что офицеры настоящие и чувствуют себя в её доме вполне комфортно, решила не докучать гостям своим любопытством. Страстно любя сводить нуждающихся друг в друга людей, графиня без устали кого-то с кем-то знакомила. Казалось, весь Петербург превращается в клубок сложных, запутанных связей, ниточки которых тянутся из дома графини. Все были чем-то обязаны Леокадии Юльевне, и никто не мог ей ни в чём отказать. Именно она и нашла способ представить Навроцкого, по его деликатной просьбе, Анне Фёдоровне Ветлугиной, с которой до той поры и сама не была знакома.

— Деньги не приносят счастья, князь, — сказала Леокадия Юльевна вошедшему в её обширную гостиную

Навроцкому, прочтя на его лице не слишком весёлое расположение духа. — Мы уже наслышаны о ваших неудачах. Да и зачем вам деньги-то? Разве у вас их не достаточно?

— Вы правы, Леокадия Юльевна, — согласился Навроцкий, — да не деньги заставили меня взяться за дело. Ведь надобно что-то делать, не танцевать же всю жизнь.

— Ну будет, будет, друг любезный! Здравствуй! Как Париж? Как Биарриц? Я же не хотела тебя обидеть, — обращалась к нему как всегда то на «вы», то на «ты» графиня. — Мне, в сущности, совершенно безразличны твои дела. Право, даже хорошо, что ты нашёл себе какое-то занятие. Батюшка-то твой, бог ему судья, всё кутил, всё покоя себе не находил, пока миллиону глазки не протёр, не профукал половину состояния. Кабы не матушка ваша, Катерина Александровна, ходить бы вам с сумой да побираться. Да ты-то, Феликс Николаевич, смотри, не профукай другую половину ну через свои старания.

— Без риска дела не бывает, Леокадия Юльевна, — возразил задетый за живое Навроцкий, стараясь подавить в себе досаду, вызванную вполне справедливыми словами графини. — А за границу я не поехал.

— Дело — это не княжеское дело, — послышался слегка насмешливый голос из угла гостиной.

— Вот, познакомьтесь, князь, — графиня повела рукой в направлении голоса. — Господин Петров, мастер каламбурить...

На софе, обтянутой тёмно-зелёным штофом, Навроцкий не сразу разглядел серый костюм и в нём господина невзрачной наружности. Петров тотчас встал, обнаружив рост ниже среднего и чрезвычайно прямую спину, и, приблизившись к князю, протянул ему руку. Навроцкий сопровождал рукопожатие вежливой гримасой. Он не питал симпатии к коротышкам с военной выправкой.

— Господин Петров — специалист по коммерческим вопросам. Он служит в банке и вам, Феликс Николаевич, может быть полезен, — сказала графиня серьёзно. — Не так ли, господин Петров?

— Разумеется, — подтвердил Петров и, обращаясь к Навроцкому, добавил: — Я к вашим услугам... князь.

Перед словом «князь» Петров сделал едва заметную паузу, в которой, как показалось Навроцкому, снова прозвучало нечто похожее на насмешку.

— С вашего позволения, господа, я оставляю вас на несколько минут: мне необходимо отдать кое-какие распоряжения, — сказала графиня и быстро удалилась из гостиной.

Навроцкому ничего не оставалось, как только провести некоторое время тет-а-тет с господином Петровым.

— Видите ли, князь, — снисходительно улыбнулся Петров молчанию Навроцкого, — в делах такого рода — а я, как и любезная графиня наша, наслышан о ваших начинаниях — нет ничего важнее предоставленной вовремя информации. Без неё далеко не уедешь, а деньги преспокойно потерять можно. Вот наш банк, к примеру, имеет сношения с людьми, от которых в ситуации, подобной вашей, может непосредственно зависеть финансовое благополучие...

— Видите ли, господин Петров, мои принципы навряд ли позволят мне воспользоваться такого рода информацией, — сухо возразил Навроцкий, поняв, на что тот намекает.

— Так ведь я и говорю, любезный Феликс Николаевич, дело — это не княжеское дело, — осклабился Петров, ничуть не конфузясь.

Навроцкому был неприятен весь облик этого господина, самоуверенный и таящий в себе постоянную иро-

нию. К счастью, в дверях появилась графиня, и ему не нужно было продолжать этот разговор.

— Приезжайте-ка, господа, через неделю ко мне на дачу, — объявила на ходу Леокадия Юльевна. — Дача будет тогда готова. Ох и утомилась же я с ней! Всё лето её строили, строили... Через неделю собираю там... вечеринку.

Она подошла вплотную к Навроцкому и шепнула ему на ухо:

— Будет и твоя пассия!

### 3

Иван Карлович Шнайдер, человек ничем не примечательный, кроме как своей принадлежностью к католической церкви и почти полным отсутствием на лице растительности, сидел за письменным столом, заваленным бумагами и газетами с биржевыми сводками, и что-то писал. Посреди этого беспорядка на столе стояла оригинальная, восточной работы, бронзовая чернильница в виде *uhka*<sup>1</sup>, в которую управляющий с заметной страстью тыкал пером, и рядом — фарфоровая ваза с пети-бер<sup>2</sup>. Короткие пальцы Ивана Карловича, один из которых был украшен золотым перстнем с кошачьим глазом, через столь же короткие промежутки времени тянулись к вазе, нащупывая там излюбленное его лакомство; бесцветные, едва заметные брови на тусклом, потёртом лице были постоянно приподняты, словно он не переставал чему-то удивляться.

Войдя к нему в кабинет без доклада, Навроцкий заметил, как по лицу Ивана Карловича пробежала едва уло-

<sup>1</sup> Вульва (лат.).

<sup>2</sup> Сорт печенья (от фр. *petits-beurre*).

вимая тень смущения. Шнайдер явно не ожидал увидеть Феликса Николаевича так скоро и, хотя послал ему письмо с просьбой приехать, чтобы на всякий случай подстраховать себя, всё же надеялся, зная привычки князя, что тот не будет отменять свою заграничную поездку.

— Что же вы пугаете меня, Иван Карлович? — начал Навроцкий. — Я вынужден был вернуться и мчаться к вам.

— Помилуйте, Феликс Николаевич, положение прямо-таки катастрофическое...

— Катастрофических положений не должно быть, — спокойно прервал его князь. — На то вы и управляющий, чтобы их не было. Ну что там у вас?

Постучав указательным пальцем по тому месту, где красным карандашом были отмечены курсы акций телефонной компании и картонной фабрики, Шнайдер протянул Навроцкому последний номер «Биржевых ведомостей».

— Как видите, Феликс Николаевич, цена и тех и других бумаг резко упала. За последние две недели падение составило почти тридцать процентов. Как прикажете поступить?

— Чем вызвано падение?

— Во-первых, пожар на картонной фабрике, о чём я вам уже писал. Во-вторых, прошёл слух, что телефонная компания терпит большие убытки.

— Телефонное дело не может быть убыточным, Иван Карлович. В прошлом, одиннадцатом, году в Петербурге насчитывалось свыше пятидесяти тысяч телефонов, но это количество всё ещё слишком мало и непрерывно растёт. Не может быть никаких сомнений в том, что спрос на телефонные аппараты будет увеличиваться и впредь. Кстати, вы слышали? В Ницце собираются увольнять телефонных барышень.

— Что вы говорите! Отчего же?

— Там намерены установить аппараты нового типа: с диском и цифрами. Поворота диска будет достаточно, чтобы набрать нужный номер, и никаких барышень больше не потребуется.

— Забавно.

— Одним словом, если компания испытывает временные трудности, это не повод для паники. Скорее это удобный случай прикупить ещё акций. Я дам вам на это пятьдесят тысяч рублей.

Шнайдер был огорошен таким поворотом дела. Он думал, что князь тут же велит продать бумаги, и уже имел на них покупателя, обещавшего ему солидный куш за содействие.

— Как прикажете, Феликс Николаевич, — сказал он, стараясь скрыть своё неудовольствие. — Но в таком случае я снимаю с себя всякую ответственность за последствия.

Странная растерянность, присутствовавшая на лице Шнайдера в продолжение всего разговора, не ускользнула от внимания Навроцкого. Истолковал же он её себе просто: управляющий осознаёт своё неумение предвидеть ход событий, понимает, что ему недостаёт профессиональной смекалки, и, сверх того, удивлён проницательностью князя, а потому и смущён.

Иван Карлович сделал ещё одну попытку переубедить Навроцкого.

— Нет дыма без огня, Феликс Николаевич, — сказал он мягко, даже робко, с вкрадчивой ноткой в голосе. — Я на вашем месте поостерёлся бы.

Но Навроцкий был непреклонен и удивлялся себе не менее управляющего. Всё в этом деле почему-то казалось ему предельно ясным, хотя он и не знал истинных причин столь значительного падения курса акций. Интуиция под-



сказывала ему, что это всего лишь временное явление, вызванное ложными или даже специально распространяемыми кем-то слухами.

— Вы хотите, чтобы я потерял тридцать процентов? Пока акции не проданы, нет и убытка, — сказал он решительно и вышел из кабинета.

## Глава четвертая

### 1

Короткое северное лето было на исходе, и Петербург начинал понемногу возвращаться с дач. Это было заметно по экипажам и подводам с домашним скарбом и прислугой, которые изредка попадались Навроцкому на пути в загородную резиденцию графини. Ехать было недалеко, новая дача Леокадии Юльевны находилась в ближайшем пригороде Петербурга по финляндской дороге, вблизи Удельной, и Навроцкий поехал туда на автомобиле.

Прежде чем попасть к дому графини, ему пришлось въехать в каменные ворота и проехать по липовой аллее через обширный, но слегка запущенный парк. По обеим сторонам аллеи тянулись два небольших пруда, берега которых живописно заросли огромными лопухами. Эта довольно приятная и романтическая обстановка подсказывала гостю, что в конце аллеи он увидит старинный ирландский замок с мостом, перекинутым через ров. Но, к удивлению Навроцкого, дом оказался большим деревянным сооружением, построенным графиней в стиле модерн. Дача была столь велика, что могла бы сойти за дворец, если бы не её легкомысленная деревянная суц-

ность и чересчур смелая архитектура. Обилие эркеров, башенок и застеклённых террас делало её похожей на огромную причудливых форм оранжерею. Графиня и летом хотела жить на широкую ногу, не отказывая себе в разного рода удовольствиях: балах, концертах, любительских спектаклях и простых, непритязательных вечеринках безо всяких условностей. Специальному человеку из прислуги было поручено заботиться о сношениях с типографией и печатании необходимых пригласительных билетов. Всё это требовало немалых средств, но они у Леокадии Юльевны, разумеется, имелись. Лишь накануне днём в доме была закончена проводка электричества, и теперь дачу щедро освещал электрический свет. Из приоткрытых окон доносилась музыка, и на площадке перед домом уже стояло множество экипажей и автомобилей. Окружавшая дом атмосфера праздника подготавливала прибывающих гостей к приятному вечеру, и, поднимаясь по широкой лестнице в парадную залу, они были охвачены его предвкушением. И хотя думы Навроцкого в последние дни были омрачены его неудачами на бирже, ощущение лёгкости и беззаботной приподнятости не могло не появиться и у него. Он соскочил со ступеньки автомобиля и бодрым, упругим шагом, почти бегом, поднялся по лестнице.

## 2

Внутри дача слегка пахла благородными породами дерева, обставлена она была с большим вкусом и даже художественно, хотя ничего лишнего в доме не было. Чувствовалось, что Леокадия Юльевна воспользовалась услугами настоящего эстета. По общему оживлению и возбуждению среди гостей Навроцкий понял, что на первый ужин он уже опоздал. Через открытую дверь большой светлой

залы он слышал звуки рояля и знакомый голос и поспешил войти. Анна Фёдоровна Ветлугина стояла рядом с инструментом, сложив у груди ладони, и под аккомпанемент фатоватого вида молодого человека в военной форме пела красивым, мягким меццо-сопрано:

Если пуля тебя не достала,  
Если лошадь твоя цела,  
Если женщина обняла  
И любить тебя не устала,

Значит, всё не так уж и скверно,  
Рано в петлю, голубчик, лезть.  
Позабудь про пулю и месть:  
Сохранит господь от неверных.

Навроцкому казалось, что исполняемый ею романс наполнил атмосферу в зале, окружавший дом эфир и всю вселенную каким-то чувственным трепетом. Анна Фёдоровна пела с таким выражением, будто это был и не романс вовсе, а обращение к живому и даже находившемуся среди гостей человеку. В устремлённых на неё горящих глазах мужчин Навроцкий прочёл готовность отдать многое за обладание этой женщиной. Дамы с любопытством лорнировали княжну. Голос Анны Фёдоровны слегка дрожал:

Пистолеты — подальше в угол!  
Помолись и задуй свечу.  
Я всю ночь с тобой помолчу.  
Нас, мой милый, не взять испугом.

На заре по звенящему снегу,  
Под отчаянный храп коренной  
Я с тобой от судьбы дрянной,  
От беды, горемыка, уеду!

На последней фразе романа взоры Навроцкого и Анны Фёдоровны встретились, и княжна едва заметно кивнула ему. Князю даже показалось, что с этими последними строками Анна Фёдоровна обращалась именно к нему. Сердце у него забилося чаще, ему захотелось объясниться с ней, но её тотчас окружили аплодирующие мужчины, большею частью в военных кителях и с порозовевшими от шампанского лицами. Он вышел на балкон и, вытянув из сигарочницы ароматную сигарку, закурил. На улице было темно и холодно, сквозь обволакивавший дом электрический свет с небосвода пробивались тусклые лучи звёзд. Возле балконной двери остановились два господина.

— Видите ту дамочку в розовом? — говорил один из них, слегка понизив голос. Это был невысокий плотный мужчина, на вид преуспевающий купец.

— Да. Прелестная особа! — отвечал ему другой, не менее преуспевающего вида, господин.

— А вы знаете, кто это?

— Кажется, жена Жеребцова?

— Совершенно верно. А вы знаете, кем она была, прежде чем стать женой Жеребцова?

— Не имею понятия.

— Телефонной барышней.

— Да что вы говорите?!

— О, это целая история! Видите ли, у Жеребцова заболела собака... Ну, решил он позвонить ветеринарному доктору, чтобы взять у него консультацию. Просит он барышню дать ему нужный номер, а в ответ этакий, знаете, нежнейший голосок ему и отвечает: «Номер занят». У Жеребцова от этого голоса так и защемило в груди. Ну, и проговорил он с ней весь вечер и полночи. И про ветеринара забыл, и про собаку.

— Да что вы?

— Да-с, вот так. Вот вам и телефонная барышня! А теперь миллионерша!

— А как же собака?

— Какая собака?

— Ну та, из-за которой...

— А-а... собака? Представьте себе, сдохла в ту же ночь.

Вот-с.

Навроцкий усмехнулся про себя невольно услышанному разговору и вернулся в залу. Публика здесь была разношёрстной: графиня не делала различий между дворянами, купцами и прочими. Купеческих жён легко можно было узнать по обилию колец на пальцах, аристократки были в этом отношении умереннее, но держались с большим достоинством. Мужчины же и того и другого сословия внешне мало чем отличались друг от друга. Все эти люди были весьма достаточными и, очевидно, полезными друг другу. Они разделились на группки и обсуждали дела или просто болтали. Любители азартных игр выходили в соседнее помещение, где для них заранее были приготовлены карточные столы. Молодёжь развлекалась шарадами и танцами в соседней небольшой зале. Ближайшая к Навроцкому кучка мужчин живо обсуждала состав Государственной думы и последние похождения Распутина в «Вилла Родэ». Участвовать в этих разговорах князю не хотелось, и он прошёл к столу с закусками. Здесь в обществе нескольких господ он увидел своего факультетского приятеля Дмитрия Никитича Кормилина. Они о чём-то оживлённо спорили.

— А, Навроцкий! — заметил его Кормилин. — Сколько зим!.. А я думал, ты уехал... Мы тут о женщинах... Присоединяйся!

Навроцкий подошёл к их кружку.

— Позвольте... — продолжал свою речь один из господ. — Чувство к женщине пробуждает мысль, наполняет эту мысль энергией и, подобно мотору, движет вперёд!

— Простите, Василий Львович, чем движется вперёд мысль? — переспросил Кормилин, подмигнув Навроцкому.

— Чувством к женщине.

— Вы полагаете?

— Разумеется! Ведь что такое мужчина? Да ведь это просто... деревяшка, бревно! А вы посмотрите на женщину! — повёл он рукой в сторону Анны Фёдоровны. — Посмотрите, какая мягкость движений, какие линии, какая... Да ведь это же произведение искусства! Божество, чёрт возьми!

Кормилин поморщился.

— Вы не согласны?

— Видите ли, Василий Львович, — сказал Кормилин, — как-то не хочется считать себя бревном. Да и потом... знаете... когда вам двадцать, женщина действительно представляется вам непонятым и загадочным существом. Желание раскрыть эту тайну влечёт вас и, так сказать, захватывает дух. Вы теряете рассудок и влюбляетесь в женщину, как в экзотический необитаемый остров. Ну а в сорок, извините меня, вы знаете женщину со всеми её потрохами, и оказывается, что влюбляться-то было и не во что! Разве вам *это* чувство не знакомо? В таком случае вы неисправимый идеалист, батенька!

Кормилин вытащил из кармана носовой платок и громко высморкался.

— А я, господа, от красивых женщин бегу как от чумы. Нет ничего более надёжного, чем некрасивая и старая жена, — убеждённо заявил один из мужчин поопытнее.

— Вот именно, — поддержал его другой. — У иезуитов и масонов, господа, есть на этот случай замечательное

правило: женясь, ищите не красоту и деньги, а желание и способность жены совместно с вами трудиться!

— Да уж известно, — сказал ещё один из собеседников, — красивая-то жена принадлежит всем, а некрасивая только тебе. Да и что такое, собственно, красота? Миф, фантазия, продукт культуры... Вот, кажется, у Леопарди сказано, что абсолютной красоты не существует, что это нечто относительное... дело вкуса, так сказать...

— А ты как полагаешь? — обратился Кормилин к Навроцкому.

— Гм... Пожалуй, произведение искусства... божество... — невпопад ответил князь, поглядывая рассеянно туда, где в окружении офицеров стояла Анна Фёдоровна.

Кружок мужчин разразился добродушным хохотом. По зале пролетел громкий голос графини:

— А вот, господа, и наши славные авиаторы! Позвольте вам рекомендовать... Поручик Маевский... Штабс-капитан Блинов... Не сомневаюсь, что многие из вас с ними знакомы.

Туловища присутствующих, в первую очередь дам, обратились в сторону вошедших господ. Оба явились в защитных кителях. Штабс-капитан выглядел довольно браво, концы его усов слегка загибались вверх. Достаточно было одного взгляда на его фигуру, чтобы увериться в том, что он пользуется немалым успехом у женщин. Голова штабс-капитана, экипированная горделиво приподнятым подбородком и цепким взглядом матёрого самца, поворачивалась, как на хорошо смазанном шарнире, то налево, то направо, точно выискивая для упражнений в остроумии и амурных притязаний подходящий и благодарный объект противоположного пола. Навроцкий имел случай наблюдать рискованные полеты этого господина на аэроплане и слышал, что у него не было отбоя от пасса-

жирок. Поручик Маевский усов не носил, но выглядел уверенным в себе молодым человеком с отменной выправкой и манерами избалованного дамским вниманием богача. Как вскоре узнал Навроцкий, княжне Ветлугиной поручик приходился кузеном.

Авиаторы сразу же оказались в обществе Анны Фёдоровны. Из их маленькой компании то и дело доносился смех. Голос господина Блинова, имевшего репутацию неутомимого рассказчика анекдотов, на которые так падки слабые женские головки, не умолкал, как назойливое жужжание комнатной мухи, и у Навроцкого появилось нехорошее желание эту муху чем-нибудь прихлопнуть.

Между тем графиня поманила его мизинчиком.

— Рассудите наш спор, князь. В священном писании сказано, что Иисус изгнал из храма менял и торговцев, а вот господин Петров утверждает, что без менял и торговцев общество просуществовать не может...

— И даже церковь... — добавил Петров.

— Простите, графиня, но всё это вздор, — улыбнулся Навроцкий. — Я не защищаю менял и торговцев, но что такое священное писание? Всего лишь плод воображения наших недостаточно осведомлённых предков. А мы с вами живём в двадцатом веке и летаем на аэропланах. Разумеется, ваш спор с господином Петровым имел бы смысл, если бы бог существовал, но, к сожалению или к счастью, этому нет никаких достоверных свидетельств. Если же вы подразумеваете не религиозный, а чисто нравственный аспект, то я считаю, что общество без менял и торговцев просуществовать всё-таки может, но это дело далёкого будущего.

— Постой, князь... Что-то я в толк не возьму... Ты не веруешь в бога? — притворно изумилась графиня и, вздох-



нув, прибавила: — Впрочем, кто же в него теперь верует? Теперь это не модно!

— Я, быть может, и поверил бы, да бедняга отец Феропонт, наставник мой в законе божьем, не сумел меня убедить. Ему как-то не до того было, он всё больше о мирском думал: о солёных огурчиках, к примеру, об опрокидонтике... — пошутил Навроцкий. — А ведь было бы удобно, если бы бог и впрямь существовал.

— Что ты имеешь в виду, Феликс?

— Тогда всю свою глупость мы могли бы сваливать на него.

— Что люди верующие невольно и делают, — вставил Петров. — В этом вопросе, князь, я полностью разделяю вашу точку зрения.

— Но не достойнее ли человеку вместо религиозного самоунижения отвечать за свои поступки перед самим собой — не перед мифическим богом? — продолжал Навроцкий, не обращая внимания на Петрова.

— Но разве религия не полезна? Возьмите христианские добродетели... — сказала графиня.

— Какая религия, Леокадия Юльевна? Которая из них? Их много! И все они только разделяют людей. И может ли мало-мальски мыслящий человек верить в бога только потому, что так делают другие?

— Ну полноте, господа, о религии, — поспешила прекратить спор графиня, чувствуя, что он принимает слишком серьёзный характер. — Я сама не припомню, когда в церкви последний раз была. А ты, Феликс Николаевич, либо социалист, либо лукавишь, — пригрозила она Навроцкому миниатюрным пальчиком. — Я прекрасно помню, как набожна была твоя матушка. Не может же у неё быть такой сын-безбожник!

Глаза у Леокадии Юльевны были разные: один — табачного цвета, другой — малахитовый, и, разговаривая с нею, Навроцкий не мог избавиться от своеобразной мистики этих глаз. Они неотвязно притягивали к себе его внимание, и если ему случалось стоять по левую руку от графини, а затем оказаться по правую, то ему начинало чудиться, что говорит он уже с какой-то другой женщиной.

— Помилуйте, Леокадия Юльевна... — возразил было Навроцкий. — Если дети не разделяют убеждений родителей, это только...

Но графиня сделала жест, означавший положительное нежелание продолжать разговор на эту тему. Несмотря на схожесть взглядов в вопросах религии господина Петрова и его собственных, Навроцкий поспешил удалиться от этого неприятного ему человека. Циркулировавшие среди гостей разговоры занимали его так же мало, как и персона банковского служащего, и, если бы не желание объяснить-ся с Анной Фёдоровной, он, пожалуй, скоро уехал бы. Наконец ему удалось, улучив момент, завладеть вниманием княжны, и они незаметно уединились в одной из многочисленных смежных с залой комнат.

### 3

С лица Анны Фёдоровны ещё не успела сойти улыбка, предназначенная, очевидно, штабс-капитану в качестве награды за остроумие, когда, подойдя к Навроцкому так неосторожно близко, что у того захватило дух, она вопросительно заглянула ему в глаза.

— Перед отъездом в Финляндию я получил ваше письмо... — начал Навроцкий. Он хотел сказать ей, что это письмо заставило его отказаться от поездки в Европу и вер-

нуться в Петербург, но тут же подумал, что признаться женщине в такой слабости ему было бы стыдно. — Благодарю вас за приглашение бывать на журфиксах Софьи Григорьевны...

Анна Фёдоровна испытующе посмотрела на него.

— Это всё, что вы хотели мне сказать?

Навроцкий смешался.

В ту же минуту дверь приоткрылась и в комнату просунулось усатое лицо штабс-капитана.

— Княжна, вы здесь? Мы ждём вас, — промурлыкало лицо.

— Я сейчас приду, — ответила Анна Фёдоровна и, когда дверь закрылась, повела с сожалением плечами.

Навроцкий хотел сказать ей многое и, будь его воля, проговорил бы с ней всю ночь, но господа авиаторы не оставили бы Анну Фёдоровну в покое: потребность блистать перед красивыми женщинами и у Блинова, и у Маевского была сродни мании душевнобольного и требовала непрерывного удовлетворения.

— Знаете что, Феликс Николаевич? — сказала княжна, словно прочитав его мысли. — В воскресенье я буду в теннисном клубе. Давайте там и поговорим. Приходите. Сейчас у меня, право, нет настроения, чтобы говорить серьёзно. А ведь вы, верно, хотите сказать что-то серьёзное?

Она ласково посмотрела на него.

Навроцкий смутился ещё больше. Не успел он ничего ответить, как Анна Фёдоровна, подарив ему обворожительную улыбку, направилась к авиаторам.

— Простите меня, Феликс Николаевич. Не обижайтесь! — бросила она на ходу и скрылась за дверью.

Из залы донёсся голос Леокადии Юльевны:

— А теперь, господа, послушаем новую запись знаменитого Карузо, а наш оркестр пока отдохнёт.

Навроцкий вернулся в залу. Туда же принесли граммофон, и публика затихла. Неподражаемый тенор Карузо всегда восхищал Навроцкого, и, прежде чем покинуть дачу графини, он на несколько минут задержался, чтобы ещё раз услышать голос знаменитого итальянца. Он вспомнил концерт Карузо в Петербурге, устремлённые на певца полные восхищения взоры петербургских дам и Анну Фёдоровну в соседнем ряду партера. Тогда он увидел её впервые и с тех пор, слушая Карузо, не мог не думать о ней, а взбужденное сердце его не знало более покоя. Спустя некоторое время после того знаменательного дня по его просьбе, или, вернее, вследствие высказанного им вскользь интереса к особе Анны Фёдоровны, Леокадия Юльевна, понимающая чаяния людей с полслова, представила их друг другу.

Послушав Карузо, Навроцкий уехал. Если бы люди были способны затылком улавливать брошенные на них взгляды, он, конечно, почувствовал бы взгляд Анны Фёдоровны, провожавший его из залы, но увы...

Около шести утра Леокадия Юльевна снова позвала гостей к столу:

— Ужинать, господа! Ужинать!

## Глава пятая

### 1

В воскресенье после полудня Навроцкий отправился на автомобиле в теннисный клуб. Для лаун-тенниса день выдался как нельзя лучше. Солнечные лучи, просеиваясь

через фильтр облаков, давали мягкий, ровный свет. Ветер не дул, а лишь прикасался к щекам ласковой, тёплой волной. После прошедшего ночью дождя воздух был свеж, но площадки для игры уже подсохли. Переодевшись в спортивный фланелевый пиджак в синюю полоску, Навроцкий прошёл к кортам. Там он увидел Анну Фёдоровну играющей с Блиновым. Штабс-капитан был в своём амплуа. Его гладко выбритое под усами лицо за сто саженьей светилось сладковатой улыбочкой светского льва и соблазнителя женщин. Он проворно отбивал подачи княжны, сопровождая каждую из них обильными комплиментами. «Почему эта порода мужчин, блестящих и недалёких, пользуется такой благосклонностью прекрасного пола? — думал князь, наблюдая гармонию, царящую на площадке. — Неужели ум женщин так неглубок? Неужели для того, чтобы добиться у них расположения, достаточно обыкновенной лести? А если комплименты льются из уст такого вот усатого розанчика и героя-авиатора, как Блинов? Здесь шансы женщины удержаться на плаву, пожалуй, невысоки, и надо быть начеку, если она тебе небезразлична».

Между тем Анна Фёдоровна, в лёгкой, лимонного цвета кофточке, надетой поверх белой блузы, в белой же широкой, не стесняющей движений юбке, порхала по площадке, точно бабочка-капустница, легко и уверенно, едва касаясь земли подошвами туфель. Навроцкий залюбовался ею. В костюме теннисистки она нравилась ему ещё больше, чем в нарядных платьях на светских раутах, вечеринках и в театре. Тёмные волосы Анны Фёдоровны были тщательно убраны под небольшой, вроде канотье, соломенной шляпкой с неглубокой тульей, защищавшей её от назойливого сентябрьского солнца в те минуты, когда тому удавалось прорваться сквозь облака и залить площадку колым слепящим светом. Эта шляпка, приколотая к причёске

булавками, сидела на княжне чуть-чуть боком и придавала ей слегка задорный вид. Здесь, на теннисном корте, было хорошо заметно, что стройная фигура Анны Фёдоровны не нуждалась в корсете. Она была весела и беспечно кокетничала со штабс-капитаном, парируя его шутливые замечания и подтрунивая над ним за его вечное хвастовство.

— Браво, Анна Фёдоровна! — доносился с корта голос Блинова. — Опять аккурат в угол! Вы, пожалуй, самого графа Сумарокова легко обыграете!

— Ну что вы, Виктор Иванович, куда уж мне! — отвечала княжна, в очередной раз вынуждая противника бежать к краю площадки. — Граф Сумароков — чемпион России, а я всего лишь «спящая красавица», как вы изволили выразиться сегодня утром.

— Потрясающе! Вы меня загоняли! Уф! — деланно отдувался штабс-капитан, перекидывая княжне через сетку мячи для подачи.

— Поделом вам! — очаровательно улыбалась в ответ Анна Фёдоровна.

— Княжна, милейшая... вы восхитительны! Полагаю, вы и аэроплан сумеете пилотировать! Когда же пожелаете к нам на аэродром? Я просто сгораю от нетерпения прокатить вас над облаками. Кстати, мы только что получили новый «Фарман»...

— Нет, Виктор Иванович, летать в облаках — не мое призвание. Я слишком боюсь с них упасть.

— В вашей семье есть с кого брать пример. Ваш кузен — отличный авиатор.

— Этот отличный авиатор месяц назад, как вы знаете, едва не сломал себе шею.

— Известно, Анна Фёдоровна, — искусство требует жертв. А ваш кузен делает это только ради искусства. Деньги-то у него и без того куры не клюют.

Наконец княжна заметила Навроцкого и, бросив игру, направилась к нему. Поправляя на ходу шляпку, она свети-  
лась самой обворожительной улыбкой.

— Здравствуйте, Феликс Николаевич! А мы с господи-  
ном Блиновым только что закончили партию. Теперь я  
в вашем распоряжении.

— То есть как это закончили? Анна Фёдоровна, поми-  
луйте, вы же обещали... — возражал подскочивший к ним  
штабс-капитан.

— Нет, Виктор Иванович, не помилую, — обезоружи-  
вающе сияла раскрасневшаяся княжна. — Феликсу Нико-  
лаевичу я обещала раньше.

Блинов начал было спорить с княжной, но, поняв, что  
это бесполезно, поблагодарил её за игру и откланялся. Бро-  
сив в сторону Навроцкого фамильярное «Вёзет же тебе,  
братец!», он хлопнул себя ракеткой по голенищу сапога  
и удалился.

Анна Фёдоровна немедленно принялась за игру с но-  
вым партнёром, но князю не хотелось походить на штабс-  
капитана, и разговор у них не ладился. Они сыграли два  
сета, не проронив почти ни слова. Впрочем, заметно было,  
что общество друг друга приятно им и без слов. Со сторо-  
ны даже казалось, что каждый из них украдкой любителю  
соучастником игры. Наконец княжна утомилась и остано-  
вила партию.

— Меня привёз сюда штабс-капитан, — сказала она. —  
Теперь вы, Феликс Николаевич, отвезите меня, пожалуй-  
ста, домой.

Тяжёлые серые тучи, постепенно оттеснив куда-то на  
восток белые кучевые облака, сомкнулись, закрыв для  
солнца последнюю лазейку. Начал накрапывать дождь. Пе-  
реодевшись, Навроцкий подогнал автомобиль поближе  
к выходу из клубной раздевалки и поднял кожаный верх.

Вскоре появилась княжна.

— Кажется, мы вовремя успели закончить, — сказала она, взглянув на тучи.

Опершись на протянутую Навроцким руку, она легко вскочила на ступеньку авто, но проскользнула не на заднее сиденье, лучше защищённое от дождя, а на переднее, оказавшись рядом с князем.

## 2

Вниманием мужчин Анна Фёдоровна была награждена в избытке и пользовалась им как чем-то само собой разумеющимся. С тех пор как ещё девочкой она впервые слышала от мужчины похвалу своей красоте, прошло уже так много времени, что она давно успела привыкнуть и к своей привлекательности, и к неизбежному мужскому ухаживанию. Позже, когда её красота расцвела в полную силу, она научилась принимать комплименты мужчин без малейшего жеманства, не придавая им никакого значения, а порой даже внутренне раздражаясь их скучным однообразием. Возможно, поэтому её скользкий томный взор чаще задерживался на мужчинах, которые ей этих комплиментов не делали. Одним из таких мужчин был и князь Феликс Николаевич Навроцкий. Он никогда не льстил, был с ней прям и даже, быть может, излишне сдержан, но сердце без труда подсказывало княжне, что он просто-напросто в неё влюбился. Навроцкий ей, безусловно, нравился. Ей приятно было с ним кокетничать, разжигая в нём чувство, но это был, скорее, лишь природный женский инстинкт, который заставляет женщину создавать вокруг себя магнетическое напряжение, притягивающее одних и отталкивающее других. Стараться нравиться мужчине, который ей самой приглянулся, было



естественной потребностью княжны. Как и всякая другая женщина в подобных случаях, она не знала, к чему это может привести и должно ли это вообще куда-то вести, но, как и любой другой женщине, ей доставляло удовольствие оставаться некоторое время в сладостном неведении, балансируя на острие возбуждающего воображение, но, в сущности, безобидного флирта. Ей казалось, что она в любой момент может остановиться или, напротив, позволить себе без оглядки свалиться в пропасть, если ей этого захочется. Так, впрочем, полагают многие женщины, спохватываясь только тогда, когда настойчивость и ловкость бравых мужчин, способных на многое для достижения известной цели, и собственная слабая воля наивных дочерей Евы уже сделали своё дело и пропасть уже приняла излишне самоуверенных бедняжек в свои объятия. Но опыт Анны Фёдоровны был не столь велик, чтобы прозревать все тонкости и ковы этой борьбы полов. До сих пор ей ещё не приходилось проливать слезу из-за особ противоположного пола, и в увлекательной игре с ними она видела лишь приятную сторону. Так почему бы не пококетничать? Почему бы немного, самую малую толику, не влюбиться? Навроцкий представлялся ей вполне подходящим для этого объектом. И хотя Феликс Николаевич был лет на двадцать старше самой Анны Фёдоровны, держался он молодцом. Ей нравилась его зрелая, неброская мужская красота и особенно располагающий к себе взгляд умных, печальных глаз. Невзирая на свою молодость, она уже знала: мужчина — что коньяк: чем старше, тем вкуснее.

Лёгкая усталость после игры не мешала Анне Фёдоровне чувствовать себя превосходно. Усаживаясь в автомобиль рядом с Навроцким, она хотела чуточку его эпатировать — только и всего. Аристократическое происхождение и привлекательная внешность не сделали княжну девуш-

кой сухой и высокомерной, и свойственная ей склонность к шуткам и проказам, проявляясь иногда самым неожиданным образом, лишь добавляла ей прелести и неотразимости в глазах мужчин. Когда она подумала, что удобнее всё-таки сесть сзади, было уже поздно: автомобиль тронулся с места. Она украдкой взглянула со своей боковой позиции на князя, но его мужественный профиль ничего не выказывал. Казалось, Навроцкий был совершенно равнодушен к её манёврам и дислокации.

Они проехали несколько кварталов молча, и Анна Фёдоровна, не выдержав этой странной бессловесной близости, заговорила первой:

— Моё приглашение, Феликс Николаевич, остаётся в силе. Маме вздумалось устраивать литературные журфиксы, и никто не смог её отговорить. — Она слегка повела плечами и поморщилась, показывая своё скептическое отношение к начинанию родительницы. — В эту среду будут читать стихи. Приходите и вы.

— Признаюсь, я далёк от современной литературы, — сказал Навроцкий, — и, увы, не могу похвастать никакими достижениями в этой области, кроме написанных когда-то в юности стихов. Но я люблю читать... И увидеть вас уже в среду будет для меня превеликим удовольствием.

«Превеликим удовольствием... Я становлюсь похожим на Блинова», — подумал он, недовольный собою.

— Кстати, как складываются отношения с литературой у господина Блинова?

«Ревнует?» — пришло на мысль княжне.

— Не знаю, — ответила она, пристально поглядев на князя. — Он, кажется, не приглашён.

И тут же она задалась вопросом: в самом ли деле влюблён в неё Навроцкий или только притворяется? Ей хотелось, чтоб непременно был влюблён, и, укрепляя занятые

позиции, она совершила ещё один смелый манёвр: прощаясь с Навроцким у подъезда своего дома, она быстро поцеловала его в щёку и уже в дверях, кивнув швейцару, обернулась и помахала князю рукой. По её разумению, это должно было подействовать, и она не ошиблась.

### 3

Остальную часть дня Навроцкий был бодр и весел и, несмотря на утреннюю игру в теннис, с полчаса боксировал в углу своего просторного кабинета, нанося удары по подвешенному к потолку тяжёлому кожаному мешку. Во время занятий боксом и затем под душем он часто обдумывал те или иные дела, и решения, созревавшие у него в голове в эти минуты, часто оказывались лучшими. Но сейчас, пустив душ и стоя под его освежительными струями, он мог думать только об Анне Фёдоровне, о неожиданном прикосновении к его щеке её влажных и нежных губ, о загадочном прищуре тёмных серо-зелёных глаз, прозрачных, отливающих под лучами солнца чудным маслиновым колером...

Перед вечером стрелка барометра в кабинете Навроцкого поползла влево и вниз, погода резко переменялась. Хлёсткий, порывистый ветер бросал в окно брызги дождя и первые пригоршни осенних листьев. Афанасий, служивший ещё у Николая Евграфовича, отца Навроцкого, принёс дров и растопил камин. Наложив пластинку с записью *Adagietto* из Пятой симфонии Малера, Навроцкий завёл граммофон и расположился перед камином. Хорошо было вот так сидеть в глубоком кресле перед согревающим и тело и душу огнём, когда за окном бушевала петербургская непогода. Приятное потрескивание дров и причудливая пляска языков пламени в очаге вызывали в воз-

буждённым событиями прошедшего дня сознании князя неясные образы. Свежие впечатления, в которых на первый план выходила точёная фигурка Анны Фёдоровны, сменялись картинами последнего лета, а их в свою очередь вытесняли туманные дали счастливого детства. Все эти образы, картины и впечатления мешались и теснились в голове князя, не давая ему сосредоточиться на какой-то одной мысли, но он не сопротивлялся этому потоку видений, сменявших одно другое, точно мизансцены в кинематографе, а послушно наблюдал то, что ему преподносила память. Вот мелькнула фигура отца, человека добродушного и весёлого, но спившегося и в конце концов покончившего с собой, приняв смертельную дозу рвотного ореха. Вот перед ним появилась мать, жёсткая и властная женщина, третировавшая супруга за его слабый характер. Отдаление от неё Феликса началось ещё в отрочестве и закончилось полным отчуждением. Но всё это происходило много позже, а в самом начале было безоблачное детство, гармония которого была так совершенна, что память решительно отказывалась выдать какой-нибудь изъян, дефект, неприятную подробность тех ранних лет, когда он сполна получал от родителей всю ту любовь, на которую мог рассчитывать ребёнок. Детство его было заполнено солнцем и всеми прелестями русского усадебного быта, типичного для того класса, к которому принадлежала их семья. Няня, бонна, гувернантка, учителя, дети прислуги и крестьян — все они были созданы как будто для того, чтобы его окружало нескончаемое веселье, чтобы он никогда не оставался один. И всё-таки смутное ощущение одиночества, непонимания со стороны близких было знакомо ему уже с раннего детства. Это ощущение росло в нём с каждым годом и после смерти отца стало чуть ли не стержневой эмоцией в его блуждавшей в потёмках взрос-

лой жизни душе. И даже бог не мог помочь ему в его одиночестве: несмотря на крайнюю набожность и даже неистовость религиозного чувства матери, он унаследовал атеизм отца.

Холодность между Навроцким и матерью назревала исподволь, незаметно, и природу этого явления он, сколько ни раздумывал, не мог постичь, пока вдруг, уже взрослым человеком, не задался вопросом: не была ли причиной этого отчуждения та любовь-тирания матери, которую ему пришлось испытать на себе в юности? Не скрывалась ли за ширмой чрезмерной любви подлинная нелюбовь? Может быть, он слишком походил и внешностью, и складом характера на доставившего ей столько огорчений отца, а может, причиной был брак, на который она вынуждена была согласиться по настоянию родителей? Так или иначе, эта холодность между ними лишь усиливала бродившее в нём чувство одиночества. Вначале это заставляло его страдать, и тогда он находил утешение в пирушках и кутежах с университетскими товарищами, певичками и актрисами. С годами же, плавая, подобно Джозуа Слюкаму, в одиночку в океане жизни, он мало-помалу начал понимать, что причина его мучений кроется в нём самом, что одиночество, от которого он так страдает, оберегает его от многих разочарований. И тогда он научился относиться к одиночеству философски, то есть извлекать из него пользу и находить в нём приятное. В конце концов, не умеренная ли это плата за ту свободу, которую он всегда искал, отказываясь от какой бы то ни было карьеры, будь то военной или статской? И не надёжнее ли плыть под собственными парусами, скроенными и сшитыми своими руками?

Навроцкий попытался отвлечься от этих мыслей и сосредоточиться. Что, собственно, тревожило его в эту минуту? Что нужно было сделать, чтобы в душе воцарился

покой? Сейчас он был влюблён, и это весёлое волнующее чувство легко и беспечно, точно ненужный хлам, стряхнуло в мусорную корзину многое из того, что отягощало его сердце. Но всё же что-то сверлило душу, и с этим непонятным, неразгаданным врагом, затаившимся где-то в тёмных глубинах сознания, не могла справиться даже влюблённость. Он попытался разложить по полочкам причины этого непонятного беспокойства и справиться с ними по очереди, методично и последовательно, но не мог дать этим причинам ясного определения. Он лишь догадывался, что делает что-то не так, неправильно, что рядом с ним что-то не ладится, не сходится, и, будучи не в силах справиться с этим ощущением, решил вытеснить его другими мыслями и другими впечатлениями. Обычно в такие минуты рассеянности и неопределённой грусти ему помогала музыка. Он сел за рояль, ударил по клавишам и, начав с одной из пьес Малера, кончил собственной импровизацией, длинной и страстной. И она целиком поглотила его, утомила, вымела прочь теснившую душу рефлексю.

В окно эркера с нарастающей силой ударили порывы ветра. Навроцкий подумал, что дует, должно быть, с запада и что при таком ветре, если ненастье будет продолжаться долго, уровень воды в Неве может подняться до опасного. Он встал из-за рояля, постучал пальцем по стеклу барометра, стрелка которого сразу упала ещё ниже, и подошёл к письменному столу, где в сработанном Овчинниковым серебряном ларце, со специальной увлажнительной баночкой, лежали гаванские сигарки. Вставив в настольную гильотину одну из них и нажав на рычаг, он отрубил её кончик, вытянул из серебряной спичечницы особую длинную спичку и, раскуривая сигарку, вступил в эркер. Ряды фонарей за окном бросали густой жёлтый

свет в охваченную дрожью тьму опустевшей улицы. Гул непогоды проникал в квартиру. А в глубине кабинета, в облицованном белыми изразцами камине, ещё долго мерцал слабеющий, точно утомившийся гуляка и пьяница, огонь и догорали остатки его оголтелого пиршества — головешки берёзовых дров...

## Глава шестая

### 1

Прибыв в ближайшую среду на журфикс к Ветлугиным, Навроцкий застал там немало гостей, но литераторов среди них почти не было. По-видимому, вечера у княгини ещё не превратились в Мекку для поэтически настроенной петербургской публики, тем более что аристократок и купчих, желавших, подобно Софье Григорьевне, придать своим гостиним литературный блеск, в Петербурге обитало ещё больше, чем пишущей братии. Княгиня никогда не была страстной поклонницей литературных талантов, но как жена чиновника высокого ранга считала своей обязанностью отдать дань столичной моде. Поскольку же, кроме увлечения поэзией, Петербург проникся большим уважением к карточной игре и спиритизму, практический ум княгини подсказал ей оригинальное решение: она нашла вполне уместным все эти веяния объединить в своём великолепном доме. В одной из сообщающихся с гостиной комнат были установлены обтянутые сукном столы для игры в карты, в другой — большой овальный стол для спиритических сеансов. Комнату для общения с духами Софья Григорьевна декорировала подходящим образом: стены

были обклеены специально для этой цели изготовленными чёрными обоями с золотыми звёздами и планетами, а стол инкрустирован таинственными знаками, похожими на китайское письмо. Что означали эти знаки, никто из посетителей комнаты не знал, да и сама княгиня затруднилась бы растолковать, так как известный в Петербурге художник и краснодеревщик Ковригин, которому был заказан стол, редко бывал трезвым и добиться от него вразумительного ответа не было никакой возможности. Однако Софья Григорьевна очень скоро убедилась в том, что в магической силе этих знаков её гости не сомневаются и без разъяснений. Теша себя надеждой, что господин Ковригин рано или поздно удовлетворит её любопытство, княгиня полагала, что посетители этой особой комнаты лучше неё осведомлены в вопросах оккультизма. Простое соображение о том, что их «осведомлённость» может объясняться обыкновенным опасением прослыть невеждами в глазах других спиритов, ей почему-то не приходило в голову. Словом, художник Ковригин справился со своей задачей превосходно.

Стоит ли удивляться тому, что княгиня не смогла обойти вниманием и политику, столь занимавшую в последнее время многие петербургские умы. И хотя политика была делом скользким и в каком-то градусе опасным, мода на либерализм и даже, в известной мере, социализм так широко распространилась среди части интеллигенции и аристократии, что остаться в стороне Софья Григорьевна никак не могла. Поэтому в ближайшие планы княгини входило приглашать к себе — для непринуждённых бесед за лёгкой закуской и рюмочкой коньяка или ликёра — членов Государственной думы и лидеров политических партий. «Пусть себе выпускают пар в моей гостиной, — объясняла она свои намерения друзьям и знако-



мым, — лишь бы не взорвали Россию!» Коротко говоря, Софья Григорьевна была особой энергичной и деятельной, чего нельзя было сказать о её муже, человеке государственном и слишком занятом своей службой, чтобы вникать в затеи жены. Стоит добавить, что свойственные княгине грация и манеры потомственной аристократки, и в особенности её ещё не потухшая красота, привлекали в дом Ветлугиных не только петербургский бомонд, но и более разночинную и демократическую публику и не могли не способствовать успеху её предприятий.

Между тем на этот один из первых устроенных княгиней литературных журфиксов пришла всего лишь одна знаменитость. Ею была дама невысокого роста, облачённая во всё чёрное. Даже голову этой госпожи покрывала чёрная шаль. Тёмные тени, намазанные вокруг глаз, и ярко накрашенные лиловой помадой губы придавали даме мистический, если не сказать загробный, вид. Привёзённый поэтессой тапёр ловко заполнял паузы между стихами виртуозными фортепьянными пассажами. Подобно древнему рапсоду, увлечённому до самозабвения вдохновенной рецитацией, она декламировала нараспев, закатывая глаза, заламывая руки, и не выговаривала, а выдыхала свои вирши:

Зажги меня! Зажги-и-и!  
Не жди! До боли жги-и-и!  
Хочу сгореть до зги-и-и,  
До ада, до тоски-и-и!

В гостиной Навроцкий заметил ещё двух молодых поэтов. Горделиво приподнятые подбородки, свободные позы и некоторые детали туалета не оставляли сомнений в принадлежности их к этому виду творчества. По-видимому, они уже закончили свои выступления, и князь не мог

заклЮчить, сколь щедро Эрато одарила этих юношей, однако кургузые их сюртуки, мятые галстуки и не совсем свежие воротнички рубашек намекали на то, что если не мурза, то уж издатеЛи-то явно поскупились.

— Господа, позвольте узнать, по ком эта дама носит траур? — обратился к ним Навроцкий.

— По потерянной девичьей чести, — ответил один из молодых людей, надменно скривив рот, и, заметив немое удивление князя, снисходительно и в то же время насмешливо добавил: — Как можно об этом не знать? Об этом говорит весь Петербург!

Навроцкий подумал, что у этих молодых людей, верно, есть какой-то свой, неизвестный ему, Петербург, и, сев в сторонке на свободный стул, принялся слушать даму в трауре. Тем временем поэтесса, и душой и телом отдавшись декламации, довела себя до весьма высокой степени экзальтации: её щёки превратились в два абрикоса с пунцовыми боками, из глаз, смывая краску, потекли неподдельные слёзы, и вся она как-то странно вздрагивала. Заключалась ли причина подобного возбуждения в повышенной эмоциональности дамы, привычке употреблять морфий или в заурядном пристрастии к какому-нибудь алкогольному напитку вроде абсента, князю трудно было судить, но последнее предположение казалось ему наиболее правдоподобным.

Из перешёпывания присутствующих он понял, что ждали Александра Блока, но, к большому сожалению гостей и хозяйки, модный поэт так и не появился. Когда поэтическая часть вечера была закончена, княгиня пригласила желающих участвовать в спиритическом сеансе. Несколько любителей потустороннего прошли в соседнюю комнату, где приготовленный для них гладкий овальный

стол с кабалистическим письмом многообещающе поблескивал под хрустальной электрической люстрой, готовой в любую минуту уступить свои обязанности хотя и немогущему по сравнению с ней, но умудрённому опытом и располагающему к метафизике канделябру. Софья Григорьевна вежливо, с соответствующей важности момента интонацией в голосе попросила гостей не шуметь, ибо для удачного сеанса необходимы были полная тишина и сосредоточенность внимания, и после этого призыва к сознательности присоединилась к остальным спиритам, плотно притворив за собой дверь. Скептики остались в гостиной, приверженцы винта и покера поспешили занять места за карточными столами, другие же собрались уходить. Анна Фёдоровна, взяв на себя обязанности хозяйки, распорядилась принести чаю и, подступив к князю, предложила ему пройти с ней в её комнаты.

## 2

Следуя за Анной Фёдоровной, Навроцкий обдумывал предстоящий разговор. Он уже давно чувствовал необходимость какого-то объяснения с нею, но наступил ли для этого подходящий момент? Что ей сказать? Что он полубил её? Готов ли он к такому объяснению?

Когда, весь терзаемый сомнениями, Навроцкий вошёл за княжной в её просторный, обставленный светлой мебелью будуар и рассеянно обвёл его взглядом, он, к удивлению своему, обнаружил, что они с Анной Фёдоровной здесь не одни. У окна, с папиросой, картинно зажатой между указательным и средним пальцем, стоял красавец, богач, известный в Петербурге авиатор и авантюрист поручик Константин Казимирович Маевский, двоюродный брат

Анны Фёдоровны. По выражению его умных и красивых глаз, с любопытством смотревших на князя из-за струйки папиросного дыма, Навроцкий догадался, что поручик их ждал.

Князь не был знаком с Маевским лично, но видел его на балах у графини Дубновой и был немало о нём наслышан. Говорили, что Маевский совершил путешествие на яхте вокруг Африки, летал на воздушном шаре над Египтом и участвовал во множестве автомобильных гонок, пока не сломал ногу, из-за чего слегка прихрамывает. Последнее увлечение Маевского — аэропланы — сделало его чрезвычайно популярным в среде эмансипированных петербургских дам, многие из которых, потеряв голову и забыв про страх, записывались к поручику в очередь, чтобы хоть чуточку попарить с ним в сером петербургском небе на восхитительной крылатой машине. Богатство же, мужская, без смазливости, красота Маевского, его холостяцкий статус делали этого баловня судьбы неотразимым в глазах женщин, и многие аристократки с удивительной лёгкостью готовы были простить ему единственный недостаток — отсутствие дворянского звания (мать Константина Казимировича, потомственная дворянка, вышла замуж по любви за купца, только основательный достаток которого и смог заткнуть рты её родне, хором восклицавшей: «Как же это можно — влюбиться в купчишку, в торгаша!»), лишь бы заполучить его в мужья. Грандиозный успех у женщин сделал Маевского крайне самоуверенным и в отношениях с мужчинами, которые втайне ему завидовали и старались держать своих жён на безопасном от него расстоянии. Впрочем, самоуверенность поручика покоилась не только на таком довольно зыбком и ненадёжном основании, как благосклонность петербургских дам и девиц, но имела под собой и более солидную опору. Унаследо-

вав от отца значительный капитал и жёсткую хватку дельца, Константин Маевский, привыкший жить на широкую ногу и ни в чём себе не отказывать, умел вместе с тем не только не растрачивать полученное наследство, но и постоянно умножать его. Это качество, разумеется, не умаляло его славы.

Представив Навроцкого и кузена друг другу и дав им возможность обмениваться дежурными фразами, Анна Фёдоровна деликатно отошла в сторонку и, усевшись на канapé в дальнем углу будуара, принялась рассматривать модные журналы.

— Хочу предложить вам выгодную сделку, — сказал Маевский, приступая к делу, по которому и ожидал князя. — Несколько лиц, предпочитающих оставаться пока в тени, намерены приобрести ветку железной дороги до Больших Порогов. Сейчас этой веткой владеет купец Дерюгин, но у нас имеются сведения, что в Министерстве путей сообщения вынашивается план её приобретения и соединения с основной дорогой. Завладев веткой, мы сможем вскоре продать её казне в два раза дороже. Это не составит никакого труда: казна за деньгами не постоит.

— Вы думаете, Дерюгин её продаст? — спросил Навроцкий. Предложение Маевского показалось ему сомнительным, но деловая жилка в нём всё-таки шевельнулась.

— Он уже давно желает её продать, но он ничего не знает о планах казны, а мы знаем. Дело это обдeldывать нужно быстро, поскольку рано или поздно сведения эти выйдут из министерства наружу, и уж тогда-то Дерюгин дорогу нам не продаст.

Маевский говорил быстро, почти скороговоркой.

— Зачем же казне понадобилась эта ветвь? Это дорога сугубо местного значения, — сказал князь.

— Общественная польза. Вдоль этой дороги строится много дач. Кроме того, линию эту хотят дотянуть до Орлова, а там одна весьма влиятельная и приближённая ко двору особа недавно получила в наследство большое имение, которое намерена нарезать на участки и продать под дачи.

— И что же вы предлагаете мне?

— Я предлагаю вам дать нам деньги, то есть стать нашим союзником и компаньоном. Нам недостаёт трёхсот пятидесяти тысяч рублей. Это, заметьте, существенная часть всей суммы, так как дорогу Дерюгин намеревался продать за миллион. Заковырка, однако, в том, что в данный момент у нас нет в наличии этих денег. А вы, князь, кажется, ищете, куда бы вам пристроить свои капиталы, не так ли? Вот вам и карты в руки.

— Это большие деньги, поручик, и достать их вот так, сразу, я не могу. Поверьте, сейчас у меня тоже нет свободных средств.

— Подумайте, князь. В случае удачи вы сможете удвоить свой капитал. Если через неделю вы не найдёте деньги, мы будем искать другие источники.

Когда Навроцкий и княжна выходили из будуара, Маевский прибавил:

— Феликс Николаевич, надеюсь, вы понимаете... Это конфиденциально.

Навроцкого озадачило неожиданное предложение знаменитого родственника княжны. Обратив внимание на озабоченный и даже мрачный вид князя, Анна Фёдоровна объяснила его себе по-своему, по-женски, и была недалеко от истины. Ведь она прекрасно понимала, что Навроцкий надеялся поговорить с ней о чём-то совсем другом.

— У братца чутьё на хороший куш, — сказала она, виновато улыбаясь.

Навроцкий пребывал в растерянности: то, что теперь происходило, не очень вязалось с поцелуем, который он получил накануне. Ему стало ясно, что объяснение с княжной необходимо отложить. Почувствовав потребность уединиться и всё обдумать, он попрощался с Анной Фёдоровной и уехал.

Предложение Маевского его заинтересовало. Вкладывать крупную сумму денег в дело с неизвестным результатом, опираясь лишь на непроверенные слухи и не имея возможности контролировать предприятие от начала до конца, было не в его правилах, допускавших лишь разумный риск, но пропозиция, сулившая существенную прибыль, была сделана в присутствии Анны Фёдоровны, и у него не было причин не доверять Маевскому. К тому же это был удобный случай поправить дела. Оставалось только что-то придумать, чтобы достать деньги, — свободных трёхсот пятидесяти тысяч у него не было. Заложить акции? Это был, пожалуй, самый верный способ набрать одним махом нужную сумму, требовалось лишь согласие дирекции банка.

Поздно вечером в кабинете Навроцкого зазвонил телефон. Он не сразу узнал вкрадчивый голос господина Петрова, который, после извинений за беспокойство в столь поздний час, снова предложил содействие на тот случай, если князю что-нибудь понадобится по банковской части. Навроцкий вежливо его поблагодарил, не имея ни малейшего намерения этим содействием воспользоваться. Весь облик господина Петрова выдавал в нём человека корыстного и, очевидно, нечистого на руку. И хотя Навроцкому подобное содействие пришлось бы очень кстати именно теперь, он предпочёл обратиться в банк, клиентом которого давно состоял. Перед тем как лечь спать, сидя в горячей

ванне с сигаркой в зубах, он вдруг подумал о том, что предложение этого господина последовало сразу за предложением Маевского. Совпадение ли это или Петров имеет какое-то отношение к проекту кузена Анны Фёдоровны?

### 3

Утром Навроцкий отправился в банк, где ему удалось довольно быстро всё уладить. Уже к полудню, после устройства формальностей, нужная сумма денег была получена. Часть этой суммы выдали под залог акций, часть — под честное слово, но с немалыми процентами. Прямо из банка Навроцкий телефонировал Константину Казимировичу, что готов участвовать в проекте, и сразу после разговора с ним перевёл деньги на названный Маевским счёт, специально предназначенный для аккумуляции необходимых для приобретения железнодорожной ветки средств. В случае неудачи предприятия, если бы Дерюгин отказался продать дорогу или казна не пожелала заплатить за неё дороже, Навроцкий, как ему казалось, мог бы потерять только проценты.

Закончив дела, он находился в приподнятом расположении духа, сомнения его насчёт чистоты предприятия как-то незаметно отодвинулись на второй план. Скоро, однако, настроение ему подпортил Прокл Мартынович Феофилов, с которым он столкнулся сразу, как вышел через вращающуюся каруселью дверь банка на Невский проспект. Стриженный бобриком добродушный толстяк Прокл Мартынович был владельцем ресторана, в котором князь всегда мог рассчитывать на кредит. В специальной тетради, куда Феофилов заносил должников, для Навроцкого была отведена отдельная страничка.



Поздоровавшись с князем и поругав петербургскую погоду, представленную в это утро мелким дождичком, сочившимся из тяжёлого, точно набухший войлок, неба, Феофилов перешёл к успехам своего заведения — предмету его особой гордости. Великой мечтой Прокла Мартыновича было сделать свой ресторан таким же известным, как «Донон» или «Кюба», и разговаривать на эту тему он мог часами. Впрочем, Навроцкий охотно верил в то, что Феофилов задуманного добьётся, ведь ещё недавно он держал не ресторан в центре города, а лишь два дешёвых трактира на окраине.

Закончив панегирик своему детищу, Прокл Мартынович из вежливости поинтересовался делами Навроцкого.

— А кто у вас управляющий? — спросил он князя, когда тот, заговорив о положении на бирже, посетовал на то, что во всё приходится вникать самому.

— Шнайдер Иван Карлович, — сказал Навроцкий.

— Шнайдер? Знакомая фамилия... Погодите... Знавал я одного Шнайдера лет пять назад. Нет, вру. У того была фамилия Шнейдер. Он был управляющим у моего троюродного дяди, украл у него десять тысяч и был за это сослан в Сибирь, в каторжные работы. Впрочем, не ваш ли это Шнайдер? Заменить одну букву в фамилии большого ума не надо. Вы с ним поосторожнее.

— Мне его рекомендовала графиня Дубнова... Да и немцев с такой фамилией, я полагаю, в Петербурге найдётся немало... — Навроцкий задумался, затем добавил: — Я держусь того мнения, Прокл Мартынович, что если человек совершил проступок и был за него наказан, вряд ли он повторит ту же ошибку. Сблзнится, скорее, человек ещё не отведавший греха.

— Гм... Необычная у вас теория, Феликс Николаевич. Но кто знает, кто знает... А вы всё же поосторожнее...

Прощаясь с Навроцким, Прокл Мартынович, по обыкновению, пригласил его в свой ресторан:

— Что-то вы, Феликс Николаевич, давненько не заглядывали к нам. Ждём-с, ждём-с... Милости просим-с... Всегда рады-с...

#### 4

Иван Карлович Шнайдер был родом из обрусевших немцев. Отец его служил управляющим крупным имением в одной из южных губерний. Сызмала сопровождая отца в поездках по обширным земельным владениям, постоянно слушая его разговоры с крестьянами и с хозяином-помещиком, Иван Карлович рано смекнул, что, имея в руках власть управляющего и правильно ею пользуясь, можно составить себе неплохое состояньице. В основе материального достатка управляющего, по мнению Ивана Карловича, должна лежать полнейшая убеждённость хозяина в процветании вверенного управляющему хозяйства, даже если это процветание на поверку оказывается иллюзией. Поэтому проведение отчётливой грани между иллюзией и действительностью Иван Карлович не считал в своей деятельности первейшей задачей. Напротив, ему было покойнее, когда эта грань в результате его трудов притуплялась настолько, что нащупать её был не в силах ни он сам, ни самый педантичный и дотошный контролёр.

На службу к Навроцкому Шнайдер поступил год назад, но не деревнями его управлять, а бумагами, векселями и прочей подвижностью. Тем не менее Шнайдеру доставлялась и отчётность из имений Навроцких, законной хозяйкой которых была мать князя Екатерина Александровна. С некоторых пор княгиня Навроцкая пожелала, чтобы её единственный сын, давно проживавший в Петер-

бурге и не баловавший её своими приездами, был в курсе хозяйственных дел. Чтобы возможная смерть её не застала сына врасплох и не привела к расстройству хорошо налаженного хозяйства, в Петербург регулярно высылался подробный отчёт о состоянии дел в имениях. Феликс Николаевич, однако, редко заглядывал в эти бумаги: ему хватало забот об управлении выделенным матерью наличным капиталом, который он решил не проживать, а преумножать, принося пользу и себе, и, по возможности, обществу. Поначалу у князя это получалось не очень-то сноровисто, и он успел потерять около четверти капитала, вкладывая его в разного рода альтруистические проекты и меценатство. Одумавшись, он на время отложил служение идеальному и возвышенному, нанял управляющего и решил действовать более осмотрительно и жёстко. В будущем, однако, он намеревался вложить деньги в какой-нибудь грандиозный и общепользительный проект, так как никогда не стремился к богатству из одного только стяжательства. Наём управляющего оправдал себя. Осторожный и сообразительный Иван Карлович уже несколько раз уберёт Навроцкого от неверных шагов, и тот был ему за это признателен. Однако в последнее время князь стал замечать, что Шнайдер не лучшим образом справляется со своими обязанностями и не делает вовсе или делает с опозданием то, что, будь оно сделано вовремя, могло бы принести неплохую прибыль. Эти всё учащавшиеся промахи управляющего постепенно начали раздражать Навроцкого. Он догадывался, что помимо службы у него Шнайдер каким-то образом успевает подвизаться и в других местах, но, пока тот добросовестно отработывал жалованье, не считал нужным всерьёз этим интересоваться. Обойтись же совсем без управляющего, взяться за дела самому Навроцкому не представлялось возможным. Посвятить жизнь тому,

чтобы с утра до вечера проверять бумаги, читать биржевые сводки и делать расчёты, отдавая изрядную часть мыслительной энергии столбцам сухих цифр, означало бы, по его мнению, раньше времени закопать себя в могилу.

Поднявшись в кабинет Шнайдера, Навроцкий застал его в отличном расположении духа, которое почему-то связал с положением собственных дел, между тем как причина благодушного настроения Ивана Карловича крылась совсем в другом: накануне ему посчастливилось «воспользоваться». Слово это, употребляемое им в раздумьях и в разговорах с самим собой, досталось ему по наследству от родителя и заключало в себе определённый смысл, а именно: «незаметно отрезать маленький кусочек от чужого большого пирога». Короче говоря, Ивану Карловичу где-то пофартило, и поэтому с утра он наградил себя тем, что освежил гладко выбритый подбородок дорогим французским одеколоном. Вообще-то Иван Карлович был человеком экономным, роскоши себе не позволял, а в минуты неудач и финансовых провалов превращался в фигуру откровенно скаредную, отказывая себе даже в самом необходимом. Если фортуна слишком долго не предоставляла ему случая «воспользоваться», лицо его серело, в глазах потухала хитренькая улыбочка, брови опускались, и становился он личностью, мягко выражаясь, неприветливой. Но в этот день, как уже говорилось, настроение Ивана Карловича было прехорошим. Он радостно ответил на рукопожатие князя и спокойно принялся его слушать, производя впечатление человека с кристально чистой совестью.

Навроцкий не сразу заговорил о деле, а, выпив предложенный ему чай, раскурил сигарку и посудачил с Иваном Карловичем о том да о сём. Известие о решении князя заложить бумаги телефонной компании Шнайдер встретил с недоумением, но, выслушав пояснения Феликса Нико-

лаевича, смиренномудро с ним согласился и даже одобрил его планы. Уже попрощавшись со Шнайдером и выйдя из подъезда его дома на улицу, Навроцкий подумал, что посвящать управляющего во все подробности операции с железной дорогой, пожалуй, было незачем. Он повернул назад, ещё раз поднялся в квартиру Шнайдера и, несмотря на всю очевидность необходимости соблюдения конфиденциальности в таком деле, взял с него слово держать всё в тайне.

## Глава седьмая

### 1

Стояли сухие, прохладные дни. Деревья, точно поёживаясь и обречённо вздыхая под порывами жёсткого, колючего ветра, нехотя сбрасывали на газоны остатки своих роскошных нарядов. Дворники, равнодушно шаркая мётлами, безжалостно топча отжившую красоту царственных крон, воздвигали из неё жёлто-багряные погребальные пирамиды. Княжне Ветлутиной нездоровилось, Леокадия Юльевна уехала по делам в Москву, и Навроцкий коротал вечера у себя в кабинете, покуривая сигарки, перелистывая книжные страницы и предаваясь размышлениям у камина. За неполный месяц он прочёл «Воспитание воли» Жюль Пэйю, несколько книг по философии и социологии, побывал в двух-трёх концертах и однажды в опере. Каждую осень, вслед за летом, с его соблазнами, праздностью и вялостью мыслей, он испытывал какую-то особую бодрость ума и души. В эту пору, в холодные, тихие, всё более короткие дни, ему удивительно хорошо думалось, чувство-

валось и мечталось. О делах же, о меркантильном заботиться не хотелось, и хотя Маевский, вопреки обещанию держать его в курсе железнодорожного проекта, давно не телефонировал, Навроцкий его не беспокоил.

В один из таких дней середины осени он услышал в телефонной трубке голос Анны Фёдоровны. Княжна собиралась ехать с друзьями на Иматру и предложила Навроцкому составить им компанию. Он с охотой согласился. Отправиться в путь решено было в ближайшее воскресенье рано утром.

В назначенный час он подъехал на трамвае к Финляндскому вокзалу. Друзьями Анны Фёдоровны оказались штабс-капитан Блинов и Любовь Егоровна Цветкова, товарка Анны Фёдоровны с институтской скамьи. Любовь Егоровна, или Любонька, как её называла Анна Фёдоровна, была девушкой восприимчивой и весёлой. Она с радостной готовностью подхватывала шутки штабс-капитана и в течение всей поездки пребывала с ним в непрестанной пикировке, поглощая, точно губка, его недожинную энергию. Благодаря её балагурству с Блиновым, нескончаемый поток анекдотов, паузы между которыми штабс-капитан заполнял лёгким, беспорядочным ухаживанием за обеими барышнями, был не столь нестерпим для Навроцкого. Время от времени ему даже удавалось перекинуться с Анной Фёдоровной фразами, не имевшими отношения к общей беспечной болтовне. Но как только компания после нескольких часов езды в первом классе наконец добралась до Иматры и вышла на крутой берег Вуоксы, эта беззаботная, весёлая трескотня оборвалась в один миг. У них перед глазами река, стремительно вытекающая из Сайменского озера, с могучей силой обрушивалась в вымощенное каменными глыбами русло водоската, чтобы через сотню вёрст порожистых отмелей и широких разливов принести свои воды в холодную Ладогу. Они смотрели на безу-

держную пляску мощного тока, разбрасывающего вокруг себя пену и брызги, способного в мгновение ока убить любого, кто осмелился бы ступить в его буйные воды, и, заворожённые, молчали. Созерцание могущества природы подействовало даже на штабс-капитана, и выражение его плохо приспособленного к продолжительному молчанию лица сделалось растерянным и глупым. Да и говорить под хлопок и оглушительный рёв стремнины было трудно. Они бродили по узким тропинкам, то спускаясь к самой воде, то поднимаясь на крутой берег, и без устали любовались неистовым потоком, а с высоты на них надменно взирали могучие сосны и ели, обрамлявшие алмазную реку, точно гигантские изумруды.

Скоро брызги водяных струй, радужно искрящиеся в косых лучах низкого осеннего солнца, навели Блинова на приятную мысль о шампанском.

— Господа! — закричал он, багровея от напряжения голосовых связок и предвкушения физиологического удовольствия. — Это же праздник души! Его нельзя не отметить. Не пора ли нам закусить?

И, подчиняясь энтузиазму штабс-капитана и собственному чувству голода, туристы направились в ресторан гостиницы, возвышающейся над рекой подобно средневековому замку.

Выслушав рассказ метрдотеля о таинственной даме в сером, путающей постояльцев своими неожиданными появлениями по ночам, одолев изрядную порцию прекрасной свежей лососины и запив её солидным количеством знаменитого французского напитка, Блинов поглядывал на молодых дам с самодовольной улыбкой. В яйцеобразной голове его, как видно, шла подготовительная работа, и в подходящую минуту целый выводок пикантных анекдотов должен был вылупиться наружу и поразить

дам остроумием и артистизмом их вещателя. Впрочем, настроение остальных членов компании также вернулось на прежнюю легкомысленную высоту. Необычность обстановки, буйство местной природы и шампанское возбуждающе действовали на всех.

— Сегодня всё должно пузыриться! — провозглашал с комической торжественностью штабс-капитан, поднимая бокал шампанского и коротким движением головы отбрасывая со лба прядь волос.

— И пениться! — радостно вторила ему Любовь Егоровна.

— И звенеть! — уточняла, чокаясь со всеми, Анна Фёдоровна.

Навроцкий с удовольствием наблюдал, как щёки княжны зардели румянцем, а глаза загорелись весёлыми, лукавыми огоньками.

После обеда они вернулись к реке, где перед ними предстала шумная картина. В плетёных корзинах, скользивших над бурлящей пропастью по перекинутым с берега на берег канатам, в весёлом возбуждении каталась кучка русских офицеров. Один из них, самый молодой, держал высоко над головой бутылку шампанского, другой, в золотом пенсне, стрелял в неё с берега из револьвера.

— Козлов! С трёх раз не попадёте! Считайте, что проиграли пари, — во всё горло кричал из корзины светловолосый подпоручик.

— А это мы сейчас увидим, — угрюмо отвечал Козлов. Раздался хлопок, и короткое эхо его потонуло в шуме воды. Бутылка была цела.

— Ну, Захаров, — подмигнул подпоручик офицеру с бутылкой, — триста рублей ваши. Вы сегодня нас всех угощаете.



— Погодите, у него ещё один выстрел, — отвечал молодой.

Корзина снова заскользила над пропастью. Козлов прицелился и выстрелил. Бутылка разлетелась вдребезги, обдав шампанским и осколками стекла находившихся в корзине офицеров.

— Эй, Козлов! Скотина! Поаккуратнее нельзя было?! — закричал побледневший подпоручик, отряхивая перчаткой шинель, и, когда корзина причалила к берегу, весело тряхнув головой, прибавил: — Ведите нас в ресторан, сегодня угощаете вы. Ох и налакаюсь же я шампанского!

Возле Анны Фёдоровны и её друзей невесть откуда появился финский паренёк. Поправляя на голове картуз, из-под которого во все стороны выбивались белые вихры, он деловито предложил княжне за небольшую плату выдолбить на скале её имя. Анна Фёдоровна охотно согласилась. Паренёк вынул из кармана долото, и через несколько минут проворной работы на сером каменном скате появилась надпись:

Анна  
1912

— Вот видите, господа, — сказала довольная княжна, — через сто лет, когда меня уже не будет на свете, приедет сюда из Петербурга какой-нибудь романтический молодой человек, увидит эту надпись и подумает: «Кто же такая была эта Анна? Молодая ли, красивая ли она была?»

Анна Фёдоровна рассмеялась и, точно расшалившийся ребёнок, стала взбираться по тропинке между деревьями на крутой скалистый берег. Тропинка была завалена сорвавшимися сверху камнями, и Навроцкий, опасаясь за княжну, бросился за ней вдогонку. Камни сыпались у него

из-под ног и где-то внизу как будто беззвучно падали в воду. Вскоре он догнал Анну Фёдоровну и вовремя протянул ей руку, так как княжна потеряла равновесие и едва не упала. И здесь произошло то, чего не ожидали ни она, ни сам Навроцкий: он подхватил её за талию и, не отдавая себе отчета в том, что делает, поцеловал в губы. В ту же минуту Анне Фёдоровне почудилось, что это она, потеряв над собой власть, первой поцеловала князя. Навроцкий же, ошеломлённый случившимся, бережно удерживая княжну, чувствовал, что она не только не сопротивляется, а, напротив, отвечает ему встречным порывом. Этот поцелуй казался ему уже не тем почти неосязаемым, целомудренным прикосновением губ, которое обожгло его своей внезапностью, когда он провожал её из теннисного клуба, а чем-то совсем другим: будто разорвал почву, вышел на волю из неведомых глубин его и её чувственности молодой, крепкий побег страсти. И неожиданная, головокружительная взаимность всё сильнее и сильнее распаляла его. Наконец Анна Фёдоровна высвободилась из его объятий и, часто и глубоко дыша, подняла на него широко раскрытые глаза. Такого её взгляда он никогда раньше не видел. Всё кокетство Анны Фёдоровны, обволакивающий её светский флёр, через который она никого к себе не пропускала, куда-то исчезли. Она стояла перед ним точно обнажённая, простая и такая земная, и если временами угадывалась в ней какая-то неестественность, в эту минуту от неё не осталось и следа. Навроцкий видел перед собой слабое существо, женщину, сложившую своё нестрашное оружие и не желавшую более защищаться. В голове его бушевал вихрь восторга и нежности, он уже готов был сделать ей предложение, когда княжна вдруг опомнилась, засмеялась и побежала по нагромождению камней, рискуя на каждом шагу оступиться. И Навроцкий, весь

ещё во власти пережитого им потрясения, поспешил за Анной Фёдоровной, чтобы предупредить несчастье...

Домой возвращались поздно ночью. На одной из финляндских станций поезд остановился, и изрядно проголодавшаяся компания вышла в буфет закусить. В буфете для проезжающих был приготовлен длинный стол, уставленный всевозможными закусками, горячими и холодными. Возможность хорошо поесть стоила всего тридцать семь копеек, и штабс-капитан не преминул воспользоваться случаем, чтобы до отвала набить желудок. Закусив и выпив чаю, компания вернулась в вагон, и уже до самого Петербурга в купе снова не смолкали шутки и анекдоты Блинова. Иногда мужчины выходили в коридор покурить, и Навроцкий, потягивая сигарку, через приоткрытую дверь купе видел просветлённое лицо Анны Фёдоровны, её улыбку и думал, что ради такого поцелуя мог бы отправиться и в самое пекло Сахары, и в ледяную пустыню Арктики...

## 2

Вскоре после поездки на Иматру, надеясь что-нибудь узнать о продвижении их железнодорожного предприятия, Навроцкий телефонировал Маевскому, но Константина Казимировича дома не застал. Не появился он ни на следующий день, ни через неделю. Чтобы навести справки о его местонахождении у прислуги, которая, выполняя приказание Маевского, не желала говорить с незнакомыми людьми по телефону, Навроцкий решил заехать к нему сам. В квартире Маевского, в новом доходном доме на Каменноостровском проспекте, он узнал от лакея, что Константин Казимирович дней десять как уехал, не сказав куда, и что за это время он лишь пару раз телефонировал

домой, чтобы сделать кое-какие распоряжения. Как выяснилось, ничего не знали о причинах, побудивших их родственника так внезапно куда-то отлучиться, и Ветлугины. Не был ни о чём осведомлён и приятель поручика штабс-капитан Блинов. И Навроцкому не оставалось ничего другого, как только терпеливо дожидаться возвращения своего новоявленного компаньона.

Между тем штабс-капитан, сопровождавший Маевского на всех светских раутах и вечеринках с таким же постоянством, с каким Луна верна орбите вокруг Земли, с исчезновением своего друга как бы временно овдовел. Ибо, хотя Виктор Иванович и не был столь же богат, блестящ и хорош собою, как Константин Казимирович, всё же и ему перепадало то дамское внимание, ради которого все эти рауты и вечеринки посещались. Ведь некоторые небесные тела, из тех, коими пренебрегала Земля, улавливались слабым притяжением Луны. Теперь же, когда его друг внезапно покинул его, штабс-капитан оказался предоставленным самому себе и вынужден был обходиться исключительно собственными силами. Но грустил он недолго. Поскучав день-другой, он собрал всё своё остроумие в кулак и принялся размахивать им налево и направо, то есть, иными словами, пустился флиртовать напропалую со всеми дамами подряд. И начал он с Любви Егоровны Цветковой.

В один из редких для ноября погожих дней, прокатив Любовь Егоровну на аэроплане, Блинов задержался, чтобы дать наставления механикам: ему что-то не нравилось в работе мотора. Начинало темнеть. Любонька терпеливо дожидалась штабс-капитана подле ангара.

— Виктор, мне холодно! — пожаловалась она, когда аэроплан наконец загнали в ангар и Блинов вышел наружу.

— Ну вот и всё, Любовь Егоровна. Теперь можно ехать, — сказал штабс-капитан бодрым голосом. — Этим

хлопцам пока всего не растолкуешь... А завтра, между прочим, к нам должен пожаловать великий князь...

Блинов взял извозчика и всю дорогу шутил, глядя на Любоньку влюблёнными глазами.

— Не зайти ли нам закусить и согреться, Любовь Егоровна? — предложил он, когда они проезжали мимо какого-то ярко освещённого ресторана.

Любонька ещё не успела ответить, как штабс-капитан уже крикнул извозчику:

— Стой!

Дверь им открыл швейцар. Почтительно раскланявшись, он передал Любовь Егоровну и Виктора Ивановича лакеям, которые в одну минуту, осторожно, точно имеют дело с хрустальными вазами, разоблачили их в гардеробе. В вестибюле, у входа в залу ресторана, к ним подошёл важный метрдотель и, мгновенно сменив величественное выражение лица на приторно-угодливое, тихо спросил Блинова:

— Как всегда, Виктор Иванович?

Блинов согласно кивнул.

Они прошли через большое помещение, в котором за поставленными вдоль стен столами сидели посетители, посередине двигались танцующие пары, а на эстраде под аккомпанемент оркестра миловидная певичка проникновенным голосом пела «Райские грёзы», и очутились в просторном отдельном кабинете. Вскоре после того, как метрдотель ушёл, официанты-татары внесли в кабинет закуску и серебряный жбан с двумя бутылками шампанского.

— Ну, как вам здесь, Любовь Егоровна? — просиял Блинов при виде шампанского и знаком приказал официантам убираться.

— Очень мило, — проговорила Любонька, окидывая взглядом кабинет.

В стене она заметила нишу, задёрнутую занавесом.

— А что там такое? — поинтересовалась она.

Штабс-капитан не ответил.

— Выпьем, Любовь Егоровна, за ваши изумрудные глазки! — сказал он, откупоривая бутылку. — Смотрю я на вас и диву даюсь: никогда я не видел очей прекраснее!

— Не преувеличивайте, Виктор.

Они медленно осушили бокалы. Блинов наполнил их снова.

— А теперь, Любовь Егоровна, хочется мне выпить за дорогое моему сердцу дело — за воздухоплавание.

Он поднял бокал. Любонька улыбнулась:

— Дорогое вашему сердцу дело, Виктор, сегодня доставило мне массу удовольствия. С удовольствием я за него и выпью.

Они выпили ещё за что-то, и Любонька почувствовала лёгкое головокружение. Из залы донеслась приятная, томная музыка.

— Что это за музыка? — спросила Любонька.

— О, это замечательный танец! Он входит в моду в Европе. Называется танго. Пойдёмте потанцуем. Я вас приглашаю.

— Но я же не умею! — испугалась Любонька.

— Я тоже не умею. Никто не умеет. Станцуем как получится...

Когда они выходили из кабинета, Блинов чуть не столкнулся с бородатым человеком в подпоясанной шёлковой рубаше с вышивкой и тотчас узнал в нём Распутина. Григория Ефимовича сопровождали три весёлые накрашенные дамы. Оглянувшись, Блинов заметил, что «старец» вошёл в кабинет, соседний с тем, что занимали они с Любовью Егоровной.

В зале Любонька увидела, что и впрямь танцуют этот новый танец каждый на свой лад. Она отметила несколько пар, в движениях которых заметны были уверенность и умение, и старалась им подражать. Штабс-капитан танцевал довольно прилично, и в результате у них получилось не то чтобы очень хорошо, но и не дурно. Любонька была в восторге: танец ей понравился.

Они вернулись в кабинет и выпили ещё шампанского. Из-за стены слышался глухой мужской голос и следом за ним — дамский смех. «Ну и силён же „старец“, — думал с завистью Блинов, — аж трёх баб приволок». Вскоре принесли кофе с пирожными, и когда в усах штабс-капитана застрял крем, Любонька засмеялась:

— Ха-ха-ха! Виктор, вы похожи на Мажора.

— На кого?

— На Мажора. Когда я кормила его сметаной, он был вылитый вы!

— Позвольте узнать, Любовь Егоровна, кто такой господин Мажор?

— Ха-ха-ха! — ещё пуще рассмеялась Любонька. — Это наш кобель.

— Гм...

Сравнение явно не понравилось штабс-капитану, он сделал вид, что больше интересуется пирожным.

— А какой это ресторан? — спросила Любонька.

— Как? Вы не знаете? — удивился Блинов. — Это «Вилла Родэ».

— «Вилла Родэ»?! — широко раскрыла глаза Любонька. — Сюда же приличные дамы и честные девушки не ходят!

— Ну почему же? — сконфузился штабс-капитан. — Если с мужем или, к примеру, с кавалером...

— Нет, нет, нет! И не говорите! Приличные женщины сюда не ходят!

Блинов ещё более смешался. Заметив его растерянность, Любонька снова рассмеялась. Ей было весело, и, когда снова заиграли танго, она захотела танцевать.

— Любовь Егоровна, потанцуем лучше здесь, — предложил Блинов.

— Здесь? Но здесь же плохо слышно музыку.

— Прошу извинить меня...

Блинов вышел и, сделав какие-то распоряжения, вернулся. Через несколько минут внесли граммофон и пластинки. Штабс-капитан наложил пластинку, и в кабинете зазвучало танго.

— Танго! Как это мило! — воскликнула Любонька.

Блинов подхватил её за талию и увлёк в танец. Когда музыка смолкла, он снова наполнил бокалы шампанским и наложил новую пластинку. Они танцевали и пили шампанское, пока Любонька не почувствовала головокружение.

— Ой, мне, кажется, нехорошо, — сказала она. — Где здесь дамская комната?

Из соседнего кабинета доносились приглушённые завывания и взвизгивания. Блинова это неприятно волновало, но Любонька ничего не замечала.

— Вам нужно отдохнуть, Любовь Егоровна, — захлопотал штабс-капитан. — Вот здесь вы можете полежать...

Он дёрнул за кисть шнура — и завешенная бархатной портьерой ниша, давно обратившая на себя внимание Любоньки, оказалась альковым, в котором стояла необычно большая и низкая кровать. Угол одеяла был аккуратно отогнут и, обнажая сверкающее белизной и свежестью бельё, как бы приглашал в постель. На стене висели зеркало и красивый фаянсовый умывальник.



— Кровать?! — удивилась Любонька, застыв в недоумении. — Зачем же здесь кровать?

— Здесь вам будет удобнее, Любовь Егоровна, — проговорил Блинов с суетливой ноткой в голосе.

— Впрочем, всё равно... — сказала Любонька. — Голова так сильно кружится...

Она повалилась на постель, опустила веки и на минуту забылась, но, услышав чей-то неясный шёпот, снова открыла глаза. Прямо над ней нависло красное лицо штабс-капитана.

— Так вам будет лучше, Любовь Егоровна, — разобрала она странно изменившийся тенорок Блинова и вдруг почувствовала, как пальцы его трепещут, расстёгивая пуговицы платья у неё на груди.

Внезапно постигнув страшный смысл кровати, на которой она лежала, Любонька изо всех сил оттолкнула штабс-капитана и, повторяя: «Нет, нет! Никогда! Никогда!», выбежала, схватив ридикюль, в коридор, пробежала через залу и вестибюль и, подхватив протянутое ей лакеем пальто, очутилась на улице...

### 3

Несмотря на неудачу в «Вилла Родэ», Виктор Иванович сделал ещё несколько попыток в отношении Любоньки, но Любовь Егоровна лишь смеялась его шуткам и затыкала уши, когда он начинал разводить сантименты. Как ни увивался вокруг неё штабс-капитан, как ни пытался склонить смешливую девицу на амурную стезю, Любонька не сдавалась и однажды с хладнокровной ясностью дала ему понять, что годится он только для анекдотов и ни для чего более. Штабс-капитану сделалось досадно, он обиделся и оставил её в покое. За Любонькой последовал целый

ряд дам и барышень, которых он возил на Комендантский аэродром прокатить на аэроплане. Всех этих милых особ, восхищённых немислимыми фигурами, чертими в петербургском небе новеньким «Фарманом», и не успевших прийти в себя после необычных переживаний, вызывающих щекотание в желудке и мысли о десерте, штабс-капитан предупредительно угощал шоколадом и доставлял в «Вилла Родэ». Там дивертисмент, хор цыган, шампанское, успехи российской авиации и бездонные, как небеса, глаза мужчины в мундире доводили очаровательные головки женщин до высокого градуса ажитации. Чувствуя себя не то в раю, не то в облаках над ним, они доверчиво роняли свои надушенные тела в объятия героя-авиатора, намекавшего им на вечную любовь. Догадывались ли эти головки, что тела их штабс-капитан менял чаще, чем сдавал в стирку накладной воротничок к офицерскому кителю, в котором выглядел так патетически?

Вся эта чехарда с дамами, представлявшими собой лёгкую добычу, в конце концов наскучила штабс-капитану. Как истинному гурману ему захотелось более изысканного блюда, и он надумал порвать все старые связи и остановиться на одной особе, непременно аристократке, недосягаемой, как далёкая, тускло мерцающая на краю небосвода планета, неприступной без особого, утончённого подхода. Завести с ней настоящий роман, сыграть сложную партию любовной игры и сделаться в ней победителем — вот что могло бы принести ему истинное наслаждение. Для этой цели, без дальних рассуждений, он выбрал Анну Фёдоровну Ветлугину. Несмотря на многочисленные и скоротечные увлечения штабс-капитана, княжна никогда не исчезала из поля его зрения. Чтобы иметь у неё успех, он сделался серьезнее, стал меньше шутить и набросил на себя покров загадочности, для чего время от вре-

мени слегка приподнимал левую бровь и прищуривал правый глаз. Принятые им меры привели, однако, к тому, что теперь дамы начинали флиртовать с ним сами, и для того чтобы безболезненно избавляться от них, требовались определённые усилия. Анна Фёдоровна же, его истинный предмет и, как он часто её называл, *la femme idéale*<sup>1</sup>, почему-то не обращала на столь разительную и выгодную перемену в штабс-капитане ровным счётом никакого внимания. Но ведь терпение и труд всё перетрут, а смелость города берёт. Как русский офицер, Виктор Иванович Блинов знал эту истину назубок.

#### 4

Неожиданное сближение, случившееся между Анной Фёдоровной и Навроцким во время их поездки на Иматру, как ни странно, никаких последствий не имело. Князь очень скоро обнаружил, что Анна Фёдоровна, вопреки этому сближению, старается держать его на некотором расстоянии от себя. И хотя связавшая их тайна светилась в её прекрасных, устремлённых на него глазах, ему никак не удавалось перейти с ней на другой, более уместный и доверительный тон. Ему казалось, что Анна Фёдоровна стыдится того чувственного порыва, который бросил её в его объятия, и намеренно окутывает свою фигуру непроницаемой пеленой светскости, оставаясь при этом, как всегда, любезной, весёлой и даже игривой. Обычная весёлость княжны представлялась Навроцкому забором, за которым она от него спряталась.

— Феликс Николаевич, разве вы не понимаете? — сказала Анна Фёдоровна, покрасневшись и нахмутив брови,

---

<sup>1</sup> Идеальная женщина (фр.).

когда однажды, улучив минуту, он спросил её, отчего она к нему переменялась. — Тогда, у реки... это была... вспышка... слабость... как хотите. Разве такие вещи нужно объяснять?

Холодность Анны Фёдоровны приводила Навроцкого во всё большее отчаяние, но иногда ему мерещилось, что взгляд её говорил: «Подожди, ещё не время... Скоро, уже совсем скоро я буду твоя», и он ждал. Однако время шло, а княжна оставалась всё такой же безучастной к его страданиям. И тогда, преодолев охватившую его меланхолию, он решился на несвойственный его натуре шаг: взять корабль на абордаж, дерзким натиском. Но тут он вдруг увидел, что вокруг княжны неотступно вертится фигура Блинова. Когда он являлся к Анне Фёдоровне с билетом в оперу, оказывалось, что она уже идёт туда со штабс-капитаном; когда предлагал ей совершить загородную прогулку в автомобиле, выяснялось, что она уже едет за город с ним же; когда приходил к ней с букетом цветов, замечал, что у неё на столике в будуаре уже стоит не менее прелестный букет.

Так продолжалось до тех пор, пока Навроцкий случайно не узнал, что Анна Фёдоровна ездила с Блиновым на какую-то дачу в посёлке Графская, неподалёку от Комендантского аэродрома. Эта новость так огорчила князя, что нервы его не выдержали. Как ни пытался он бодриться и не подавать вида, ревность и отчаяние всецело овладели им. Чтобы как-то отвлечься, он выходил на прогулку, подолгу бродил по невским набережным, смотрел на медленное течение полноводной реки, на нагруженные дровами баржи, напоминавшие о скором наступлении зимы, на ворон и чаек, безмятежно восседавших на гранитных парапетах, на бонн, озабоченно наблюдавших за бегом-

нѣй подопечной малышни, но осенний город не мог успокоить его душу — она наливалась горечью и тоской. Он вспоминал широко раскрытые и обращѣнные на него глаза Анны Фѣдоровны, их поцелуй на узкой и крутой тропинке у бурливой, порожиистой реки, и сердце его начинало отчаянно биться, а боль и досада становились невыносимыми. Почти в бреду брѣл он по незнакомым улицам и переулкам, пока, едва не падая от усталости, не оказывался у парадной своего дома. И чем противнее была слякоть после первого снега, чем короче и холоднее становились дни, тем мрачнее казался Навроцкий тому, кто случайно встречал его в это тоскливое время...

Но беды, как известно, вереницами ходят. Пришла пора начинать выплачивать банку долг, а наличных денег у Навроцкого не было. Маевский всё не появлялся, и надежда на успешное завершение дела с железной дорогой мало-помалу покидала князя. Сомнения его на этот счёт ещё более усилились, когда, вспомнив, что свояк Прокла Мартыновича ходит в гласных городской Думы и имеет связи в правительстве, Навроцкий телефонировал Феофилову и попросил его осторожно навести справки о намерениях казны в отношении злополучной железнодорожной ветки.

— Хорошо, Феликс Николаевич, завтра я буду в Думе, постараюсь всё узнать и вечером вам телефонирую, — обещал Феофилов.

Слово свое Прокл Мартынович сдержал, и на другой день Навроцкий услышал в телефонной трубке его посвистывающий, с лёгкой одышкой голос.

— Всё враки, — говорил Феофилов. — Никто и не собирался покупать эту дорогу. А вот шоссе там, кажется, предполагается строить.

Сердобольный добряк Прокл Мартынович по голосу Навроцкого быстро догадался, что у князя возникли какие-то затруднения, и в конце разговора пригласил его, по обыкновению, в свой ресторан.

— Приходите, Феликс Николаевич... — сипел он в трубку. — У меня в ресторане много купцов бывает — может, что и узнаете...

Навроцкий не заставил себя ждать и уже в тот же вечер сидел у Феофилова в отдельном кабинете. Прокл Мартынович сам обслужил князя: принёс и поставил на стол закуску, бутылку вина — и, закончив с этим, подсел к нему. Остаток вечера Навроцкий провёл в ресторане. Феофилов знакомил его с приходившими туда купцами, которых он приглашал на минутку к ним присоединиться. Беседуя с этими господами, Навроцкий кое-что узнал касательно своего дела.

Во-первых, Маевского несколько дней назад видели в компании с Петровым, а Петрова — с управляющим князя Шнайдером. Во-вторых, Дерюгин не был единоличным хозяином дороги до Больших Порогов, а владело ею некое акционерное общество. Дерюгин действительно хотел продать дорогу, но общество этому воспротивилось.

— Тот ли это Шнайдер, что был отправлен на каторгу? — спросил Навроцкий Феофилова, который тоже приметил Ивана Карловича в обществе Петрова.

— А бог его ведаёт... В лицо того, другого, Шнайдера, то есть Шнейдера, я не знал, а имени его не помню...

Из разговоров этих Навроцкий понял, что Маевского, Петрова и Шнайдера что-то связывало. Но что? Возможно ли, чтобы вокруг него образовался какой-то заговор? Увы, особа, в чьей власти было развеять эти подозрения, особа,

которой он доверил деньги, куда-то исчезла или намеренно его избегает. Положение Навроцкого усугублялось тем, что необходимо было возвращать деньги банку, что долг его с каждым днём увеличивался, а погасить его не было никакой возможности. И как ни пытался он решить эту головоломку без посторонней помощи, на мысль ему приходило только одно: ехать на поклон к матери...

## Глава восьмая

### 1

В бытность свою студентом Феликс Навроцкий, как ни старался держаться в стороне от компаний и кружков и отдавать своё время лекциям и науке, всё же не смог устоять против соблазнов молодости. Пирушки с университетскими приятелями, весёлые попойки в ресторанах и трактирах, бурные и скоротечные романы с девушками не своего круга — вся эта бесшабашная кутерьма не миновала и его. Но если его приятелям гусарские шалости легко сходили с рук, то Феликсу пришлось провести университетские годы в непрерывной борьбе с матерью. Екатерина Александровна Навроцкая ревниво оберегала единственного сына от всякого постороннего влияния. Она часто навещала из имения в Петербург и подолгу оставалась там с одной целью: вмешиваться в жизнь Феликса. Ей ничего не стоило неожиданно явиться на студенческую пирушку и устроить сыну скандал, и перед товарищами, которые над ним подсмеивались, Феликсу было стыдно за мать. В людях Екатерина Александровна видела только

зло и угрозу сыну. Она зорко следила за тем, чтобы у него не было приятелей и, в особенности, чтобы он не сходил-ся с женщинами. Если же такие связи у Феликса возникали, она спешила приложить усилия к незамедлительному их прекращению.

— Не ходи, Феликс, на бал, — обычно говорила она молодому князю. — Люди там будут нехорошие: мужчины — грубияны и пьяницы, женщины — безнравственные вертихвостки.

С годами характер княгини не только не менялся в лучшую сторону, но становился всё невыносимее. После нескольких бесплодных объяснений с матерью Навроцкий отказался от дальнейших попыток сделать отношения с ней сколько-нибудь сносными. Княгиня не желала признавать свою неправоту даже в самых ничтожных вопросах, тем более не хотела она выслушивать поучений от собственного сына. Она, конечно, по-своему его любила и в критические минуты их отношений напоминала ему об этом, но за эту любовь Феликс должен был дорого платить: терпеть мелочную опеку и полное безразличие к его чувствам. Порой ему казалось, что в её материнской любви — слепой, тиранической — не оставалось места для уважения в нём личности. «Такой ли должна быть любовь матери?» — с грустью думал он.

Он уже давно жил в Петербурге один, избегая встреч с Екатериной Александровной, и в Тёплое, где старая княгиня вела неторопливую жизнь затворницы, приезжал только по особой надобности. В первое время после окончания университета в каждый такой приезд старая княгиня бесконечными придирками и подозрениями доводила его до нервного срыва. Позже он стал крепиться, стараясь не обращать внимания на вздор, который ему приходилось от неё слышать, убеждая себя в том, что теперь он



старше, мудрее, спокойнее, что он стоит выше ханжества, исходящего из старозаветного мозга матери, не способной подняться над ничтожными подробностями быта. Если раньше княгиня, назвав предмет страстного увлечения Феликса беспутницей, могла вывести сына из себя, то теперь сорокалетнему Навроцкому, самостоятельному и свободному мужчине, живущему на безопасном от неё расстоянии, она уже не могла так сильно досадить. Он уже не спорил с матерью и не выходил из себя — он просто перестал к ней приезжать. Редкие его визиты к ней совершались лишь по крайней необходимости и длились не более двух-трёх дней. Долее этого срока выслушивать жалобы и недовольство княгини Навроцкий был не в состоянии. Будучи человеком плохо осведомлённым в вопросах, лежащих за пределами чисто хозяйственных, помещтных интересов, Екатерина Александровна, пытаясь уверить сына в справедливости своих слов, подкрепляла их авторитетом соседок-помещиц, многие из которых ничего, кроме поваренной книги и Евангелия, за свою жизнь не прочитали и если куда и выезжали, то лишь на ярмарку в уездный город, да и то не всякий год. Она как будто не понимала, что мнение этих деревенских кумушек Феликса мало интересует, что сын её давно уже взрослый человек с собственной точкой зрения и кругозор его простирается гораздо шире патриархальных взглядов на жизнь этих невежественных особ. Но более всего досаждала она Феликсу своей ненавистью к его отцу. Стоило только упомянуть имя покойного Николая Евграфовича, этого пропойцы, кутилы и бабника, как называла его Екатерина Александровна, и начиналась целая галерея воспоминаний, в которой её супруг выступался сущим злодеем. Княгиня, однако, во многом была права: Николай Евграфович не только не увеличил состояние

семьи, но, прокутив своё собственное, взялся было и за женино, и, если бы не его смерть, не известно, на что существовал бы теперь Феликс Николаевич. Но терпеть бессмысленные и нескончаемые упреки матери в адрес покойного отца ему было уже не вмоготу. Кроме самой Екатерины Александровны, кучки прислуги и семьи управляющего, занимавшей отдельный дом, в Тёплом никто не жил. Тяжёлый характер и мнительность старой княгини понемногу рассорили её со всеми соседями, старыми подругами и даже немногочисленными родственниками, и, когда в имении появлялся её единственный, всё реже навещающий её сын, она выплёскивала на него всё, что накопилось в её одинокой, мрачной душе. И хотя стараниями умелого и верного управляющего Тёплое и другие, более мелкие, имения княгини содержались в должном порядке, старинная усадьба её постепенно погружалась в атмосферу заброшенности и мертвящей пустоты.

## 2

На этот раз Навроцкий ехал в Тёплое с особенно тяжёлым чувством. Он едва не вернулся с полпути, но постоял в поле, подумал, превозмог себя. Просить о чём-то мать было для него делом тягостным, и готовил он себя к самому неприятному объяснению с ней. Когда он подъезжал к владениям Екатерины Александровны, поля уже покрылись первым снегом, который посерел и начал таять, превратив дороги в грязное месиво. Крестьянские избы, стоявшие рядком вдоль тракта, набухли, почернели и как будто обезлюдели. Над округой, точно впавшей в спячку, придавленной неподвижным, тяжёлым от сырости воздухом, витали тишина, скука, уныние, обречённость на жалкое прозябание до весны. Въехав во двор усадьбы, Навроц-

кий увидел разгуливавшую перед домом ручную сойку и вспомнил, что приручили её ещё тогда, когда он был ребёнком, и однажды она больно клюнула его в палец. Птицу эту Екатерина Александровна страстно любила и берегла, строго запретив пускать на газоны, где обычно паслось это пёстрое существо, собак и прочую домашнюю тварь. Долголетие сойки поразило Навроцкого. Прикинув в уме, он решил, что они с этой птицей ровесники.

В сенях его встретила Таня, девушка из прислуги, и тут же, войдя с ним в залу и оглядываясь, чтобы её никто не услышал, начала жаловаться на барыню:

— Ваше сиятельство, Феликс Николаевич, вы уж извините, да матушка-то ваша, прости господи, совсем рехнулись! Говорят сами с собой, прячут вещи в коробочки и потайные шкафчики. «Ой, — говорят, — украдут! Ой, украдут!» Спасу нет! Давеча пристав приходил, вопросы задавал, — тут в деревне один мужик, Матвей Борисов, по пьяному делу жену убил, — так барыня мне и говорят: «Поди скорее, Таня, унеси ассигнации в дальнюю комнату, а то ведь украдёт». Это кто украдёт-то? Пристав, что ли?

Услышав за дверью шаги, Таня убежала. В залу, опираясь на трость, вошла Екатерина Александровна. Она постарела и уже не следила за собой так, как прежде: волосы её были плохо расчёсаны, простое домашнее платье сидело на ней как-то косо.

— Ну, здравствуй! Что-то давненько у нас не бывал. Ох, давненько! Зачем пожаловал-то?

Княгиня хотела улыбнуться, да, видно, отвыкло лицо её от улыбок — только губы скривила она в неопределённую гримасу.

— Мне нужны деньги, мама, — сказал Навроцкий, решив не откладывать малоприятный разговор.

Екатерина Александровна насторожилась.

— То-то что деньги... — сказала она с укором в голосе. — А без этого старуху мать и не навестил бы! Да на что тебе деньги-то? Или случилось что?

— Ничего не случилось, мама. Мне нужны деньги — и только.

— Где ж я их возьму? Свободных денег у меня нет.

— Можно продать Овражки.

— И не проси! Сегодня Овражки, а завтра и Тёплое тебе понадобится. Где же я помирать-то буду?

Навроцкому не хотелось посвящать мать в подробности своих затруднений. Ему казалось, что княгиня должна понимать, что если ему понадобились теперь средства, то эти затруднения, безусловно, существенны, ведь никогда раньше он не обращался к матери с подобной просьбой. Не было надобности также объяснять ей, что не растрата казённых денег, не проигрыш в карты, не что-то ещё недостойное заставило его сделать это. Он не допускал даже мысли о чём-либо подобном и искренне полагал, что не должна была допускать такой мысли и его мать. Но чрезмерная мнительность княгини, причина которой коренилась, очевидно, в неудачном браке, с годами так обострилась, что она не верила уже никому, даже собственному сыну.

— Сам деньгами соришь и меня хочешь по миру пустить? — ворчала Екатерина Александровна. — Овражки в образцовом порядке. Управляющий у меня толковый. На что жить будем, коли продадим? Нет, о продаже не может быть и речи. Для твоего же блага. Выкручивайся сам как знаешь.

Навроцкий ушёл в свою комнату, лёг на диван, взялся было читать привезённую с собой газету, но не смог: чувство обиды теснило ему сердце, не позволяло сосредоточиться. Вечером в доме было тихо, лишь из кухни доно-

сился монотонный скрежет — это кухарка, вращая рукоять старой машины, готовила к ужину мороженое. Но и этот звук вскоре прекратился. Ужинать Навроцкий не вышел, а рано утром зашёл на минуту к матери и сухо попрощался. Не выразила никакого сожаления об его отъезде и старая княгиня и только крикнула ему вслед резким, надтреснутым голосом, точно в отместку за что-то:

— И не приезжай ко мне со своими докуками!

И Навроцкий снова почувствовал в голосе матери какую-то горечь и неправду, будто хотела она сказать что-то совсем другое, да не сумела. И ещё горше и противнее сделалось ему от бессилия найти нужные слова, прекратить многолетнее взаимное мучение, примириться. Но он ничего не ответил матери и, выйдя из комнаты, тихо закрыл за собой дверь.

### 3

Вскоре после поездки в Тёплое, в один из тёмных, унылых декабрьских вечеров, когда внутреннее состояние Навроцкого граничило с отчаянием, к нему заехал Кормилин. Князь обрадовался этому визиту. В последнее время виделись они довольно редко, а в студенческую пору были близки, вместе сочиняли смешные стишки и эпиграммы на преподавателей и друзей, экспериментировали с шампанским, добавляя в него всё — от лимонной водки до сметаны, волочились напропалую за актрисами и приличными барышнями.

— Я к тебе так, без дела, — пробасил Кормилин в кабинете князя, осматриваясь, куда бы пристроить своё солидное, изнеженное приятностями туловище.

— Всегда рад тебя видеть, — обнял старого друга Навроцкий.

Он распорядился принести чая и предложил гостю закурить.

— Твои любимые гаваны?.. — Кормилин не без удовольствия вытянул из ларчика упругую сигарку. Удобно устроившись в кресле, он слегка пожевал её и, смакуя, раскурил. Тут только он заметил, что Навроцкий как-то по-особенному мрачен. — Что гнетёт тебя, дружище? — спросил он, прищуриваясь и выпуская дым в потолок.

Навроцкому не хотелось говорить о своих неудачах. Он достал из шкафчика бутылку коньяка и наполнил две хрустальные рюмочки. Они молча выпили, продолжая курить. В камине плясал огонь, и оба задумчиво смотрели на него. Коньяк и сигарка привели Кормилина в благодушное настроение.

— Ну рассказывай, не жмись.

— Что меня гнетёт? — вздохнул Навроцкий. — В молодости нам кажется, что у нас впереди жизнь, полная счастья и райских наслаждений, что мы будем богаты, известны, послужим отечеству, что нас будет любить самая прекрасная в мире женщина... Но проходят годы, и мы с ужасом замечаем, что из того, о чём мы мечтали, сбылось, увы, очень немного. И знаешь, почему?

— Фатум?

— Нет, не фатум! Мы сами себя предаём. Мы предаём наши мечты ежедневно, ежечасно, без всякой жалости к себе. Нас одолевают лень, похоть, мы попадаем в капкан собственных удовольствий. Нам кажется, что мы ещё успеем... Но время не знает пощады.

— Всё, брат, суета. — Кормилин легонько похлопал Навроцкого по плечу. — К чему душу травить? Конеч всё равно у всех один. Давай-ка лучше выпьем ещё по рюмочке...

Навроцкий наполнил рюмки коньяком. Они выпили.

— Вот тебе, Феликс, мой совет: ходить надо *tête levée*<sup>1</sup> и на всё плевать. Поверь, жить будет намного легче.

Кормилин был уверен, что причина меланхолии князя, как и вообще всех мужских несчастий, кроется в женщинах.

— А что касается женщин, — прищурился он и, не отрывая глаз от огня, заговорил тоном опытного доки, — так они всего лишь... забавные безделушки, этакий сопутствующий нам антураж, порой довольно милый и приятный, а порой и прескверный. Они точно курьёзные стрекозы, порхающие у нас перед носом. Поймаешь такую, поддержишь за крылышки, рассмотришь хорошенько, повертишь и так и сяк да и отпустишь восвояси. Не трактуй их, Феликс, всерьёз! Глубокие чувства оставляют в душе глубокие раны, дружище! Как говорили древние: «*Femina nihil pestilentius*»<sup>2</sup>. А я бы ещё добавил: «Каждая женщина пагубна по-своему».

«Может быть, он прав? — думал Навроцкий. — Может быть, так и надо жить — без чувств?»

— Я делю женщин на три категории, — входил во вкус Кормилин. — Если хочешь, расскажу.

— Изволь.

— Первая категория, самая низкая, — это женщины-фифочки; их способен увлечь мужчина-атлет, этакий Поддубный. Вторая — женщины поумнее, но так... средненькие; чтобы заставить их потерять голову, достаточно мужского красноречия. И, наконец, третья категория — женщины незаурядные и утончённые; покорить их по силам только таланту... Но, увы, и эти последние — всего лишь женщины: слабые, неразумные существа. Порядочному человеку

<sup>1</sup> С поднятой головой (*фр.*).

<sup>2</sup> «Нет ничего пагубнее женщины» (*лат.*). — Гомер.

или даже личности выдающейся они легко могут предпочесть ничтожество. Возьми хотя бы Жозефину... или Екатерину... Примеров — хоть отбавляй...

#### 4

После визита Кормилина Навроцкий почувствовал лишь временное облегчение, мрачное, подавленное состояние духа не покидало его. Не зная выхода из положения, он казался себе слабым, беспомощным, точно придавленным каменной глыбой. Часами и днями просиживал он у себя в кабинете, не желая никого видеть, и лишь изредка надевал пальто и шляпу и отправлялся бродить по набережным. Прогулки несколько ободряли его, но тяжёлое уныние неизменно возвращалось, превращая его существование в пытку. Не помогала Навроцкому даже музыка. Чтобы заставить себя сесть за рояль, ему требовалось громадное усилие воли, и лишь чтение позволяло забыться на час-другой, обмануть приставшую, как репейник, депрессию.

Невесело проходили для Навроцкого короткие зимние дни, не заметил он ни святок, ни крещенских морозов. В одну из редких минут душевного равновесия ему удалось связаться по телефону с Маевским, но узнать от него что-либо достоверное об участии своих денег он так и не смог. Нетрезвый поручик на все вопросы Навроцкого твердил только одно: денег у него нет и объяснить он пока ничего не может, время, мол, не пришло. Сразу после этого разговора он снова куда-то уехал, и когда, отчаявшись его отыскать, Навроцкий попытался навести справки о своём компаньоне окольными путями, на него посыпался целый ворох слухов.

— А вам и невдомёк, кому уже год как принадлежит эта дорога?.. Да Маевскому же! — фразировал его крупный



делец, знакомый Феофилова. — Они обвели вас вокруг пальца. Я их как облупленных знаю — всю эту компанию. Они срывают банк везде, где только можно. Как говорится, не клади плохо, не вводи вора в грех. А дорогу эту Маевский купил из жадности, надеялся быстро перепродать, да худо всё взвесил и просчитался. А терять деньги он не привык. Тут-то вы ему и подвернулись, голубчик!..

По другой версии, Дерюгину, сразу после продажи дороги Маевскому, стало известно о планах последнего, и он, пригрозив судом, запросил двойную цену. Маевский предложил ему договориться, но Дерюгин упёрся. Авантюра расстроилась, запахло судебным разбирательством, у Дерюгина нашлись заступники в правительстве, и теперь уже сыскать покупателя на эту дорогу стало делом в высшей степени затруднительным.

Из того, что Навроцкий услышал от разных лиц, следовало, что денег своих он, вероятно, уже не увидит. Однако более всего мучила его мысль о долге, который он не в состоянии вернуть, о том, что имя его скоро покроется позором. В довершение всех несчастий упала цена заложенных акций, и банк, не получая от него выплат, поспешил их продать.

Навроцкий с утра до вечера ходил по кабинету, курил, машинально переворачивал страницы адрес-календаря, пытаясь хоть что-то придумать, но в голову ему решительно ничего не шло, мысли путались, руки дрожали, мрак в душе сгущался. Чувствуя, что заболевает тяжёлым нервным недугом, сковывающим мозг отупляющей коростой, пожирающим, точно ненасытная тля, остатки воли к борьбе, он вдруг понял, что спасти его от падения в бездну сумасшествия, круто изменить его жизнь может лишь одно, последнее, старое как мир средство...

## Глава девятая

### 1

Мороз и влага сковали газоны Летнего сада крепким ледяным панцирем. С Невы на бесплодный парк надвигалась холодная, туманная сырь. Вдоль Лебяжьей канавки, между рядами деревьев, по дорожке для верховой езды гарцевали два всадника. Одним из них была княжна Анна Фёдоровна Ветлугина, другим — сопровождающий её на прогулке штабс-капитан Блинов. Мёрзлая, гулкая земля, принимая на себя удары подков, отвечала чётким, размеренным звуком. Анна Фёдоровна раскраснелась и была весела. Она любила верховые прогулки в Летнем саду и в последнее время предавалась этому занятию регулярно и в любую погоду. Штабс-капитан также был в хорошем расположении духа, да и возможно ли было грустить около такой очаровательной амазонки? Впрочем, удалость и напористость редко покидали штабс-капитана: жизненные невзгоды, сомнения в правильности собственных поступков, нерешительность были уделом других людей и к нему никак не относились. Он сидел на лошади очень прямо, даже величественно, и, если бы животное вдруг встало на дыбы, случайный прохожий мог бы принять его за ожившую статую Петра.

— Что же вы молчите? — подсмеивалась над ним Анна Фёдоровна. — Раньше анекдоты так и сыпались из вас...

— Ваша красота, Анни, лишает меня дара речи. Вы самая изумительная девушка в Российской империи, и я ваш покорный и безмолвный раб, — отвечал штабс-капитан как бы шутя, но в то же время искренне думая, что говорит чистую правду.

— Вы льстец, Виктор Иванович. И, пожалуйста, не называйте меня Анни! — с кокетливой сердитостью отвечала княжна.

Она вдруг заметила приближающуюся к ним от ворот парка фигуру и узнала в ней Навроцкого. Поравнявшись с ним, она придержала лошадь.

— Я был у вас сегодня, Анна Фёдоровна, — проговорил, поздоровавшись, князь. — Мне сказали, что вы здесь. — Он покосился на Блинова и прибавил: — Я к вам по личному делу.

Едва взглянув на него, Анна Фёдоровна поняла, что он чем-то взволнован. Она обернулась к штабс-капитану, и тот, понимая кивнув, слегка прищпорил лошадь и отъехал на почтительное расстояние.

— Вы нездоровы, Феликс Николаевич? — спросила княжна.

— Нет, я здоров, — сказал Навроцкий.

— Помогите мне, пожалуйста, слезть с лошади.

Она привязала лошадь к дереву, и они медленно пошли по алле.

— Что же случилось? Вы как будто не в себе...

Навроцкий не отвечал. Он остановился, взял Анну Фёдоровну за руку и посмотрел ей в глаза. Ему хотелось довериться ей, рассказать о том, что мучило его в последние дни. Он подбирал слова, чтобы признаться, что желает изменить свою жизнь, что лишь она, Анна Фёдоровна, может его спасти. Но глаза княжны светились такой безмятежной весёлостью, что ему сделалось стыдно за намерение исповедоваться перед ней в столь малодушном тоне.

— Я прошу вашей руки, — произнёс он негромко.

Княжна вздрогнула, словно испугавшись, и отвела глаза в сторону. Весёлость с её лица вмиг исчезла.

— Вы и впрямь делаете мне предложение? — спросила она, не глядя на него, как будто желая удостовериться, верно ли поняла его слова.

— Да. Вчера я думал об этом весь вечер... Я давно хотел просить вашей руки, но... Вот наконец решился... вчера...

Слова Навроцкого взволновали княжну, но она быстро справилась с волнением и, осторожно высвободив руку из его руки, твёрдым, спокойным голосом сказала:

— Могу ли я быть уверенной в том, что ваше предложение продиктовано искренним чувством, а не желанием поправить дела?

Навроцкого обдало холодом.

— Вы мне не верите? — проговорил он растерянно.

— Вам не поверит никто из нашего с вами окружения. Вы просите моей руки сразу после того, как разорились. Сами посудите...

Кровь ударила Навроцкому в лицо: больно было слышать слова, не только прозвучавшие как отказ, но и задевавшие его честь. Да, он разорён. Да, это обстоятельство могло бы послужить в глазах общества объяснением его желания жениться на Анне Ветлугиной. Но ведь это неправда! Ведь он давно любит её! Но сил оправдываться у него уже не было. Довольно уж и того, что та, кто лучше других должна понимать его чувства, ставит их под сомнение...

Княжна нахмурилась и, постукивая стеком по подолу амазонки, нетерпеливо поглядела в сторону штабс-капитана. Навроцкий понял, что его отчаянная попытка жениться вышла жалкой и нелепой.

— Прощайте, — бросил он сухо и, не взглянув на княжну, пошёл прочь.

Вечером того же дня Навроцкий принял ванну, надел чистое бельё, сел за письменный стол и, вслушиваясь в чёткий и неумолимый ход стенных часов — единственный звук, нарушавший тишину, — просидел так несколько минут. После некоторого колебания он поднял крышку сигарного ларца, обрезал и закурил сигарку и в раздумье подошёл к окну. В ступившихся за окном сумерках плавали огни электрических фонарей. Вглядываясь в темноту, он долго стоял у окна, курил, и ему начинало казаться, что он теряет ощущение времени, что и сам он, и время сделаны из одного и того же материала — вечного, неподдающегося уничтожению. Состояние покоя, в котором в эту минуту пребывала его душа, удивляло его. Наконец он вернулся к письменному столу и, открыв ключом верхний ящик, извлёк из него изящный «Веблей». На тонкой пластине из слоновой кости, покрывавшей слегка закруглённую рукоятку револьвера, была выгравирована его монограмма. Вставив в барабан шесть патронов, он подержал револьвер на ладони, любуясь его холодным механическим совершенством, взвёл затвор и приставил дуло к виску. Ему необходимы были ещё несколько мгновений, чтобы лучше представить себе ту грань, за которую предстояло ступить, за которой не было уже ничего — ни долгов, ни безответной любви. Он попытался сконцентрировать на этой грани всё своё внимание, все душевные силы, и, когда вдруг зазвонил телефон, его охватило негодование, почти ненависть к тому, кто вздумал побеспокоить его в такую минуту. Телефон не унимался, пока он не поднял трубку. На другом конце провода сипел знакомый мужской голос, но Навроцкий никак не мог понять, в чём дело.

— Вы же знаете эту молодежь... — говорил Прокл Мартынович. — Ночи напролёт играют в карты, а потом родителям приходится оплачивать их долги. Не проиграй он такую сумму, я бы вас не беспокоил. А теперь вот телефонирую всем моим должникам...

— Да, понимаю... — отвечал рассеянно Навроцкий.

— Я тут подсчитал, Феликс Николаевич... Ваш долг составляет... двести сорок пять рублей. Так не могли бы вы?..

— Да, разумеется... Как же это я забыл?..

— Наш кредит, Феликс Николаевич, для вас всегда открыт. Если бы не сын... Вы уж извините меня...

— Что вы, Прокл Мартынович... Я всё понимаю... Я немедленно верну вам долг. Сам удивляюсь, что забыл о нём... Я сейчас же зайду к вам...

— Не утруждайте себя, Феликс Николаевич, уже сегодня. Это можно сделать и завтра. Мне не к спеху. Мне, право, неловко вас беспокоить...

— Ничего, Прокл Мартынович... Завтра я занят... Лучше я зайду к вам теперь же.

Навроцкий быстро оделся, захватил бумажник и вышел на улицу. Ресторан Феофилова находился в нескольких кварталах от квартиры князя. Прокл Мартынович встретил своего должника радушно и, после того как тот вернул ему долг, пригласил отужинать за счёт заведения. Попытка Навроцкого отговориться и уйти ни к чему не привела. Прокл Мартынович настаивал на своём, и князю пришлось сесть за приготовленный для него стол, хорошо поесть и выпить вина. Выпил он много.

Когда он вышел из ресторана, было уже довольно поздно. Освещённый электрическим светом Невский заполнили любители ночной жизни. У дверей кафе, ресторанов и разного рода увеселительных заведений останавливались извозчики, бело-чёрные таксомоторы, частные

автомобили. Туда и сюда сновали в поисках лёгкого заработка лихачи. Припозднившуюся публику попроще, позванивая, увозили из центра красно-белые, светившие огромными окнами в ночную тьму трамваи. Театры и кинематографы выпускали из своих недр возбуждённых, смеющихся людей.

Этот праздник жизни удивлял Навроцкого, казался ему чем-то нереальным, далёким, не имевшим к нему никакого отношения. Он лишь случайно, на миг, не по своей воле задержался в этом водовороте такой неважной теперь, никчёмной, пустой действительности. По тротуару Невского проспекта шёл не он, а полуживая телесная оболочка, способная наблюдать, отмечать в помутневшем сознании происходящее вокруг, но не чувствовать, не понимать. Замечая вокруг себя движущиеся фигуры, он в изумлении думал: «Куда они? Зачем они?» Его последний взгляд на ставший вдруг чуждым ему мир был лишь равнодушной фиксацией, холодным протоколом, в котором скоро надлежало поставить точку...

— Господин, постойте! — услышал он рядом женский голос.

Он не сразу понял, что обращаются именно к нему, и хотел было пройти мимо, но из тени метнулась какая-то фигура, и он почувствовал, как кто-то тянет его за руку. Он остановился и обнаружил подле себя девицу, сильно накрашенные губы и вся наружность которой легко выдавали в ней особу известной профессии.

— Что вам угодно? — спросил он глухим, почти беззвучным голосом и тут же поразился и этому голосу, и вообще своей способности говорить.

— Прошу вас! Ради бога! Сделайте вид, что я с вами! — взмолилась девица и скосила глаза куда-то в сторону.

Навроцкий посмотрел в указанном направлении и увидел наблюдающего за ними полицейского.

— Он хочет меня сцапать, — пояснила девица.

Она взяла Навроцкого под руку и как ни в чем не бывало пошла с ним рядом. Так они миновали квартал и свернули за угол. Здесь Навроцкий пожелал распрощаться, но девица, не отпуская его руку, выразительно посмотрела ему в глаза.

— Взгляни на меня... Я труп, — мрачно сказал Навроцкий. — Ты хочешь продать любовь мертвецу?

— А хоть бы и мертвецу, — бойко ответила девица. — Лишь бы хорошо заплатил. Пойдём, добрый человек. Никакой ты не мертвец, а самый настоящий барин!

Навроцкому показалось, что где-то он уже видел эту девицу. Во всяком случае, лицо её кого-то положительно напоминало. Но кого? Вялая, уже не желавшая служить ему память тщетно шевельнулась в попытке припомнить лица знакомых людей, но прошлое было уже вытеснено из его сознания днём сегодняшним, последним, рубежом великого ничто, затмевающим своей значительностью всё остальное вещество жизни.

Девица тащила его за руку в тёмный узкий двор, и он не сопротивлялся, как не может сопротивляться лишённая воли, пустая, мёртвая оболочка. На происходящее с ним он смотрел откуда-то со стороны, как будто вовсе не он поднимался по чёрной лестнице в последний этаж, не он связался с первой встречной шлюхой и покорно шёл за ней в отвратительное обиталище греха; душа его не имела с этим ничего общего, она не отвечала за поступки своего уже бесполезного телесного вместилища.

Квартира Длашеньки -- так звали девицу -- оказалась крохотной, но уютной и чистой. Длашенька зажгла лампу. В углу комнаты Навроцкий заметил гитару и, усев-



шись на небольшой диван, в задумчивости прошелся пальцами по струнам. На столе появилась бутылка вина. Глашенька наполнила бокал и поставила его перед Навроцким.

— Дай-ка, барин, я тебе сыграю, чтобы ты не скучал. — Она выхватила у него из рук гитару и взяла несколько пробных аккордов. Лицо её сделалось серьёзным, она на минуту задумалась, словно что-то припоминая, и, глотнув из бокала вина, запела:

Ты приснился мне тёмною ночью  
Под сияньем звезды голубой,  
Но любовь твоя вышла непрочной,  
Офицерик мой грешный, родной.

Так зачем же тебя я всё помню?  
Отчего так страдаю и жду?  
На постое гусарские сонмы —  
Я шампанское пить к ним пойду...

Навроцкий быстро осушил бокал и рассеянно слушал, думая о чём-то своём. Лоб его покрывала испарина, лицо было бледным, глаза воспалились.

— Да ты, барин, никак и впрямь болен? — уставилась на него Глашенька, кончив петь. — Вот, выпей-ка ещё. — Она налила в пустой бокал вина и провела ладонью по растрепавшимся волосам Навроцкого. — Нет такой тоски, голубчик, которую не развеял бы женский поцелуй, — ласково сказала она. — И самое верное лекарство от всех болезней — это любовь.

Она села возле князя, прижалась к нему мягким, надушенным телом, поцеловала в губы и принялась быстро расстёгивать пуговицы своего простенького, но опрятного платья...

Утром Навроцкий проснулся с сильной головной болью и увидел перед собой пустую бутылку. Судя по этикетке, вино было дешёвым и, очевидно, второсортным. Глашенька ещё спала, сбросив во сне одеяло на пол. Он смотрел на её голое тело и долго не мог вспомнить, как её зовут. Ему сделалось мерзко и захотелось поскорее уйти. Стараясь не разбудить девушку, он оделся, достал из бумажника две трёхрублёвые купюры и положил их на прикроватную тумбочку, но, подумав, оставил на столе весь бумажник. Перед тем как закрыть за собой дверь, он ещё раз взглянул на Глашеньку и внезапно догадался, кого напоминало её лицо. Это было лицо Лотты Янсон — девушки, которую он встретил летом в Финляндии. Глядя на охваченное крепким сном, раскинувшееся в постели тело Глашеньки, он живо представил себе образ лесной нимфы, плывущей к нему среди водяных лилий, и удивился поразительному сходству этих двух существ. Но лицо Лотты светилось свежестью, чистотой и невинностью, а это было подёрнуто нездоровой тенью порока...

На улице дул пронизывающий ветер. Навроцкого почти сразу бросило в озноб. Он спохватился, что забыл в квартире Глашеньки шарф, но возвращаться не захотел. Первые прохожие — рабочий люд и прислуга — уже спешили на фабрики, на службу. Пройдёт ещё час-другой — и улицу заполнят конторские служащие, за ними появятся экипажи и автомобили, доставляющие в банки и юридические конторы деловых людей. Навроцкий хотел было взять извозчика, но, вспомнив, что оставил и бумажник у Глашеньки, пошёл домой пешком. Ветер хлестал его по лицу жёсткими крупинками снега, заставляя сги-

баться и прятаться в воротник пальто. В памяти его всплыли недавние похороны Вьялцевой, шедшая за гробом, невзирая на февральский холод, многотысячная опечаленная толпа, и внезапно бессмысленный, издевательский вопрос поразил его своей тошнотворной простотой: кто пойдёт за *его* гробом? что успел сделать *он*?

У себя в кабинете он выдвинул ящик письменного стола, вынул револьвер, положил его перед собой и вдруг отчётливо почувствовал, что в нём произошла какая-то странная перемена, точно какая-то потайная струна, не выдержав нараставшего напряжения, внезапно оборвалась. Он стал лихорадочно искать причину этой перемены, но расстроенная мысль его судорожно билась во все тупики сознания и не находила ответа. Почти в панике, он закурил случайно завалявшуюся в ящике стола папиросу и начал быстро ходить по кабинету. Ему казалось, что портреты предков, скорчив сардонические гримасы, с любопытством наблюдают за ним из своих тусклых рам, что губы их вот-вот зашевелиятся и зашепчут хором: «Мы ждём... Мы ждём... И родитель твой здесь... И родитель твой здесь...» Он отвернулся от них, подошёл к окну и, продолжая курить, ещё какое-то время смотрел на хорошо знакомую ему часть города, на снующие по улице фигуры, на проезжающие мимо экипажи... Наконец, потушив папиросу, он вернулся к письменному столу, вытащил из револьвера все патроны, кроме одного, и резко раскрутил барабан. Правая рука его, описывая чёрным лакированным стволом зловещую дугу, двинулась к виску...

*Конец первой части*

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Глава десятая

### 1

— Лотта, где же ты? Кофе готов! — крикнула громче госпожа Янсон.

Наверху скрипнула дверь, и Лотта, выпорхнув из своей маленькой комнатки на втором этаже, спустилась в кухню.

— Чем ты занята? Почему так долго не идёшь?

— Рисую, мама.

— Нельзя же рисовать с утра до вечера!

Лотта села за стол. В кухне, служившей одновременно и столовой, было тепло и вкусно пахло стряпнёй. Госпожа Янсон аккуратно разложила на тарелке пирожные собственного приготовления и, когда Лотта откусила от одного из них кусочек, вопросительно посмотрела на дочь. Лотта молчала.

— Ну как? — нетерпеливо спросила госпожа Янсон.

— Как всегда вкусно, мама.

— А в прошлый раз у меня не получилось. Тяга была слабая, дымоход совсем засорился. Я уж и так и этак старалась... А сегодня, пока ты гуляла, приходил трубочист и прочистил трубу. Теперь тянет что надо.

Госпожа Янсон присела за стол.

— Ох, что-то у меня сегодня разболелась спина. С самого утра так и ломит, так и ломит. Пойти, что ли; к апте-

карше пиявками полечиться? Вон госпожа Ньюберг все свои болезни пиявками да кровопусканием только и лечит.

Лотта пила кофе, рассеянно слушала мать и обдумывала тему очередной картины: «Что нарисовать? Старую ратушу с её деревянной башней и часами? Красные амбары на берегу реки? Нет, пожалуй, их не рисует только ленивый. Или, может быть, подняться на Замоктовую гору, на то самое место, откуда писал город Эдельфельт, и попытаться нарисовать зимний пейзаж? Или нарисовать дом Рунеберга? Или дома на Церковной площади? Нет, не хочется сидеть в такой холод на улице. Лучше заняться эскизами».

Она посмотрела через окно на замёрзшую, покрытую снегом реку, на деревянные дома на том берегу, на прилипшие к берегу складские сараи. Над рекой висела морозная дымка. Из-за лютého холода на улице было безлюдно, но в самом широком месте реки, где расчистили лёд, резвилась на коньках не боявшаяся мороза, закутанная в платки и шарфы детвора.

— А я что-то трушу, пиявками-то... — продолжала рассуждать госпожа Янсон. — Ну как можно такую мерзость себе на спину посадить? Госпожа Ньюберг на прошлой неделе позвала меня посмотреть. И что ты думаешь? Сидит она голая на табурете, в спину ей всосались пиявки, аптекарша какие-то стекляшки ей к спине прижимает, банки кровососные, кровь течёт со спины в три ручья, пол в крови, аптекарша в крови... Я как увидела всё это, так в обморок и свалилась.

Лотта с сожалением посмотрела на мать. После смерти мужа госпожа Янсон часто хворала и быстро старела. В Петербурге у них была прислуга, а теперь матери приходилось делать всё самой, и хотя хозяйство их было не ахти какое большое, давалось оно госпоже Янсон нелегко: в доме

отсутствовали городские удобства, а привычки к ежедневной домашней работе у неё не было. Лотта, конечно, помогала матери вести хозяйство, но слишком много времени отнимало у неё рисование. Госпожа Янсон, со своей стороны, хоть и ворчала иногда на дочь, в глубине души не осуждала её. Особенно смягчилась она после того, как Лотте удалось продать несколько своих работ на городском благотворительном вечере. Половина гонорара, полученного Лоттой за картины, пошла в пользу бедных, и госпожа Янсон преисполнилась чувством гордости за дочь. Её претензии к Лотте за большие расходы на краски, бумагу, холсты и кисти разом прекратились, и, беседуя с госпожой Ньюберг, аптекаршей, священником или хозяином продовольственной лавки, она не упускала случая, чтобы похвалить талант дочери.

После кофе Лотта вернулась в свою комнату. Это небольшое, но светлое помещение служило ей и спальней, и мастерской. Слева от входа, в глубине комнаты, там, где крыша почти достигала пола, стояла её кровать. Стены, где только возможно, были завешаны законченными и незаконченными картинами, набросками. У окна стоял мольберт. На столе лежали тубы с масляными и акварельными красками и кисти разных размеров. Один угол комнаты занимала этажерка с книгами, большую часть которых составляли книги по искусству. Дверь рядом с окном выходила на крошечный балкончик, где весной, обожаемой ею за возвращение миру тепла и света, Лотта высаживала цветы в ящиках. Она насыпала в них свежей земли, как только солнце начинало пригревать достаточно сильно, и с весёлым нетерпением ждала, когда прорастут семена, раскроются и запестрят бутоны и со всей округи слетятся на них хлопотливые шмели и кокетливые бабочки.

Зиму с её гармонией чёрного и белого Лотта тоже любила, но рисовать зимой на пленэре было неудобно: коchenели руки, густели и замерзали акварельные краски. Совсем другое дело было летом, когда, обвесив себя необходимым реквизитом, она надолго уходила из дома рисовать рассыпанные вокруг Борго старые усадьбы, берег моря, реку, крохотные лесные озерца, болотца. В погожие зимние дни она подолгу бродила по улицам города, по его окрестностям, выискивая подходящие для рисования места, но рисовала всё-таки мало. Она могла долго и внимательно разглядывать висящее в соборном капитуле большое полотно Тельнинга, изображавшее императора Александра в момент провозглашения автономии Финляндии, или вглядываться в силуэты старинных зданий в узких улочках и переулках Борго, или наблюдать за суетливой рыбной торговлей на городском рынке. Всё будило её воображение, и во всём могла она замечать красоту.

Но жизнь в маленьком городке текла слишком спокойно и размеренно, и иногда Лотта чувствовала, что эти спокойствие и размеренность не дают достаточной пищи для её творчества. Порой ей хотелось расцветить свои полотна яркими, контрастными красками, и тогда, не находя этих красок и контрастов в городе и окружающей его природе, она составляла натюрморты из цветов, керамики, бутылок, посуды, аптекарских склянок, ёлочных украшений, фруктов и других подручных предметов. Прежде чем сделать мазок кистью, она неторопливо смешивала краски, внимательно вглядываясь в эти предметы, и порой придавала им совсем неожиданную форму, наделяла их нехарактерным для них цветом, как будто видела их совсем по-другому, не так, как все. Но если в живописи, пользуясь кистью и красками, она умела создавать свой

собственный цветной и яркий мир, то в повседневной жизни всё было не так. Жизнь эта текла уныло, однообразно, и ей всё чаще казалось, что если бы не живопись и не книги, она бы умерла от тоски. Уединяясь в своей уютной и тёплой комнатке, она читала запоем милые сердцу книжки, рисовала акварелью, предавалась мечтаньям. Да и как было не мечтать в её-то лета?

## 2

Свою крохотную дачку в нескольких верстах от Борго госпожа Янсон продала: жить на вдовью пенсию вдвоём с дочерью было трудно. Муж госпожи Янсон получал хорошее жалованье, но на чёрный день она так ничего и не отложила: приходилось много платить и за аренду петербургской квартиры, и за прислугу, и за образование дочери. Ей казалось, что она ещё успеет сделать необходимые накопления, но вместе со скоропостижной кончиной мужа умерли и её надежды на обеспеченную старость. Теперь они с Лоттой жили в окружённом палисадником деревянном домике покойных родителей госпожи Янсон.

Лотта тяготилась жизнью в доме матери. Пора было подумать о своём будущем и если не выйти замуж, то хотя бы устроиться гувернанткой к хорошим людям. В этом ей могли бы помочь и рекомендация институтского начальства, и золотая медаль, полученная из рук самой императрицы, но найти место гувернантки в Борго было непросто.

Часто и с грустью вспоминала Лотта институт. С каким нетерпением ждали девочки дня его окончания, обретения долгожданной свободы! И какими чудесными кажутся ей теперь проведённые в нём годы! Было там всякое: и слёзы, и радость, и предательство, и верная дружба. Но какими



милыми кажутся теперь их забавы, невинные шалости, детские страдания! Целый год Лотта переписывалась со своими институтскими товарками Ольгой и Ритой, но Ольга уехала к себе в Юрьев, в Эстляндию, вышла там замуж и перестала писать, Рита уехала на Кавказ. Иногда Лотта получала письма и от других товарок. Мало кто из них остался жить в Петербурге, большинство разъехались по родным местам, многие, из семей победнее, поступили на службу гувернантками, другие вышли замуж.

Лотта вспоминала, как недавно вместе с другими жителями Борго ходила встречать с поезда Сельму Лагерлёф. Местные школьники от вокзала до самого центра образовали шеренги вдоль дороги, приветствуя Сельму. Самые известные в городе люди, директор книжного издательства Сёдерстрём и ректор Аллардт, всюду сопровождали знаменитую писательницу. «Значит, женщина тоже может добиться успеха? — думала Лотта. — Настоящего, большого успеха? И даже получить премию Нобеля? А я? Могу ли я хотя бы приблизиться к такому успеху? — спрашивала она себя и тотчас вздыхала: — Нет, нужны новые наблюдения, впечатления, переживания — не это скучное, однообразное прозябание в узком постылом переулке, где всё, даже сам воздух, дремлет в вечном ленивом оцепенении! Нужна другая жизнь!»

«Впечатление будит чувство, — размышляла она, глядя через заиндевевшее окно на замерший под снегом мир, — чувство рождает мысль, мысль заставляет человека совершить поступок, а поступок приводит к славе... или к позору... Но ведь это и есть движение, жизнь... Без движения погибнет любой организм. Вот и душа погибнет от неподвижности, от смертельной скуки».

«Ну, если уж не получить Нобелевскую премию, то хотя бы полюбить хорошего человека!» — думала она в другой раз.

Она всё чаще вспоминала Петербург, в котором провела половину из своих двадцати лет. За годы учёбы в институте жизнь в Петербурге успела стать для неё более привычной, чем жизнь в маленьком Борго, где прошло её детство. Тогда в Петербурге она была счастлива: в институте её окружали милые подруги, дома каждую субботу ждали любящие родители, жизнь вокруг кипела и была такой светлой, весёлой, полной неясных ожиданий. Думая о Петербурге, Лотта иногда доставала из шкатулки визитную карточку с золотым тиснением и, разглядывая её, предавалась смутным мечтам; она уже давно вытащила эту карточку из кожаного бювара матери и спрятала у себя в комнате...

### 3

Неизвестно, сколько ещё времени провела бы Лотта в грустных размышлениях о своей доле, в сомнениях насчёт собственного будущего, если бы судьба не вмешалась в её жизнь самым неожиданным и, увы, печальным образом. В одно из промозглых, болезненно бледных утр середины зимы, когда мороз сковал лютыми цепями всю округу и горожане отсиживались в своих жилищах в ожидании потепления, а из труб неистово валил дым, кое-где с искрами, угрожавшими поджечь соседние дома, госпожа Янсон не позвала, против обыкновения, дочь к завтраку. Оторвавшись от холста, Лотта спустилась в кухню, чтобы утолить нараставшее чувство голода, но матери там не оказалось. Решив, что она пошла в лавку и задержалась, Лотта принялась хлопотать в кухне сама. Но мать всё не

появлялась, и тогда, позавтракав, Лотта заглянула к ней в комнату: госпожа Янсон лежала в постели без признаков жизни.

Несколько дней после внезапной кончины матери Лотта пребывала в тяжёлом, полуобморочном состоянии. Смерть второго родителя, сделав её сиротой и лишив естественной и необходимой опоры в жизни, глубоко её потрясла. И если бы не госпожа Ньюберг и аптекарша, она не знала бы, как справиться со свалившимся на неё горем, похоронами и прочими безрадостными обязанностями...

То, на что Лотта никак не могла решиться ранее, представилось ей теперь единственным выходом и уже не подвергалось сомнениям. Прожить, занимаясь только любимым делом — рисованием, живописью, — было невозможно. Необходимо было наниматься на службу, и Лотта начала собираться в Петербург. Она навела порядок в своей комнате и во всём доме: акварели, холсты, подрамники, книги, дневники — всё было аккуратно сложено, убрано, закрыто. Несколько самых дорогих ей картин она уложила в чемодан, визитную карточку Навроцкого спрятала в ридикюль и, закончив приготовления, купив загодя билет, отправилась на вокзал...

## Глава одиннадцатая

### 1

Приезд в Петербург и радовал, и пугал Лотту. Как-то сложится здесь её жизнь? Оказалось, что снимать квартиру ей, не поступившей ещё на службу, было слишком накладно. Поэтому она поселилась в небольшой комнате, кото-

рую ей сдала бездетная мещанская пара в своей квартире на пятом, мансардном, этаже. За комнату нужно было платить пятнадцать рублей в месяц. Окна комнаты выходили в тесный, почти круглые сутки лишённый солнечного света двор-колодец. Но зато в дом было проведено электричество и внизу, в конторе, имелся телефон, которым могли пользоваться все жильцы. Был в доме и лифт, однако Лотта решила, что ей будет сподручнее подниматься к себе в комнату по чёрной лестнице, чтобы не проходить через квартиру хозяев.

Несколько дней она бродила по гранитным невским набережным, наблюдая оживлённое движение вокруг. Здесь вдоль берегов реки прогуливались петербуржцы, прищуриваясь и подставляя лица неяркому зимнему солнцу. Здесь же, у набережных, зимовали пароходики и баржи. На палубах шёл ремонт, и в надежде закончить его к открытию летней навигации суетились рабочие и матросы. Рыбные садки, как и летом, бойко торговали живой рыбой, её подвозили на санях прямо по Неве. Вдоль ледяных переходов и переездов через реку шли пешком и ехали в санных экипажах люди. По проложенной на льду узкоколейке сновал электрический трамвайчик, за пять копеек перевозивший желающих от Дворцовой набережной до Зоологического сада. С трамвайчиком конкурировали зимние петербургские «рикши». Проворно отталкиваясь коньками от ледяной дорожки, они толкали перед собой поставленные на полозья кресла, в которых сидели укутанные в шубы пассажиры. Эта бьющая ключом наперекор зимней стуже жизнь, эта вечная суета большого города с его стуками, скрипами, звоном ободряюще действовали на Лотту, вселяли в неё надежду. Да и солнце светило уже веселее: весна была не за горами. Душу Лотты перепол-

няло новое, незнакомое ей прежде чувство свободы. Она строила планы, мечтала, и всё казалось ей сбыточным и возможным.

## 2

Накануне масленицы в кафе «Рейтер», на Невском проспекте, пятьдесят, сидел Феликс Николаевич Навроцкий. Он пришёл немного раньше назначенного часа и, сделав заказ, вытащил из конверта полученное им письмо, чтобы прочесть его ещё раз. Письмо было написано ровным почерком на правильном русском языке, но необычное написание некоторых букв выдавало в авторе человека, познававшего в детстве грамоту по латинскому алфавиту.

«Ваше сиятельство уважаемый князь Феликс Николаевич! — читал Навроцкий. — Я не знаю, помните ли Вы меня, ведь со дня нашей с Вами встречи прошло уже довольно много времени. Надеюсь, Вы не осудите меня за то, что я осмелилась обратиться к Вам и напомнить о любезном Вашем предложении помощи и содействия. Сделать это меня побудила крайняя необходимость. Телефонировать не решилась. Буду ждать Вас в кафе «Рейтер» в воскресенье в два часа. Шарлотта Янсон».

Навроцкий пил кофе со сливочной пенкой и перебирал в голове события последнего лета, успевшие уже потускнеть в его памяти. Но образ юной особы, встреченной им сначала на озере в глухом лесу, а затем в кофейне тихого финляндского городка, встал перед ним так живо, как будто всё это случилось с ним только вчера. Он с удивлением обнаруживал в себе волнение перед встречей с этой девушкой, и внезапный интерес к ней, остановивший его в роко-

вую минуту, казался ему, лишённому предрассудков и суеверий, вмешательством какой-то мистической силы. Её письмо, оставленное камердинером на столе и замеченное Навроцким в самое последнее мгновение, так и не позволило ему подвергнуть судьбу страшному испытанию. Или это письмо и было самой судьбой, вторгающейся в жизнь человека со свойственным ей своенравием, смешивая его честолюбивые или малодушные планы, безжалостно смеясь над ничтожными желаниями и даже страданиями? Или было оно соломинкой, за которую ухватилось его естество, противившееся совершаемому над ним насилию? Так или иначе, на его письменном столе так и остались лежать заряженный единственным патроном «Веблей».

Вскоре к столу подошла скромно, но очень изящно одетая девушка. Её зимняя шапочка с аккуратно убранной под неё косой, воротник пальто и обшлага рукавов, сделанные из одного и того же недорогого меха, хорошо смотрелись и выдавали в ней строгий вкус. Навроцкий удивился, что она так легко узнала его. Он помог ей скинуть пальто и предложил сесть напротив. В первую минуту её появления ему трудно было признать в ней ту юную Лотту, с которой он познакомился в Борго. Отчасти причиной этому была её зимняя одежда, отчасти — время, несколько затуманившее образ светловолосой художницы, а отчасти и быстрое взросление, свойственное её возрасту и превратившее робкую, легко вспыхивавшую румянцем барышню в красивую молодую даму.

— Извините, что побеспокоила вас, — сказала Лотта, присаживаясь. — Я рассчитывала на помощь одной знакомой, но незадолго до моего приезда она уехала из Петербурга.

— Не стоит извиняться. Я сделаю всё, что в моих силах, как и обещал...

— Я думала, что вы не придёте. Прошло много времени... Наше знакомство было таким случайным...

— Я прекрасно помню нашу встречу, — возразил Навроцкий. — К тому же не даю обещаний, если не могу их выполнить.

— Недавно умерла моя мама. Это случилось так внезапно... Кажется, она даже не болела ничем серьёзным... После её смерти я осталась совсем одна и не знала, что делать. В её бюваре я нашла вашу визитную карточку и вспомнила о вашем любезном предложении. Я всё взвесила и решила ехать в Петербург, другого выхода из положения я просто не видела.

— Мы обязательно что-нибудь придумаем, — поспешил уверить её Навроцкий.

Ему хотелось рассеять сомнения Лотты, подбодрить её. И хотя у него самого на сердце кошки скребли, он вдруг почувствовал прикосновение какой-то тёплой, согревающей волны и мало-помалу сделался даже весел. Он украдкой разглядывал её светлые, слегка волнистые волосы, так мило убранные в косу, правильные черты лица, прямой, лишь чуточку вздёрнутый носик и млел от какого-то тихого, безмятежного удовольствия. На щеке у неё красовалась маленькая, едва заметная родинка — как раз в том месте, где в старину чаще всего наклеивали фальшивые мушки. Он вспомнил родинку на спине у Анны Ветлугиной и невольно сравнил их. Они имели совершенно одинаковые цвет и форму, но родинка княжны была крупнее и теперь, как только он подумал о ней, перестала казаться ему такой уж пленительной. Не мог не заметить он и разительную перемену во всём облике Лотты. Сейчас, через полгода после их первой встречи, она выглядела намного старше. По всей видимости, смерть матери ускорила её превращение в самостоятельную, взрос-

лую женщину. «Бог ты мой, да она же настоящая красавица!» — думал он.

Заметив, как пристально Навроцкий смотрит на неё, Лотта слегка зарделась и снова стала похожа на того ребёнка, которого он видел летом.

— Я хотела пойти на курсы телефонисток, но мне сказали, что получить место телефонистки сейчас трудно, на эти места большой спрос, и вакансии открываются редко.

— И что же вы решили?

— Обратиться к вам. Но сейчас я думаю, что в моём положении было бы разумнее как можно скорее найти место гувернантки. Это вернее. Мне неловко просить вашей протекции, но...

— Думаю, что смогу вам помочь, — перебил её Навроцкий. — Во всяком случае приложу к этому все усилия и займусь этим завтра же.

На его вопросы об её жизни в Борго, о занятиях её и планах Лотта отвечала просто, не кокетничая и не лукавя. В продолжение всего разговора с лица её не сходила таившаяся в уголках губ грустная улыбка, и Навроцкий всё более и более завораживался этой девушкой.

— Где же вы остановились? — поинтересовался он.

— Я сняла комнату... небольшую, но... хорошую, — сказала Лотта не совсем уверенно.

— И где же?

— На Гороховой.

— Это недалеко отсюда. Вы позволите мне проводить вас?

— Да, конечно, — не возражала Лотта.

Навроцкий смотрел на неё и чувствовал, что в нём что-то переворачивается, ломается, даёт начало новому состоянию души. И не только менялось всё в нём самом, но и вокруг, на огромном театре жизни, точно сменились



вдруг декорации. Даже холодный петербургский февраль вдруг стухнул, обмяк и на глазах превратился в весну. Новое, ещё неясное чувство, ожидание чего-то светлого, радостного переполняло его, и тот факт, что всего лишь сутки назад перед ним разверзлась пропасть, казался ему теперь нелепым, диким, недоступным разуму. А Лотта смотрела на него и не могла взять в толк, почему этот интересный, приятный, даже красивый мужчина, у которого, конечно же, была своя жизнь, ни в чем не соприкасавшаяся с её собственной жизнью, человек чужой, едва знакомый, так смотрит на неё и улыбается какой-то детской, наивной улыбкой, как будто знает её давно и ему с ней невероятно хорошо. Она вдруг почувствовала, что и ей с ним хорошо и покойно, что она может довериться ему, что он обязательно поможет и что всё, абсолютно всё в её жизни будет теперь замечательно.

— Знаете, ваше письмо... спасло мне жизнь, — тихо сказал Навроцкий.

Лотта вскинула на него удивлённые глаза. Он вдруг смутился и подумал, что когда-нибудь, не сейчас, ещё расскажет ей об этом.

— Впрочем, об этом как-нибудь в другой раз...

Провожая её домой, он вспомнил о масленице и остановился посреди тротуара.

— А знаете что? — сказал он, весело глядя в глаза своей юной спутнице. — Начинается масленица... Давайте через пару деньков встретимся и вместе погуляем по городу. Согласны?

— Согласна, — улыбнулась Лотта и, не выдержав его взгляда, с какой-то изящной кротостью опустила голову.

«Ей-богу, прелестнейшее создание! Ангел с небес!» — думал Навроцкий, пожимая ей на прощанье руку.

У себя дома Навроцкий прошёл в кабинет, где на письменном столе лежал оставленный им «Веблей». Он вспомнил, что затвор револьвера взведён, и, взяв его со стола с намерением разрядить барабан, вдруг передумал, прицелился в фарфорового Будду на камине и нажал спусковой крючок. Хлопнул выстрел, статуэтка разлетелась вдребезги.

— Чёрт! — выкрикнул он невольно и остолбенел. Мысль о том, что письмо Лотты действительно, в буквальном смысле, спасло ему жизнь, поразила его своей грубой очевидностью. И в ту же минуту его бросило в жар; ему казалось, что мозг его может взорваться от бессилия понять, переварить эту ясную и жуткую мысль.

В дверь осторожно постучали.

— Ваше сиятельство, всё ли у вас в порядке? — донёсся до него голос камердинера. — Мне кажется, я слышал выстрел.

— Всё в порядке, Афанасий. Иди. Впрочем, постой, растопи-ка, пожалуй, камин.

Афанасий протиснул в кабинет свою неуклюжую фигуру и, набросав в камин дров, принялся молча его растапливать.

Навроцкий почувствовал сильную усталость и, укрывшись пледом, повалился на диван. Теперь его знобило. Он следил из-под пледа за действиями Афанасия, за мятущимся за решёткой камина огнём и понемногу согревался и успокаивался.

«Значит, ещё не кончено, — думал он, засыпая. — Лучше всё-таки жить, даже на каторге... Я что-нибудь придумаю... придумаю... Надобно что-то делать...» И вот уже гре-

зилась ему прозрачная вода, лодка, тихо скользящая по утонувшим в лесном озере облакам, высокие заросли камыша и светловолосая девушка у мольберта на берегу...

## Глава двенадцатая

### 1

Точно какая-то сила зажгла в Навроцком яркие огни и, высветив все тёмные углы его души, заставила дрогнуть и стушеваться дремавших там мрачных чудовищ. Да, он совершил непростительную ошибку, был обманут, потерял немалые средства, с безжалостной холодностью его отвергла боготворимая им женщина, по его самолюбию был нанесён жестокий удар, и свет белый стал ему не мил. Всё это было. Но внезапно, с непостижимой лёгкостью, всё куда-то ушло, растворилось, стало казаться хотя и досадным, но мелким, незначительным недоразумением, коих случается много в жизни. «Разве можно сравнить их с самой жизнью — прекрасным, необъяснимым даром, полученным просто так, без каких бы то ни было наших усилий и заслуг? Отказаться от этого неповторимого чуда? Нет, уж лучше погибать в Сибири, а всё дышать, всё смотреть на солнце, небо, звёзды — до самого конца!» — так думал Навроцкий по дороге на Гороховую, куда отправился в послушно и размеренно шлёпающей поршнями «Альфе». Оставив автомобиль около подворотни, он прошёл во двор. Едва не задев его кадкой, мимо него прошмыгнула шустрая торговка селёдкой. Откуда-то сверху, из-под крыш, на дно двора оседал приглушённый звук грам-

мофона. Обычный для петербургских закоулков запах жареных кофейных зёрен в этом узком дворе-колодце усиливался теснотой пространства, и даже дрова, ещё не доставленные дворником в квартиры и сложенные у стены высоким штабелем, не могли полностью уничтожить этот стойкий кофейный дух, лишь добавляли в него тонкую древесную ноту. Чтобы попасть в комнату Лотты, Навроцкому нужно было пересечь двор и подняться по чёрной лестнице. Внезапно почувствовав прилив энергии, он легко взлетел по гулким ступеням в пятый этаж. Ему хотелось собственными глазами увидеть, как его знакомая устроилась в Петербурге, и, когда она впустила его в своё жилище, он первым делом осмотрелся. Комната Лотты была чистенькой и небольшой, но казалась просторной: мебель в ней стояла только самая необходимая.

— До поступления на службу я не могу позволить себе квартиру, — вздохнула Лотта.

— Да нет, отчего же... премилая комнатка... — сказал Навроцкий.

На небольшом столе возле окна он заметил несколько листов бумаги с рисунками и, испросив позволение, с любопытством принялся их разглядывать. Это были карандашные наброски невских набережных, пришвартованных к ним зимующих барж, строгих очертаний Петропавловской крепости, мостов. Городские пейзажи оживлялись стайками ворон, редкими фигурками прохожих, беззаботно фланирующих или склонивших головы под напором вьюги. Все рисунки были сделаны стремительными, скупыми линиями, но достоверно передавали натуру, и уже в этих зарисовках отчётливо проступало настроение будущих картин.

— Это ваши работы?

— Да.

— Гм... Очень даже недурно. Мне нравится.  
— Это всего лишь заготовки для акварелей.  
— Нет, в самом деле, они прелестны! Верно, и акварели получатся превосходные?

— Это не так легко, — улыбнулась Лотта, — надобно потрудиться.

Через приоткрытую форточку в комнату залетела печальная мелодия. Они подошли к окну. Внизу, во дворе, шарманщик крутил ручку дряхлой, обшарпанной шарманки, поставив её на деревянную подпорку, а вокруг него, выделявая акробатические номера, прыгал тщедушный мальчишка в блестящем чешуйчатом трико. На откидной доске шарманки вокруг фигурки лежащего на смертном одре Наполеона, делая характерные трагикомические жесты, проливали слёзы его генералы. У ног шарманщика лежали скинутое мальчуганом старенькое пальтишко и мягкая фуражка. В доме напротив одна за другой открылись несколько форточек, из них высунулись головы горничных и кухарок, вниз полетели медные пятаки. Лотта озорно взглянула на князя, достала откуда-то кошелек и, встав на придвинутый к окну стул, бросила в форточку монетку. Кто-то из окруживших шарманщика детей юрко подхватил покотившийся по земле медяк и кинул его в фуражку мальчика. Шарманщик благодарно склонил голову. Довольная всей этой сценой Лотта, слезая со стула, вдруг оступилась, запуталась в юбке, пошатнулась — и очутилась в объятиях Навроцкого. На мгновение испуганные глаза её встретились со спокойным взглядом князя, и, сконфуженная собственной неловкостью, она снова покраснела. Навроцкий бережно поставил её на пол, и это неожиданное прикосновение к нему почти невесомого юного тела, секундное обладание им отозвалось в нём смутной, трепетной волной...

Когда они спустились во двор, там уже не было ни шарманщика, ни детворы. Навроцкий завёл мотор и направил авто в сторону Невы. Лотта впервые ехала в автомобиле и с милым женским любопытством разглядывала его устройство.

— Это «Альфа», — сказал Навроцкий. — «A.L.F.A.», модель десятого года, итальянской фабрикации. Вам нравится?

Лотта утвердительно качнула головой.

— Вот и мне тоже, — ласково погладил рулевое колесо Навроцкий. — Что и говорить, умеют итальянцы делать красивые вещи!

Обутый в добротные резиновые шины автомобиль вальяжно урчал, точно гордясь высказанной в его адрес похвалой, и быстро катился по мягкому снежному насту в направлении Адмиралтейства. День выдался по-настоящему масленичным, тёплым, светлым. Всё вокруг блестело на солнце: снег, золотые шпили, стёкла витрин, просветлённые лица гуляющих людей. Каждый раз, когда мимо них проезжал забавный вейка на лохматой, украшенной цветными ленточками, увешанной бубенцами и запряжённой в нехитрые сани лошадке, или проносилась быстрая тройка, осыпая их звоном колокольчиков и обдавая волной смеха, глаза Лотты вспыхивали горячей весёлостью. Навроцкий понял, что автомобиль в такой день не самое лучшее развлечение, ведь на вейке только в масленицу и покатаешься. И хотя эта народная забава была не совсем в его вкусе, он остановил «Альф» на набережной, крикнул первого попавшегося вейку и приказал тому ехать с ветерком.

— Кута неволите, парин? — попытался уточнить финновозница, с достоинством покуривая коротенькую деревянную трубочку.

— Давай, брат, вперёд, — махнул Навроцкий рукой.

И вейка, буркнув что-то по-фински, погнал резвой рысью вдоль набережной свою бойкую лошадку. На голове кобылки кокетливой эгреткой торчали расцвеченные перья; вполетённые в гриву и хвост бубенцы рассыпали кругом, точно бисер, весёлый крупитчатый звон.

— *Mistä olet?*<sup>1</sup> — спросила Лотта по-фински возницу, стараясь перекрычать громкое треньканье.

— *Terijoelta*<sup>2</sup>, — не сразу отозвался чухонец через плечо, как видно, пораздумав сначала, стоит ли отвечать на такие глупые вопросы.

Улыбнувшись угрюмости земляка, Лотта стала смотреть на Неву. Там было оживлённо: с одного берега на другой по льду сновали праздничные толпы. Она невольно вздрогнула, когда в Петропавловской крепости прогремел выстрел полуденной пушки. Сани живо пронеслись вдоль реки, перелетели по мосту на Выборгскую сторону и, сделав круг, вернулись назад. После вейки ездоки пересели в тройку. Навроцкий приказал кучеру пустить лошадей по льду, и тройка помчалась в сторону залива. На широком просторе, в том месте, где река соединялась с морем, сильно дуло, замёрзший после оттепели лёд был гладок и гол, и под парусами на огромных скоростях гонялись друг с дружкой буре. Подхлёстываемые упругим ветром, с трудом удерживая в руках бамбуковые рамы с натянутой на них парусиной и рискуя всякую минуту упасть и расшибиться, выделявали головокружительные пируэты смельчаки конькобежцы. Лотта спрятала раскрасневшееся лицо в воротник шубки и словно притаилась. Только глаза её весело глядели из-под зимней шапочки, и по блеску их Навроцкий догадывался,

---

<sup>1</sup> Откуда ты? (фин.)

<sup>2</sup> Из Териоков (фин.).

в какой восторг приводил её бешеный бег тройки. Они вихрем пронеслись вокруг Васильевского острова, обогнули Елагин и по Большой Невке подлетели к Троицкому мосту. Этой сумасшедшей гонки Навроцкому показалось достаточно, но Лотта, точно войдя в азарт, захотела непременно прокатиться в кресле рикши-конькобежца. На этот забавный вид переправы в поставленных на полозья креслах она впервые обратила внимание, когда делала на набережной этюды. И, судя по возбуждённым лицам некоторых барышень, такой способ передвижения по реке доставлял горожанам массу удовольствия. Навроцкий же, хоть и был со студенческой скамьи петербуржцем, не имел ещё случая воспользоваться услугами этих молодцов и охотно согласился. Взяв в кассе пятикопеечные билеты, они расположились на двухместном сиденье и двинулись к противоположному берегу. Здоровенный деревенский детина, толкая перед собой кресло и неистово шаркая коньками по специальной, тщательно расчищенной ледяной дорожке, разогнался так, что от скорости захватывало дух, и Лотта крепко ухватила за руку Навроцкого, чтобы ненароком не свалиться на лёд. Не прошло и двух минут, как они оказались на другом берегу. Тем же замечательным способом, приятно разгорячённые, восторженные, переправились они через реку и в обратном направлении.

— И в петербургской зиме есть свои прелести, — сказал Навроцкий, приходя в себя и счастливо улыбаясь.

— Ничего подобного я ещё не испытывала, — радостно призналась Лотта, переводя дыхание и поправляя шубку.

Наконец, утомившись катанием, раскрасневшиеся, весёлые и нагулявшие аппетит, они сели в автомобиль и поехали обедать в ресторан Феофилова. Прокл Мартынович встретил гостей по обыкновению радушно и поспешно



провёл их в свободный кабинет. Навроцкий заказал уху из судака, блины с чёрной икрой, бутылку белого «Абрау» и чай с пирожными. Немного закусив, он испросил позволение Лотты и с видимым удовольствием извлёк из сигарочницы сигарку с золотистым ярлычком, самого тонкого сорта из всех гаванских сигар. Лотта с интересом наблюдала, как, прежде чем закурить, он осторожно обезглавил туловище сигарки миниатюрной серебряной гильотинкой и, медленно поворачивая сигарку вокруг оси, особой длинной спичкой равномерно обжёг её кончик. Она подбирала слова, чтобы пошутить над странной мужской причудой, но, уловив замечательный аромат сигарки и увидав, с какой серьёзностью проделал Навроцкий всю эту процедуру, с каким наслаждением он курит, решила промолчать. Ей даже самой чуточку захотелось покурить. Вино было отменным, и скоро она почувствовала, как приятные тепло и лёгкость наливаются во все члены; это было очень кстати после продолжительной прогулки на Неве, где она успела немного озябнуть.

— Можно и мне? — спросила она.

Навроцкий, отпивая из бокала, чуть не поперхнулся от удивления.

— Гм... Они хоть и не самые крепкие, а всё-таки... Дамы их не курят.

— Я только попробую.

— Гм...

Он с минуту колебался, затем всё же достал из кармана сигарочницу.

— Нет, вашу... Я только один раз.

— Полноте... — снова засомневался он. — Вы уверены?

Лотта решительно кивнула. Навроцкий протянул ей сигарку и стал с любопытством дожидаться результата

пробы. Сделав одну затяжку, Лотта всплеснула руками, тихо ахнула и закашлялась.

— Вот видите? А я вас предупреждал.

— Я в первый раз покурила, — виновато проговорила она, возвращая Навроцкому сигарку.

— Покурили? — усмехнулся он. — Если бы вы покурили, мне, пожалуй, пришлось бы позвать сюда доктора.

— Это так опасно для женщин?

— Нет, но с непривычки многим становится нехорошо. Они бледнеют, их тошнит... Одним словом, вам это ни к чему.

— А вам?

— Мне? Ну, я... Видите ли, мне они почему-то доставляют удовольствие.

— А мой отец курил папиросы.

— Ну, это дело вкуса и... извините, кармана.

— В чём же между ними разница?

— Папиросы у нас на фабриках набиваются машинами. Нарубят машины табак в мелкую крошку да и заполнят ею гильзу. Ну а гаванская сигара — работа ручная. Её изготовление — дело долгое и непростое. Вот и ценится она дорого.

— Как же их делают?

— Видите ли, аромат и качество хороших сигар зависят от сорта табачных листьев... от того, как долго и благополучно они созревают... от способа ферментации... от опыта мастеров... Стало быть, здесь много труда. — Навроцкий потушил сигару. — Сигару можно курить долго, с перерывами, — пояснил он, — но больше чем на два часа откладывать не стоит: она теряет свои замечательные свойства.

— Как же всё-таки их делают?

— Вы, я смотрю, девушка из любопытных, — засмеялся Навроцкий. — Видите ли, ранее всего нужно вырастить листья, что само по себе процесс непростой...

— И как же их выращивают?

— Выращивают их на плантациях. Собственно, сначала выращивают саженцы под навесами, а уж затем пересаживают их на плантации и через четыре месяца собирают урожай. Самые качественные листья находятся в средней части растения. Их используют как покровный лист и делают из них рубашку сигары. Это самая дорогая её часть. От покровного листа зависит, как выглядит сигара, поэтому он должен быть гладким, мягким, не слишком маслянистым и иметь тонкий букет.

Навроцкий помял упругую сигарку кончиками пальцев, поднёс к лицу и втянул в себя аромат.

— Можно мне? — спросила Лотта и, получив сигарку, повторила его действия.

— Сейчас у листьев уже не тот аромат, что у сырых. Ведь после сбора урожая они проходят длительный процесс обработки... Ну а верхушка растения идёт на набивку, на внутреннюю часть сигары, которая сама по себе — целая история. Самые же грубые и прочные листья употребляются для скрепления этой набивки.

Навроцкий вдруг подумал, что слишком уж увлёкся рассказом. Он поглядел на Лотту, и ему показалось, что она не столько слушает, сколько наблюдает за ним.

— Однако лучше курить, чем рассказывать.

Он закурил возвращённую ему сигарку и налил в бокалы вина. Из залы донеслось пение цыганского хора, и они замолчали, слушая надрывные колена солиста.

— Вам нравятся цыганские песни? — спросил немного погодя Навроцкий.

— Да. Но раньше я их почти не слыхала. Эти песни так проникают в душу... — Лотта помолчала, прислушиваясь к пению, и продолжала: — Вот сейчас, когда я их слушаю, мне хочется нарисовать... Я даже сама не знаю что... Это должно быть ярким, сильным... И не акварель, а масло... Что-то безудержное... дикое... страстное...

Навроцкий изумился: как-то чудно было слышать такие слова от юной, несмелой девушки. Кроется ли причина её слов и впрямь в чарующих, берущих за душу песнях цыган? Или, может быть, в излишне чувствительной и восприимчивой натуре этой барышни? Или только в действии замечательного вина? Он невольно бросил взгляд на этикетку бутылки и спросил без малейшей нотки иронии в голосе:

— И вы знаете, что такое... страсть?

Лотта как-то вся встрепенулась, съёжилась от неожиданности вопроса и, казалось, снова превратилась в то робкое, застенчивое существо, которое он встретил когда-то в провинциальной финляндской кофейне. Надеясь, очевидно, скрыть смущение, она подняла бокал и сделала глоток. «Бессмысленно спрашивать об этом молоденькую девушку», — подумал Навроцкий. Он хотел обратить всё в шутку и избавить её от необходимости отвечать, но она вскинула на него ясные серо-голубые глаза и сказала приглушённым голосом:

— Страсть — это когда умираешь от страха... Когда любишь так, будто падаешь в бездонный колодезь...

Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга: он — с сигаркой в руке, она — с бокалом возле алых губ.

В кабинет постучали. В дверь осторожно просунулось грузное туловище Прокла Мартыновича.

— У меня для вас, князь, есть кое-какие известия, — сообщил он, наклонив голову к уху Навроцкого и бровью пригласив его идти за собой.

Они прошли в пустой кабинет. Прокл Мартынович опустился на диван, Навроцкий остался стоять.

— Хороша же у вас уха, Прокл Мартынович! — сказал Навроцкий с улыбкой. — Нигде такой не едал. И каким же образом, позвольте полюбопытствовать, вы её готовите?

— И у нас, Феликс Николаевич, по ресторанной части свои секреты имеются.

— Не откроете? — шутил Навроцкий.

— Увольте-с, Феликс Николаевич. Впрочем, ничего особенного...

— Ну а что за новости у вас для меня?

— Интересующее вас лицо, а именно поручик Маевский, — начал Прокл Мартынович, — лежит при смерти в варшавской больнице.

— Как?! — поразился князь. — Что с ним случилось?

— Поручик возвращался из Рима на гоночном автомобиле и попал в аварию под Варшавой. Кстати, он уже и не поручик вовсе: в отставку он вышел ещё перед отъездом в Италию.

— Стало быть, всё это время он был в Италии?

— Да. Говорят, в Риме у него вышел бурный роман с какой-то княгиней-итальянкой. Но княгиня замужем, и дело едва не дошло до дуэли.

— Ваши сведения верны?

— Помилуйте, Феликс Николаевич, за что купил, за то и продаю. Был тут у меня один знакомый поляк — он только что прибыл из Варшавы, — говорит, все варшавские газеты об этом пропечатали.

— И что? Сильно Маевский повредил себя?

— Покалечился адски. Навряд ли выживет. А может, уже и...

И Прокл Мартынович сделал выразительное движение глазами к потолку.

Новость эта была для Навроцкого более чем огорчительной: смерть Маевского означала бы для него окончательную потерю денег. Да и обыкновенного человеческого сочувствия к этой чем-то притягивавшей его к себе личности он не мог не испытывать.

— Что-нибудь случилось? — спросила Лотта, когда он вошёл в кабинет с озабоченным видом.

— Нет... Впрочем, да... Один мой знакомый лежит в больнице.

— Ваш друг?

— Нет.

Она почувствовала, что ему неприятно рассказывать о случившемся, и не задавала больше вопросов. После обеда Навроцкий повёз её домой и всю дорогу был молчалив и задумчив. Она тактично спряталась в воротник шубки. Увидав группу институток, возвращавшихся откуда-то в закрытых экипажах, она живо вспомнила, как когда-то и сама была среди таких же воспитанниц, как возили их по городу на масленицу и как публика с любопытством оборачивалась на вереницу карет, из которых высовывались юные головки. Она помахала рукой проезжавшим мимо девочкам и получила в ответ несколько приветствий и гримасу с высунутым языком. Засмеявшись, она взглянула на Навроцкого, но он думал о чём-то своём и ничего не замечал. Шофёр ехавшего навстречу закрытого автомобиля нажал на клаксон, и выведенному из задумчивости Навроцкому показалось, что с заднего сиденья, из-за стекла, на него посмотрело бородатое лицо Распутина. Он вспомнил, что и «старец» живёт где-то на Гороховой.

— Ну вот и приехали, — вздохнул он, останавливая автомобиль у дома Лотты.

Они немного помолчали.

— Вы любите синематограф? — спросил Навроцкий.

— Да. Очень.

— Тогда приглашаю вас завтра в «Этуаль дю Норд» или... может быть, в «Электро-Комик»? Словом, куда-нибудь. Пойдёте?

— С удовольствием!

Лотта уже не отводила глаз в сторону, когда встречалась с Навроцким взглядом. Он открыл дверцу и выпустил её из автомобиля.

— Тогда до завтра?

— До завтра!

В подворотне она помахала ему рукой и скрылась во дворе. И почти сразу после её ухода он почувствовал близ себя пустоту...

## 2

Известие о случившемся с Маевским несчастье поколебало то спокойствие, которое, казалось бы, прочно поселилось в Навроцком в последние дни. Пересилив свою неприязнь к Блинову, он телефонировал ему в надежде узнать подробности.

— Обратитесь к Ветлугиным, — посоветовал штабс-капитан. — Здесь, в Петербурге, они ближайшие и, кажется, единственные родственники Константина Казимировича. Я, собственно, от них обо всём и услышал. Костя, знаете ли, в последнее время увлёкся этой дамой... итальянской княгиней, и я редко его видел. Он даже не сообщил мне о своём отъезде...

Ветлутиных, особенно Анну Фёдоровну, Навроцкий с некоторых пор избегал, но, собравшись с духом, решился-таки телефонировать. Трубку взяла Софья Григорьевна.

— Какое несчастье! — запричитала она, с трудом сдерживая слёзы. — Какое несчастье! Ведь он мне как сын. Говорила я ему: «Брось ты эту замужнюю итальянку! На что она тебе? Ты и в Петербурге сделаешь блестящую партию! Невест и красавиц здесь хоть отбавляй. Любая за тебя охотно пойдёт». Ведь не послушал! Бросил дела, вышел в отставку, помчался за ней в Рим. Я чувствовала, что до добра это не доведёт. Говорила ему: «Убьёт тебя князь, коли поедешь за ними! Ведь эти итальянцы просто сумасшедшие, из-за женщины на всё способны!» И вот пишет, что чуть не стрелялся на дуэли, что кончилось всё благополучно, что возвращается в Петербург. Я ещё успокоиться не успела, как вдруг телеграмма из Варшавы: лежит при смерти! Ах ты господи! Беда-то какая!

Слава богу, мать его, покойница, не дожидая этого дня. Молю теперь всевышнего, чтобы смиростивился над ним. И все мы целыми днями как на иголках сидим, ждём вестей. И Аннупка сама не своя.

В конце разговора Софья Григорьевна почти рыдала. Не желая долее мучить её, Навроцкий взял с неё слово, что она известит его, если узнает что-нибудь новое о племяннике, и попрощался. Первой мыслью его после разговора с княгиней было немедленно ехать в Варшаву и навестить Маевского в больнице, но, рассудив, что состояние того теперь слишком тяжёлое, он решил дожидаться его выздоровления и возвращения в Петербург.

На следующий день, когда Навроцкий сидел за утренним кофе, просматривая свежий номер «Биржевых ведо-



мостей», Афанасий вручил ему доставленную рассыльным записку от Шнайдера. В аккуратно сложенной записочке Иван Карлович уведомлял, что по сугубо личным причинам вынужден срочно взять расчёт. Навроцкий немедленно отправился к нему, но выяснилось, что несколько дней назад Шнайдер съехал с квартиры, не оставив нового адреса. Не было сведений о нём и в адресном столе, куда Навроцкий зашёл по дороге домой. Станный поступок управляющего удивлял его. Чтобы так вдруг бросить дела и исчезнуть, надобно было иметь серьёзные основания или не иметь совести. Даже если с ним действительно стряслось что-то из ряда вон выходящее, мог же он хотя бы телефонировать и по-человечески всё объяснить.

Дома Навроцкий узнал, что от Шнайдера прибыл пакет с бумагами и письмо. Иван Карлович извинялся и общал, что не может объяснить причину своего ухода, так как она крайне деликатного свойства. В пакете лежал краткий отчёт о состоянии дел князя, а также некоторые документы и бумаги, в которых, казалось, был полный порядок. Навроцкий закурил сигарку и засел было за бумаги для более углублённого с ними ознакомления, но вдруг вспомнил, что назначил в этот день встречу Лотте, и, поспешно собравшись, отправился на Гороховую.

Когда он постучал в дверь её комнаты, Лотта заканчивала одеваться. В первое мгновение он не узнал её: кокетливая меховая шапочка с вуалькой, чуточку состарив, превратила её в элегантную молодую даму. Она встретила его радостным сиянием на лице, и, не успев ещё отделаться от своих невесёлых мыслей, он на минуту смутился, не зная, чему приписать эту радость, но, заглянув в её ясные, безоблачные глаза, будто восклицавшие: «Смотрите же, как я сегодня хороша!», моментально забыл о Шнайдере,

о бумагах и целиком погрузился в бальзам благодушного, приподнятого настроения. Лотта словно околдовала его. Ни на секунду не отрывая от неё взгляда, он почти бессознательно заговорил о погоде, о масленице, о чём-то ещё и говорил без умолку, пока они спускались по лестнице и шли через двор к автомобилю, и, только уже запустив мотор, вдруг спохватился и подивился своей болтливости.

Заметив, что наряд её нравится Навроцкому, Лотта почувствовала себя уверенней, обычная её робость рассеялась. В предвкушении синематографа она была весела и разговорчива. Выяснилось, что этим развлечением она не избалована и побывала всего на двух-трёх сеансах ещё до переезда из Петербурга в Борго. Навроцкий же из любопытства изредка захаживал в синематограф, но предпочитал ему драматический театр и оперу.

В «Этуаль дю Норд» они посмотрели одну за другой несколько картин Макса Линдера и вместе с горничными и матросами от души хохотали, когда тёща Макса собралась в свадебное путешествие, желая провести с новобрачными медовый месяц. Когда же Макс научил свою собаку телефонировать ему всякий раз, как только к жене его заявляются визитёры, публика уже надрывалась от смеха, и господин с тросточкой, сидевший перед Навроцким, едва не упал со стула. В одну из таких минут всеобщего возбуждения и веселья Навроцкий почувствовал вдруг, как ладонь Лотты опустилась на его руку. Он взглянул на её смеющееся, счастливое лицо с ямочками на щеках, и его охватило тихое умиление. После Макса Линдера они погрузились в любовные переживания королевы Елизаветы, в роли которой блистала Сара Бернар, и лицо Лотты было теперь совсем другим: то напряжённым,

то мечтательным, а ямочки у неё на щеках сгладились. За Сарой Бернар последовала итальянская фильма с томной темноволосой героиней, судьба которой так впечатлила Лотту, что Навроцкий, заметив её беззвучные рыдания в носовой платочек, не на шутку испугался и хотел было увести её из залы. Но старания его были напрасны: Лотта предпочла страдать вместе с красавицей итальянкой до конца сеанса.

После синематографа, переполненные впечатлениями, потрясённые и утомлённые, шли они, ради прогулки, пешком по вечернему городу. Затрещали, загудели шмелиным баском электрические фонари. Их стеклянные шары замерцали тусклым фиолетовым светом и вдруг налились яркой молочной белизной с тонким сиреневым отливом. Зажглись огни в окнах магазинов, кафе, ресторанов. На дамских шляпках, точно плывущих в мягком, рассеянном освещении, оседали, медленно и неровно пронизывая сумеречный воздух, крупные докучливые снежинки. И эта игра света, зыбких теней, падающего снега, мелькающих силуэтов прохожих превращала город в сказку, в иллюзию, в продолжение волшебного мира синематографа. На вуальке Лотты, не выдерживая её дыхания, умирали невесомые кристаллы. За тонкой материей, где-то в таинственной глубине, Навроцкий видел блеск устремлённых на него глаз. Вобравший в себя свет фонарей, словно чего-то ожидающий взгляд завораживал его, как сияние моря в лунную ночь. Лотта смотрела на него прямо, не испытывая, по-видимому, прежней неловкости, и он начинал смутно ощущать в себе нечто не распознанное, не обработанное ещё разумом, но уже волнующее, веселящее, вот-вот готовое обрести имя. Опасаясь обмануться, спугнуть едва обозначившийся призрак, он не

спешил дать ему название и лишь осторожно вглядывался в струящийся через серую полупрозрачную ткань нежный матовый блеск...

### 3

Синематограф так увлёк Лотту, что Навроцкому пришлось пересмотреть с ней все драмы и комедии, какие только можно было найти в городе. Восприимчивая натура девушки, её простодушная черта проливать жалостливые слёзы и от души смеяться трогали и забавляли его. Он заметил, что и сам начал находить больше удовольствия в синематографе. В дом на Гороховой, где жила Лотта, он заезжал теперь почти каждый день. Они всё чаще ходили вдвоём в оперу, в концерты, на фотографические выставки, в Русский музей и Эрмитаж. Их вкусы и суждения во многом были схожи, и Навроцкому приятно было найти в Лотте вдумчивую и серьёзную собеседницу, мнение которой он ценил. За короткое время они успели так привыкнуть друг к другу, что оба ощущали пустоту и скуку, если кто-то из них был занят и не мог составить другому компанию. Трезвый ум Лотты, её чувствительная душа, вкус и умение ценить в искусстве прекрасное, сочетавшиеся в ней с застенчивостью молодой девушки, безупречной честностью, мягким нравом и природной весёлостью, не могли не оказать на Навроцкого сильного воздействия. Очарование её было естественным, исходило из неё само собой, без жеманства, и он всё более пленялся ею.

Петербург, как известно, неисчерпаем по части зрелищ и источников эстетического наслаждения. Увлёкшись этой его стороной, они как будто забыли о главной цели приезда Лотты в столицу. И вот настал день, когда, несмо-

тря на весеннее щебетание птах в скверах и царившее повсюду благостное настроение, Лотта была необычно грустна и задумчива и на вопрос Навроцкого о причине её грусти, вздохнув, сказала: «Мы с вами всё гуляем и гуляем... А моё поступление на службу? Ведь скоро мне нечем будет платить за комнату». Эти слова заставили Навроцкого покраснеть, спуститься с небес и вспомнить о своём обещании. Начать исправлять положение он решил с визита к графине Дубновой. «Кто как не она может устроить всё наилучшим образом? — думал он. — Среди её многочисленных знакомых непременно найдётся и какой-нибудь чин из почтово-телеграфного ведомства, и мамаша, подыскивающая дочери гувернантку»...

## Глава тринадцатая

### 1

— Здравствуй, князь! Здравствуй, друг любезный! Давненько не навещался! Ну садись, рассказывай, — говорила графиня Дубнова вошедшему к ней Навроцкому, продолжая перебирать в ящике комода какие-то бумаги. — Я сейчас закончу. Куда же запропастилось это несчастное письмо?

— Я к вам, Леокадия Юльевна, по делу, — сказал Навроцкий, усаживаясь на стул, и, пока графиня занималась бумагами, изложил ей цель своего визита.

— Почто так хлопочепь за неё, за эту свою Шарлотту? Уж не любовница ли она тебе? — оторвалась от бумаг графиня. — А как же твоя пассия княжна?

Навроцкий не нашёлся что ответить.

— Ладно, князь, не обижайся. Дело молодое... Походатайствую, — ласково проговорила она, но тут же возвысила голос: — Однако, друг любезный, тебе, я чай, уже за сорок? Жениться давно пора, а ты всё в девках ходишь!

Навроцкий развёл руками.

— Ты ведь знаком с Костей Маевским? — спросила вдруг графиня, направляя разговор в другое русло.

— Да.

— И, конечно, слышал всю эту историю?

— Всю историю? Я знаю, что он лежит в больнице в Варшаве, а больше почти ничего...

— Чаше, Феликс, надо у меня бывать. Тогда будешь знать всё.

— Что же с Маевским?

— Наш Костя сбрендил с ума, помешался полностью и окончательно! Влюбился в итальянку, замужнюю княгиню!

— Что же в том, что влюбился? Все влюбляются.

— Это в замужних-то? Да ещё в итальянок? погоди, друг любезный, я тебе расскажу...

Графиня позвонила в колокольчик, распорядилась принести чаю с ликёром и усадила Навроцкого на диван около чайного столика.

— Этот Кампаньоли, её муж, сущий дьявол: огромен, чёрен, свиреп, на итальянца совсем не похож, а уж скорее на какого-нибудь арапа... Говорят, на дуэлях десять человек убил. Как не понравится ему, что кто-то на жену его не так посмотрел, так того сразу на дуэль и вызывает. Уж как ни смел наш Костя — и ведь тоже, поди, не мозгляк, — а с этим Левиафаном ему не тягаться!

— Ну а что княгиня?

— Красавица писаная! Говорят, весь Рим от неё без ума. Но после всех этих дуэлей мужчины даже подойти к ней боятся.

Принесли чай с печеньем и графинчик с ликёром. Леокадия Юльевна сделала глоток ликёру из рюмочки, запила чаем и продолжала:

— Как только появились они в Петербурге, вышли в свет, так сразу вся эта кутерьма и началась. Маевский, как только эту Терезу увидал, так сразу и втюрился в неё по уши. Куда они — туда и Костя. Ведь Костя везде вхож. Кажется, только в итальянское посольство не смог за ними увязаться.

Графиня ещё отпила.

— Ты пей, пей, — сказала она Навроцкому.

— Благодарю вас, графиня, но я не любитель ликёров, а вот чаю — пожалуй...

— Да может, тебе водки приказать принести или финьшампаня?

— Благодарю вас, Леокадия Юльевна. Ни того ни другого.

— Ну так вот, Кампаньоли терпел-терпел, а потом и говорит: «Баста! Убью этого каналью Маевского!» Представь себе, Костя здесь у меня при всех назвал его свиньёй в ермолке и питекантропом! Мы все перепугались, а Кампаньоли ничегошеньки не понял, просил ему перевести, но никто не решился.

— А что же его жена?

— Бедняжка была всё время бледна и напугана. Видно, устала от этих скандалов и сама своей красоте не рада.

— Что же было дальше?

— Поехали они из Петербурга по каким-то делам в Стокгольм — и Маевский за ними. Всё здесь бросил и уехал. — Графиня понизила голос, хотя никого, кроме них, в гостиной не было: — Говорят, огромные деньги вложил в какую-то железную дорогу, да дело не пошло.

Ему бы остаться и заняться этим, а он помчался в Стокгольм за итальянцами. Совсем голову потерял!

Навроцкий насторожился.

— В железную дорогу?

— Да, друг любезный. Но об этом я ничего не знаю.

Графиня надкусила печенье, отпила ещё ликёру и чаю. Казалось, её болтовне не будет конца, но Навроцкому и самому хотелось узнать о Маевском как можно больше, и он не спешил откланяться.

— Да-а... — вздохнула Леокадия Юльевна. — Уж сколько вашего мужеского полу из-за баб в кулак свистит, а всё не утомонитесь: подавай вам стройные ножки да томные глазки! Ты бы видел, каким он из Стокгольма вернулся. Бледный, потерянный, едва живой... Начал пить и из квартиры целыми днями не выходил, видеть никого не хотел. А в Стокгольме у них жуткий скандал вышел. Эта Тереза, кажется, оказала Косте какой-то знак внимания или выказала ответное чувство, а может, мужу её всё это только померещилось, но он совершенно рассвирепел, и дело дошло чуть не до драки. Вмешался сам король, и Маевскому через нашего посла было вежливо предложено покинуть город.

Графиня налила в порожнюю рюмочку ещё ликёру и отпила.

— Но на этом не кончилось. Услыхал Костя, что уехали Кампаньоли из Стокгольма в Рим, и начал в Рим собираться. Пить бросил, ходит весёлый и всем хвастает, что он этих Кампаньоли разведёт и сам женится на красавице княгине. Ну, все думали, что Маевский только куражится... А он походил так, походил, сел в свой гоночный автомобиль да укатил в Рим.

Ликёр, по-видимому, начинал действовать на графиню. Она зевнула, прикрывая рот ладонью и сверкая крупным бриллиантом на пальце.



— Ох, что-то на меня сегодня весь день сон находит. На чём это я остановилась?

— Маевский уехал в Рим...

— Ах да... Помчался бедняга в Рим... Впрочем, и в Риме было то же самое: скандалы, ревность князя... — Графиня махнула рукой. — Нет, постой, была ещё дуэль... — повернулась она к Навроцкому, удивив его в очередной раз своими странными глазами. — Да, дуэль...

Она снова отпила из рюмочки, и Навроцкий подумал, что, должно быть, с графиней произошла какая-то метаморфоза: ранее он не замечал в ней такого пристрастия к ликёру.

— Представь себе, этот ужасный Кампаньоли настоял, чтобы оружием на дуэли были шпаги. Шпаги! Это в наше-то время! В двадцатом веке! И ты знаешь, что спасло Костю?

Она опять устремила на Навроцкого свои особенные глаза.

— Нет, даже не догадываюсь. Что же?

— Желудок! — выпалила она, вскинув брови.

— То есть как — желудок?

— Вот так! Же-лу-док.

Навроцкий подумал, что графиня, верно, пьяна и путает, но она продолжала:

— Обыкновенный человеческий желудок. Желудок князя Кампаньоли.

Она сделала паузу, явно желая заинтриговать Навроцкого.

— Каким же образом желудок князя мог спасти Маевского от дуэли? — спросил он в недоумении.

— Очень просто. Костя, разумеется, был напуган — фехтовальщик он никудышный, — но виду не подал, на дуэль

пришёл. И тут-то, как только дуэль началась, с Кампаньоли и случился конфуз. Князь, оказалось, болен... этим... как бишь?.. Ну да не важно.

— Стало быть, дуэль не состоялась?

— Ну разумеется. Из князя весь пыл мгновенно улетучился. Решили они поскорее примириться и разойтись. Из Рима Костя уехал, но я думаю, что это ещё не конец истории. Идёт молва, что Тереза Кампаньоли дала ему надежду. — Графиня плеснула в рюмочку остатки ликёра. — А под Варшавой он чуть богу душу не отдал. Нёсся на авто как бешеный. Вот к чему, друг любезный, приводит страсть! К несчастью! Ему бы только гусарить. В прошлом году на аэроплане упал, руку сломал, весь в ссадинах и синяках был. Ох, не доведёт это до добра! Слава богу, и на этот раз, кажется, обошлось. Сегодня телефонировала Софья Григорьевна, сказала, что Костя почти оправился и скоро будет в Петербурге.

Графиня поднялась, сделала шаг и пошатнулась. Навроцкий подхватил её под руку.

— Ты уж извини, Феликс... Пойду немного вздремну. А протеже своей скажи, что через неделю-другую, может, что и сыщется для неё.

## 2

Какими-то неведомыми Навроцкому путями Екатерина Александровна, сидя в своём добровольном деревенском заточении, прознала о случившихся с ним неприятностях, и то печальное обстоятельство, что её сын, потомственный дворянин и наследник крупного состояния, не может вернуть банку долг, что его, вероятно, ждёт долговая яма, её глубоко уязвило. Сердцем она крепко знала, что

Феликс не способен на нечестный поступок, что если он и попал в какую-то неподобающую историю, то виноват в этом не он, а дурные люди. Она смягчилась и написала Феликсу Николаевичу письмо, как всегда немногословное и сухое, в котором призвала его незамедлительно явиться в Тёплое.

Началась первая по-настоящему весенняя оттепель. Снег почернел, побежали ручьи, дороги протаяли и блестя на солнце глянцевой россыпью луж. Зима могла ещё вернуться, могло занепогодить, но Навроцкий решил отправиться в имение матери на автомобиле. Из Петербурга он выехал рано утром, весь день провёл в пути и перед самым заходом солнца был уже в Тёплом. И снова подивился он старой сойке, спокойно, с великим достоинством, точно вечный страж этой усадьбы, расхаживавшей перед домом по просохшему газону. На этот раз Екатерина Александровна сама вышла на крыльцо встретить сына и, когда он поднялся к ней по щербатым ступенькам, молча поцеловала его. Верно, чувствовала старая княгиня, что недолго ей осталось куковать на этом свете и что может она так и не успеть пригреть и приласкать напоследок своего единственного отпрыска.

Расположившись в столовой после утомительной дороги, Навроцкий хорошо, с аппетитом закусил. После обеда принесли самовар с чаем.

— Вот... Барыня приказали ваше любимое варенье из погребца достать, — сказала девушка Таня, широко улыбаясь и, по-видимому, радуясь его приезду.

Она поставила перед ним банку с вареньем из жимолости, и Навроцкий не спеша, с наслаждением,пил какой-то по-особому душистый чай, смакуя, как когда-то в детстве, каждую ягоду. После чая он прошёл в гостиную, где его поджидала мать.

— Что же ты, дурашка, не сказал мне ничего, когда приезжал в прошлый раз? — спросила она неожиданно мягким голосом.

Навроцкий подумал, что мать, пожалуй, права: он сам во всём виноват, он был горд и холоден с ней, не захотел ничего толком объяснить. Но он промолчал: не хотелось ему ворошить старое. Екатерина Александровна подошла к окну и, взглядываясь в темноту, сказала уже строго:

— Имение не позволю продать, а денег дам. Сколько тебе?

Навроцкий назвал сумму.

— Поди завтра к управляющему. Он всё устроит.

На глазах у Навроцкого навернулись слёзы. Он подошёл к матери и поцеловал её морщинистую руку. И сразу вспомнилось ему детство, когда кожа на этой руке была ещё гладкой и пахла чем-то приятным и он своей маленькой ладошкой держался за материнскую руку, как маленькая лодочка держится за большой и надёжный корабль.

— Я верну вам эти деньги, мама!

— Ладно уж... Поди отдохни, ведь устал с дороги-то. Но больше ко мне с подобной просьбой не обращайся. Человек ты неглупый, так не ставь себя в такое положение, когда просить нужно!

В Тёплом Навроцкий пробыл два дня. Обговорил дела с управляющим, посудачил с Таней, чем заметно повысил её престиж в глазах остальной прислуги, совершил прогулку по окрестным полям на лучшем в имении скакуне, набрал на проталинах в ближайшей роще букетик первых голубых галантусов для Екатерины Александровны — и уехал.

По возвращении в Петербург Навроцкий в первую очередь уладил дела в банке. Освободившись от долгов, он смутно предчувствовал приближение более радостных в его жизни дней, и дышалось ему теперь особенно легко. Цвели на газонах крокусы, в скверах без удержу щебетали птицы, с каждым днём всё ярче заливал улицы солнечный свет. В газетах появились объявления о сдаче напрокат пианино и доставке их по любому дачному адресу. Нагруженные инвентарём для полноценного летнего отдыха, из города потянулись повозки первых, самых рьяных дачников. Остаться на лето в городе Навроцкому не хотелось, но и уехать далеко тоже было нельзя: необходимо было дождаться Маевского, чтобы вместе с ним распутать досадную железнодорожную аферу. И тогда на ум ему пришла простая мысль снять на лето дачу где-нибудь в ближайшем пригороде, а осенью, при благоприятных обстоятельствах, уехать-таки за границу, сменить антураж и дать отдохнуть нервам. Чтобы поиск подходящей дачи обратить в приятную загородную прогулку, он решил пригласить с собой Лотту.

## Глава четырнадцатая

### 1

Хорош Петербург, когда возжеленное лето выманивает его жителей из квартир, соблазняя азартом охоты и рыбной ловли, и любители водного спорта упражняют мышцы, взмахивая вёслами и натягивая паруса. Благословенны

светлые тёплые ночи около летнего солнцестояния, когда эфемерная зоря лишь на миг убирает фасады в малиновые одежды, тут же растворяясь в белёсом рассвете, когда сады, парки и палисадники волнуют обоняние тонким благоуханием сирени и в прозрачных сумерках на городских окраинах без устали поют соловьи!

Хорош Петербург и осенью. Обласканный нежным, меланхолическим солнцем, убажает он взор прохожего золотом крон, обрамляющих чуждую архитектуру зданий, расстилает услужливо ковёр из увядшей листвы под ногами у детворы, чтобы радостней бегалось ей по пёстрым дорожкам. В глубоком раздумье облакачивается на купола и крыши утрюемое небо, веет над городом его холодное дыхание, и вот уже первый морозец бодрит поутру петербуржца, и струйки белого пара бьют из ноздрей работающих лошадок. Зябко. А к вечеру на тротуарах появляется слякоть, и ах как приятно бывает устроиться у камина с чашкой крепкого чая и толстой книжкой литературного журнала или просто предаться ленивой рефлексии, приправленной ароматом сигары!

И зимой хорош Петербург. Власть могучего льда усмиряет бунтующие невские воды, и горожане, повеселев, забыв про мосты, одолевают речные дали на снующем от берега к берегу электрическом трамвайчике, конькобежцы и буеристы стремительно вылетают из рукавов и протоков на простор залива, лыжники упрямо торят пути через сугробы окрестных лесов. Славная пора! Сани лихого извозчика вмиг домчат вас на самый край света, и укутанная в шубу русская душа вдоволь натешится бешеной скачкой по заснеженным полям и трактам!

Хорош Петербург и долгожданной весной, когда охваченные смятением и паникой последние льды Ладоги,

толкаясь и разрываясь на лоскуты, пугают жаждущих тепла людей холодным предсмертным вздохом. Скоро, уже скоро его величество император под звуки орудийного салюта откроет летнюю навигацию, и обретёт свободу Нева. Охотно и радостно отдаст она свои волны яхтам, катерам, пароходам и лайбам. И вот уж цветёт мать-и-мачеха, набухают почки, и в голове петербуржца поселяется неотвязная, сладкая мысль о месяцах дачного счастья...

В любое время года, в любую погоду дивен Петербург! И вечно парит над городом золотой ангел, катит тяжёлую колесницу Ника, блестят горделивые шпили, гремит полуденная пушка, полыхает закат в оконницах Зимнего дворца, трудится во славу столицы мускулистая многоводная Нева. И острова, и каналы, и мосты, и художественные сокровища дворцов — всё служит нам, петербуржцам, счастливым сыновьям и дочерям этого волшебного города, навсегда околдовавшего, сделавшего нас, куда бы мы ни уехали, где бы ни жили, своими верными и страстными воздыхателями. Всё здесь живёт, шумит, дышит, набирается сил, чтобы шагнуть в прекрасное будущее великой, необъятной страны. Двадцатый век, блестящий и весёлый, с его электрическими фонарями, трамваями, автомобилями, аэропланами, телефонными аппаратами и синемаграфом, век прогресса и надежд, ещё только начался. Что-то ждёт нас там, впереди, за таинственной ширмой грядущего? Которая из пружин в загадочном механизме истории, сложном и многообразном, заключающем в себе возможность выбора, сработает? Какие части, какие шестерни этого механизма заставит она вращаться? Чья воля, злодея или доброхота, сделает решающий ход? Заглянуть бы за эту ширму хотя бы одним глазком, хотя бы на секунду, на одну маленькую, ничтожную секунду!

Дачную жизнь петербуржца, каждую весну устремляющегося вместе с добром и челядью, по выражению немецкой части петербургского населения, *in's Grüne*<sup>1</sup>, то есть в близкие и далёкие пригороды, нельзя противопоставлять жизни городской, находя здесь некий конфликт между различными его потребностями. Лучше оставить эти соображения философам и врачам-психиатрам и придерживаться того мнения, что дачная жизнь есть неотъемлемый элемент городской жизни, животворный источник, из которого столичный обыватель черпает силы и вдохновение в трудах, вдоволь запасаясь тем и другим на промежуток между двумя дачными сезонами. Здесь налицо простое стремление петербуржца к гармонии существования, ибо город с его идеальными архитектурными формами и удобствами жизни не способен дать то, что с лёгкостью можно получить от природной стихии, как-то: бодрый крик петуха сразу после того, как отложен в сторону томик Бальмонта и задута свеча, заботливое прикосновение комариного жала к нежной городской плоти, возможность платить за привозную провизию вдвое дороже и тому подобное. Словом, привычка петербуржца каждую весну арендовать дачу есть не что иное, как проявление его гармонической натуры. Ведь привычка и есть вторая натура.

Подготовка столичных жителей к великому летнему переселению на дачи начинается заблаговременно. Многие горожане, стеснённые в средствах или просто не имеющие обыкновения держать собственную дачу, отправляются на поиски летней резиденции ещё зимой, воспользовавшись погожими масленичными деньками. Самые

---

<sup>1</sup> На лоно природы (нем.).



практичные из них, желая сэкономить на аренде квартиры, съезжают на дачи вместе с домочадцами, прислутой и домашним скарбом и живут там до наступления осени, когда приходит время заняться поисками нового городского жилья. Ездить на службу им приходится из своих летних обиталищ, что естественным образом повышает спрос на дачи, не слишком удалённые от города.

Навроцкий, поздно надумавший снять дачу, отдавал себе отчёт в том, что в ближайшем пригороде найти что-то подходящее будет не так легко, но это обстоятельство его не смущало. Розыску летнего убежища он готов был посвятить ровно столько времени, сколько потребуется, а установившаяся чудесная погода и общество Лотты, охотно согласившейся его сопровождать, обещали сделать это занятие приятным.

Накануне Навроцкий осмотрел автомобиль, смазал где нужно его части, проверил свечи, тормоза, фонари и шины, и теперь, когда «Альфа», шурша покрышками, мягко катилась из города в северном направлении, у него не было опасений, что по дороге с ней может случиться какая-нибудь неожиданность. Было уже по-летнему тепло, и лёгкий ветерок приятно обдувал лицо. Навроцкий взглянул на Лотту. Она щурила глаза и тянулась навстречу воздушному потоку.

— Как быстро мы едем! — сказала она, заметив, что Навроцкий смотрит на неё.

— Можно ехать ещё быстрее, мощность двигателя — двадцать лошадиных сил.

— Что это значит?

— Что мотор способен заменить двадцать лошадей.

— Невероятно! Но как же это возможно?

Навроцкий вкратце рассказал об устройстве двигателя внутреннего сгорания, с удовольствием наблюдая, с каким живым любопытством Лотта его слушает.

— Восхитительно! — произнесла она, когда он кончил, и с сожалением прибавила: — Но каждый раз крутить эту ужасную рукоять...

— К следующему лету я постараюсь купить автомобиль с электрическим зажиганием. Это последнее слово в технике. Любая женщина сможет тогда завести мотор. И вы тоже.

— О нет! Я никогда не смогу управлять автомобилем!

— Сможете, сударыня, это совсем просто! Вот смотрите, это тормоз...

Навроцкому вдруг и впрямь пришлось резко затормозить, чтобы не раздавить стаю голубей и ворон, занятых выклёвыванием рассыпанных на дороге зёрен. Птицы выпорхнули из-под колёс, едва не задев Лотту крыльями. Она тихо вскрикнула и закрыла лицо руками. Навроцкий успел заметить панический ужас в её глазах.

— Что с вами? Это всего лишь птицы!

— Мне сделалось немного дурно.

— Это бывает, — понимающе кивнул князь. — Некоторые люди неважно переносят езду в авто.

Лотта была бледна и попросила его остановить автомобиль. Они немного прошли. Теперь, когда близился полдень и лица их не обдувал встречный ветер, они впервые почувствовали, каким жарким выдался день. Лотта жмурилась от солнца и что-то обдумывала. Навроцкому показалось, что она хочет о чём-то ему рассказать.

— О чём вы думаете? — спросил он.

— Так... Ни о чём, — ответила она рассеянно и, пожав плечами, прибавила: — Давайте поедem дальше, здесь жарко.

У Навроцкого не было определённого плана, кроме идеи доехать до Оллилы и вернуться в город через Разлив и Лахту. Проезжая мимо Осиной рощи, они решили осмотреть тамошний старинный парк и, погуляв по тенистым дорожкам, на его окраине увидели уютный двухэтажный дом и билетик в окне: дача сдавалась. Несмотря на близость к городу, место показалось Навроцкому тихим и удобным для отдыха. Дом был деревянный, с верандами на нижнем и верхнем этажах, через нижнюю веранду вела лестница наверх. От озера его отделяла лишь узкая полоса парка, а неподалёку располагалось ещё одно озеро, поменьше. В стороне, за плетнём, стоял ещё один дом, старый, неказистый, похожий на крестьянскую избу. В нём летом жили сами хозяева, сдавая лучший свой дом дачникам. На довольно приличном расстоянии от дома стояли ещё две дачи, которые, как оказалось, были уже сданы. Хозяин запросил за всё лето сто рублей, и Навроцкий, осмотрев дом, согласился. Близость к городу и укромность этого места устраивали его как нельзя лучше. Тут же был внесён задаток и составлена расписка.

Покончив с дачей, они продолжили прогулку. Парковая дорожка вела их вдоль берега озера. С поверхности воды сквозь нежную, молодую листву деревьев и кустарника к ним пробивались солнечные блики.

— Как здесь чудесно! — воскликнула Лотта. — Как много дубов, клёнов! И орешника, и бузины, и черёмухи! Плядите, сколько одуванчиков! Было бы так здорово здесь рисовать!

Навроцкому пришла в голову мысль предложить ей поселиться на даче вместе с ним, но он тут же эту мысль отбросил.

Был третий час пополудни. Воздух точно сгустился, дышалось всё труднее. Они вышли на берег озера. Здесь

солнце палило ещё безжалостнее, тёмная, полупрозрачная вода так и манила к себе. Лотта подошла к самой кромке берега, сомкнула ладони и, набрав в них прохладной влаги, ополоснула лицо.

— Недурно было бы искупаться, — заметил Навроцкий.

— Да. Я непременно выкупалась бы, но у меня нет купального костюма.

— Вот жалость! — вздохнул Навроцкий, вытирая платком лоб. — У меня тоже нет купального костюма.

Они стояли и с досадой смотрели на озеро.

— А знаете что? Мы можем разделиться. Вы зайдёте в воду с той стороны, а я с этой, — предложил Навроцкий.

Лотта немного подумала и весело приняла предложение:

— Хорошо! Только, чур...

Она хотела сказать «не подглядывать», но решила, что говорить это — глупо. Они разошлись в разные стороны, и Навроцкий, раздевшись за кустами, шагнул в воду.

— Где же вы, князь? — позвала его вскоре Лотта. Она была уже далеко от берега, и он недолго думая направился за ней, но расстояние между ними не сокращалось. Плавала Лотта превосходно и, быстро достигнув середины озера, помахала ему рукой. Отставать Навроцкому не хотелось, и он прибавил скорости, но, оказавшись на порядочном удалении от берега, вспомнил вдруг, что плавать неважно и никогда так далеко не заплывал. Он сделал несколько неловких движений, не удержался на поверхности и стал захлёбываться попавшей в горло водой. Его охватил страх. Он отчаянно двигал руками и ногами, но, вместо того чтобы подниматься к поверхности, всё глубже погружался в холодную воду. «Неужели вот так, сейчас? Не может быть!» — пронеслось у него в мозгу. И в тот же миг что-то

толкнуло его и потянуло вверх. И как только голова его очутилась над водой, он начал задыхаться и кашлять. Ему казалось, что он вот-вот снова уйдёт под воду, но что-то крепко схватило его и не отпускало.

— Я держу вас. Не ударьте меня! — услышал он подле себя голос Лотты и понял, что она тянет его к берегу.

— Отпустите, теперь я могу сам, — прохрипел он.

— Нет, уж позвольте мне доставить вас на берег. Я не хочу, чтобы вы из-за меня утонули.

Навроцкий повиновался, и она отпустила его, только когда почувствовала под ногами дно. Едва справляясь с дыханием, обессиленные, перепуганные, они опустились на песок у самой воды. У Навроцкого сильно колотилось сердце, в голове шумело, лицо его было бледным.

— Ну как вы? — немного отдышавшись, спросила Лотта. В голосе её прозвучала заботливая нежность.

— Хорошо, — постарался он унять дрожь и улыбнуться.

— Мне нужно одеться, — проговорила она, вставая.

Навроцкий отвернулся. Пока Лотта одевалась за кустами, он отдышался и тоже оделся. Ему стало теплее, но дрожь всё не проходила, в ногах он ощущал слабость. Откуда-то вдруг дохнуло свежестью, точно волна холодного воздуха пронеслась над ними, и едва успели они войти в парк, как небо почернело, накрыв зловещей тенью всю округу, затрещал и загрохотал гром, и сначала редкими крупными каплями, а затем сплошным серым потоком на Осиную рощу обрушился дождь.

— Первая в этом году гроза! — сказал Навроцкий.

Они спрятались под старым ветвистым дубом, прижались спинами к стволу и стояли так молча, касаясь локтями друг друга и вслушиваясь в симфонию стихии. Он взглянул на неё в тот момент, когда она чему-то про себя

улыбнулась, и ему вдруг нестерпимо захотелось протянуть руку и стереть капельку дождя, стекавшую у неё со лба. Ему казалось странным, что это хрупкое существо с длинными светлыми волосами, спадающими на плечи мягкой, женственной волной, только что спасло его, большого и сильного в сравнении с ней мужчину, от неминуемой гибели. «Да было ли это? Уж не фея ли она лесная, так искусно околдовавшая меня?» — усомнился он на мгновение, но тотчас усмехнулся своему минутному суевию.

— Холодно, — поёжился он.

— Какой же вы всё-таки мерзляк! — засмеялась она. — И плавать-то вы не умеете, и замерзаете в жару!

Ему сделалось вдруг необыкновенно уютно, будто находился он не в парке, спасаясь под деревом от грозы, а в собственном кабинете на любезном плоти диване, перелистывая «Вестник Европы» и покуривая сигарку у согревающего душу камина. «Как это хорошо! — думал он. — Вот так бы и простоял здесь, под дубом, всю жизнь, бок о бок с этой светловолосой богиней». Ему захотелось прочесть какие-нибудь стихи, но на ум ничего подходящего к случаю не приходило. Наконец вспомнились ему строчки, написанные им самим в далёкой юности, и он негромко продекламировал их:

Дождь стучит по стеклу,  
Хлещет листья берёз.  
Не видать никому  
Твоих трепетных слёз.

Ты стоишь у окна  
Где-то там, далеко.  
День прожить без тебя,  
Милый друг, нелегко.

И не я разбудил  
Ранним утром тебя —  
Это ветер блудил,  
Это шорох дождя.

Он поглядел на Лотту. Она прижалась головой к стволу, щурилась на дождь и слушала. Он продолжал:

Вот босая идёшь  
По искристой траве...  
О ласкающий дождь,  
Я ревную к тебе!

Стану веткой ольхи,  
Чтоб коснуться тебя.  
Видишь камни и мхи?  
Наступи — это я!

— Вы, верно, были тогда влюблены? — спросила она, когда он признался ей в своём авторстве.

— Не помню... — почему-то солгал он. — Это было очень давно, почти в детстве...

Дождь прекратился, и они поспешили к автомобилю. На кожаных сиденьях «Альфы» скопились лужицы воды. Навроцкий достал чистую ветошь и насухо вытер сиденья.

— Подумать только! Ведь вы сегодня спасли мне жизнь! — сказал он, когда они тронулись в обратный путь. Ему хотелось прибавить: «И ведь уже во второй раз!» — но он промолчал.

— Что же мне оставалось делать? — вскинула плечами Лотта. — Давайте забудем об этом.

— Ну уж я-то об этом никогда не забуду, — возразил Навроцкий.

Через несколько дней, вернувшись домой от Леокадии Юльевны, Навроцкий телефонировал Лотте:

— У меня есть для вас хорошие новости. В вашем распоряжении несколько вакансий: телефонной барышни, машинистки в банке и гувернантки в трёх аристократических семействах. Выбирайте!

— Ах, это так неожиданно... — сказала Лотта. — Я должна подумать.

— Да, конечно... Но у меня есть ещё одно предложение...

— Какое же?

— Дело в том, что мне не нужно столько комнат на даче. Вы могли бы занять верх. Ведь туда есть отдельный вход... И потом...

— Нет, это невозможно... — перебила его Лотта. — Это неудобно... И как же быть с вакансиями, о которых вы говорите?

— Осенью мы найдём что-нибудь другое... Вы сделаете мне большое одолжение... Видите ли, я не хочу брать туда прислугу, да и прислуги-то у меня почти нет... Афанасия я на лето отпущу в деревню. Так вот, ваша помощь пришлась бы мне очень кстати. Ну и вам не нужно будет платить всё лето за вашу комнату. Это тоже экономия... А на даче вы могли бы заниматься живописью... Ведь вам, кажется, там понравилось?

Трубка молчала.

— Алло?

— Я не знаю... — отозвалась Лотта. — Мне необходимо подумать... Всё это так вдруг...

Поднявшись после разговора с Навроцким в свою комнату, она подошла к окну. Внизу, во дворе-колодце,



стоял с тележкой торговец мороженым. Он проворно извлекал из ящика фисташковые и сливочные шарики и раздавал их тянувшейся к нему с монетками детворе. Лотта задумалась. Идея посвятить себя летом живописи была ей по душе. И в том, чтобы занять две верхние комнаты, кажется, не было ничего предосудительного. Или почти ничего. Во всяком случае она даст понять Навроцкому, что в её согласии нет ничего такого, что он мог бы истолковать неправильно. А до других ей дела нет. Она смотрела в тесный, полутёмный двор и вспоминала озеро с тенистым парком и старый могучий дуб, укрывший их от грозы... И когда она отходила от окна, решение её было уже принято.

## Глава пятнадцатая

### 1

Всю зиму Анна Фёдоровна с грустью вспоминала свой последний разговор с Навроцким. Тогда в Летнем саду у неё не было намерения обидеть его нелепыми подозрениями. Она сказала ему то, что и следует говорить в таких случаях. Обстоятельства его были незавидными — и вдруг это объяснение... Она просто обязана была осветить предмет, тень от которого могла лечь на их отношения. Да и не соглашаться же на предложение руки и сердца так сразу, даже если очень хочется его принять! Ей необходимо было время, ведь не может же она в её лета, не имея достаточного опыта, быть вполне уверенной в своих желаниях. Но теперь... Теперь она многое бы отдала за то, чтобы вернуться к тому разговору, да вот только Навроцкий давно исчез с её горизонта...

Иное дело штабс-капитан Блинов. Этот любезник, сердцеед, неутомимый завоеватель женских душ превратился вдруг в жалкого её раба. Он всюду следовал за ней, докучал объяснениями в любви и при всяком удобном случае вымаливал согласие выйти за него замуж. В те же дни, когда ему не удавалось заполучить её, он слал ей открытые письма с изображением корзиночек с цветами и упитанных, натягивающих тетиву купидончиков. На этих открытках, снабжая прописные буквы завитушками, он старательно выводил: «Любезнейшая Анни! Вы не женщина, а шампанское! Я пьян! Я счастлив! Сгораю от нетерпения увидеть Вас! Навечно Ваш Блинов». Незамысловатые записки штабс-капитана Анна Фёдоровна достаивала лишь беглым взглядом, тотчас отправляя их в камин. И если в начале этих странных отношений её забавляли и неуклюжие ухаживания, и сусальные послания, то в последнее время она подшучивала над ним лишь по привычке, не получая от этого ни малейшего удовольствия. И хотя сопровождавшего её везде и всюду смельчака авиатора удобно было иметь под рукой для мелких поручений и других надобностей, недалёкий ум его, постоянная ревность и досадная привычка наступать на бобрик её юбки в конце концов утомили Анну Фёдоровну. Терпение её лопнуло бесповоротно, когда господин Блинов, обыкновенно умевший держать себя благородно, неожиданно самым скандальным образом показал другую свою, совершенно неприемлемую для Анны Фёдоровны, сторону. На званом обеде (из тех, на которых иногда приходится бывать вопреки желанию) штабс-капитан, не выдержав слишком любезного обращения княжны с одним из гостей, выскокил в ярости из-за стола, споткнулся о козетку и, падая, вдребезги разбил горку с китайским фарфором. Разыг-

ранная им вслед за тем нелепая сцена ревности, о которой на другой же день зашептали в петербургских гостиных, заставила Анну Фёдоровну пересмотреть свою, совершенно, впрочем, невинную, связь с ним и бесповоротно лишить его малейшей надежды на матримониальную перспективу.

Это крупное поражение в амурной карьере, понесённое после стольких блистательных побед, серьезно подорвало нравственные силы штабс-капитана, заставив его с головой уйти в обожаемую им авиацию. Неудачи на этом героическом поприще если и случались, то не причиняли ему тех жестоких страданий, которыми приходилось расплачиваться за удовольствия в области более деликатной. Они лишь вызывали в нём яростное и непреодолимое желание летать ещё выше и быстрее.

В результате такого катаклизма лицо штабс-капитана приобрело суровое, аскетическое выражение, во взгляде его появились следы умудрённости безрадостным опытом. С изумлением обнаружив, что женщины — источник не одних только усад, но и нервических потрясений, бессонницы и боли в пояснице, он стал смотреть на них с некоторым скепсисом и даже опаской. Завидев даму с привлекательными формами, манящую к себе, как выплывающий из тумана пароход с сигнальными огнями и музыкой на борту, штабс-капитан немедленно начинал пересчитывать воображаемое стадо из десяти баранов, дабы успеть вспомнить, к каким досадным последствиям может привести необузданный мужской инстинкт. Дамам же, имеющим известный интерес к личности господина Блинова и желающим обратить на себя его взор, отныне требовалось проявлять больше изобретательности, нежели просто

делать глазки и подбирать чуть выше обыкновенного юбку при посадке в аэроплан, демонстрируя модные ажурные чулочки. Но, увы, избалованные мужским вниманием петербургские дамы об этом не догадывались и, как следствие, терпели фиаско. Зато многие петербургские мужья наконец-то могли углубиться в чтение газет вместо того, чтобы задумываться над странностями жены, когда та, вздыхая, говорила: «Ах, Котик! Отчего ты не летаешь!»

## 2

Лавры некоторых французских авиаторов в последнее время не давали Блинову покоя. Он ходил с хмурым и озабоченным видом, взвешивая собственные возможности побить их рекорды. Эту озабоченность и застали на его лице Навроцкий и Лотта, когда однажды ранним утром прибыли на Комендантский аэродром. Не ускользнуло от Навроцкого и выражение в глазах штабс-капитана какой-то особой грусти, какая бывает у собак, несправедливо наказанных хозяином. Даже кончики его усов утратили свой обычный бравый вид и понуро свешивались вниз. О причинах этой грусти Навроцкий догадывался: слухи о разрыве между Блиновым и княжной Ветлугиной дошли и до него. По-видимому, тяжёлая рана, полученная Блиновым в продолжительной любовной борьбе, всё ещё кровоточила, и Навроцкий в душе сочувствовал ему. Что касается его собственных чувств к Анне Фёдоровне, то Навроцкий старался о них не думать. Он выработал в себе привычку сразу, как только мысли его начинали двигаться в этом опасном направлении, перегонять их, как стрелочник, на другую колею. Его немного корбило, что поднять их

с Лоттой на аэроплане должен был именно Блинов, — общество штабс-капитана вызывало в нём нежелательные воспоминания, но предвкушение первого в жизни полёта и улыбающееся лицо Лотты заставили его забыть обо всём неприятном. Важнее было то, что Блинов — опытный авиатор. Обучался он в школе практического воздухоплавания под Парижем и авиационной школе в Гатчине и уже давно брал пассажиров. Из газет Навроцкий знал, что Блинов не раз пытался ставить рекорды продолжительности и высоты полёта, но пока не преуспел в этом. Наконец, желание доставить удовольствие Лотте, а вместе с ней и себе, было сильнее всех прочих соображений, и он не стал возражать против Блинова, когда обговаривал с начальством аэродрома условия полёта. И всё же он немного волновался, вспоминая, как почти два года назад здесь же, на Комендантском аэродроме, был свидетелем гибели капитана Мациевича. «Фарман» Мациевича рассыпался в воздухе на куски, а сам капитан разбился насмерть, упав с высоты в полверсты.

Блинов, несмотря на угрюмое выражение лица, держался просто. Его обычный апломб, рассчитанный на мужчин и имеющий свойство стремительно переходить в юмор не лучшего пошиба для женщин, бесследно исчез.

— Полетим на «Фармане», — мрачно объявил он, когда механики выкатили биплан из ангара.

— Что-то вы не в духе сегодня, — заметил с улыбкой Навроцкий.

Блинов сделал вид, что не расслышал.

— Поднимет ваш аппарат нас троих?

Штабс-капитан ухмыльнулся, прошёлся критическим взглядом по фигуре Навроцкого и покосился на Лотту.

— Да не такого уж вы богатырского сложения, князь. У меня были пассажиры и посolidнее вас и вашей... — Он запнулся, подбирая подходящее слово. Ему захотелось как-нибудь уколоть Навроцкого, назвать эту светловолосую девушку его невестой или даже любовницей, но он сдержал в себе яд. — ...Спутницы.

— Прошу прощения, я вас не представил, — извинился Навроцкий. — Штабс-капитан Блинов. Шарлотта Янсон. Блинов подчёркнуто равнодушно кивнул головой.

— Не беспокойтесь, князь, — сказал он снисходительно немного погодя. — Этот аппарат поднимет нас как три утиных пёрышка. Мотор — восемьдесят лошадиных сил. Горючее стораёт в семи цилиндрах. Сто вёрст за час он делает шутя. — Блинов похлопал ладонью по фюзеляжу.

— Вот как? Стало быть, вам не составит большого труда покружить нас над Кронштадтом?

— Да хоть в Финляндию! Я долетал на нём до Бьёркэ и даже до Кексгольма... Ну, скажем, почти... И возвращался без посадки и заправки. Горючее, правда, приходилось экономить...

— Экономить горючее? И каким же это образом, позволете узнать?

— Зачем это вам, князь? Навряд ли вам это пригодится. Да и трудно вам будет понять все эти тонкости.

— Отчего же? Может быть, и я последую вашему примеру и пойду учиться в школу воздухоплавания, — в шутивом тоне возразил Навроцкий.

— Ну-ну... Не поздно ли, князь? — Блинов снова покосил в сторону Лотты. — Впрочем, извольте...

Он начал ходить вокруг аэроплана и, живо жестикулируя, рассказывать, как ловко всё в этой машине устроено и какими приёмами можно сэкономить горючее. По тому

удовольствию, с которым штабс-капитан всё это излагал, видно было, что сел он на своего конька. Мало что понимая в его речах, Лотта терпеливо ждала в сторонке, изредка прислушиваясь к восклицаниям мужчин. Наконец, пересказав едва ли не всю теорию воздухоплавания, Блинов предложил пассажирам занять места в аэроплане. Навроцкий помог Лотте подняться по небольшой приставной лестнице и вслед за ней уселся в тесное сиденье.

— Аэроплан военный, удобства не предусмотрены, так что не взыщите, — сказал Блинов, заметив, с какой неловкостью девушка устраивается в узком кресле. — Мы сами приспособили его для пассажиров. А ежели желаете комфорта, то придётся мне катать вас по отдельности — на другом аэроплане и в другой раз.

— Нет, ничего... — произнесла Лотта. — Не беспокойтесь... Мы как-нибудь...

На конкретные вопросы Навроцкого об управлении «Фарманом» Блинов отвечал не менее охотно и подробно, показав ему всю последовательность действий авиатора при взлёте и посадке. Наконец любопытство князя было полностью удовлетворено, все трое надели толстые защитные шлемы и приготовились. Мотор пофыркал и взвыл. За спиной пассажиров бешено закрутился пропеллер. Биплан затрясло, и наконец он двинулся вперёд. Ударивший в нос запах жжёной касторки напрочь забил исходившее от Блинова благоухание одеколона «Царский вереск». Лотта поморщилась и, когда колёса аэроплана оторвались от земли, покрепче вцепилась в плечо Навроцкого.

Через несколько минут аэроплан кружил над сверкавшими на солнце водными просторами невской дельты.

— Смотрите, как блестит вода в Неве! — кричал Навроцкий.

— Да, красиво! Это Малая Нева, а там Большая, — отвечала ему Лотта.

— Это похоже на гигантскую ладонь!

— Уж слишком у неё кривые пальцы. А какими маленькими кажутся люди!

— Отсюда они выглядят такими, какие они есть на самом деле!

Сделав несколько кругов над городом, Блинов направил аэроплан в сторону Кронштадта, и теперь они облетали остров с его великолепным Морским собором, причём так низко, что Навроцкий без труда узнал памятник Петру Великому в Петровском парке. «Свершилось!» — думал он с восторгом ребёнка.

Мечта его подняться в воздух на аэроплане наконец-то сбылась. Ещё пару лет назад, когда в Петербург приезжал Юбер Латам, известный французский охотник на львов и авиатор, Навроцкий, следя за его показательным полётом, решил, что обязательно тоже когда-нибудь полетит, и вот подходящий для этого момент настал. Установилась отличная летняя погода, в петербургском небе каждый день кружили аэропланы, и, вспомнив о своём намерении, он подумал, что пришло время его осуществить. Мысль же о том, что было бы приятно и весело испытать ощущение полёта вместе с Лоттой, показалась ему очень удачной, и, когда он высказал ей эту мысль, встречена она была с присущей молодости восторженностью. Обладая природной тягой к постижению всего нового и живым воображением, Лотта мгновенно загорелась этой идеей. И теперь, когда они вернулись на аэродром, когда аэроплан остановился близ ангара и замер мотор, Навроцкий видел, как много счастья доставил ей этот полёт, и, преисполненный радо-



стного чувства, едва сдерживался, чтобы не обнять и не расцеловать её. Всю дорогу от аэродрома они в весёлом возбуждении обсуждали впечатления дня и предрекали прекрасную будущность русской авиации.

### 3

Предстоящий переезд на дачу приятно волновал Навроцкого. Он был рад, что в Осиной роще ему не придётся коротать летние дни одному. И хотя он умел и даже любил обходиться без общества людей, никогда не скучая и всегда находя себе занятие по душе, присутствие поблизости милой его сердцу особы являло для него куда лучший жребий, чем полное одиночество. Мысленно он был уже на даче, и только необходимость распорядиться насчёт разных мелочей не позволяла ему отправиться туда немедленно. Перед самым отъездом в Осиную рощу он заглянул к Леокадии Юльевне, надеясь узнать что-нибудь новое о Маевском, и в гостиной графини неожиданно застал Анну Фёдоровну.

Княжна была рада встрече с Навроцким и не скрывала этого, но внезапность его появления несколько смутила и взволновала её. Леокадия Юльевна поспешила под каким-то предлогом оставить их наедине. Навроцкий ходил по комнате и, испытывая неловкость, заводил разговор то о погоде, то о какой-то эпидемии в Африке. Анна Фёдоровна вежливо отвечала и всё думала, как бы к слову напомнить ему об их встрече в Летнем саду, объяснить, что она не хотела ответить ему категорическим отказом, а то, что он посчитал концом разговора, могло стать его началом. Но заговорить об этом прямо она не решалась: с момента их последней встречи прошло много времени, а о нынеш-

них его намерениях ей не было известно ровным счётом ничего. Возможно, у него уже не было прежних чувств к ней, и тогда, напоминая ему об этом, она рисковала бы показаться ему смешной. А что может быть унижительнее для женщины, чем выглядеть в глазах мужчины смешной?

Растерянность и кротость Анны Фёдоровны, которых Навроцкий никогда ранее в ней не наблюдал, сеяли в нём странную тревогу. То, что давно улеглось на дне его души, чего он не хотел более касаться, вдруг всколыхнулось каким-то глубинным дуновением и медленно двинулось к поверхности. Он чувствовал, что где-то в тёмной бездне его сердца за власть над ним идёт тайная борьба. Ему хотелось прекратить эту борьбу, восстановить равновесие и покой, но это было выше его сил. Он думал о разговоре с Анной Фёдоровной в Летнем саду, помнил каждое слово, сказанное ими тогда, но возвращаться к минуте своего унижения не хотел. Страница эта была перевернута, и возникшая в душе у него сумятица удивляла и даже пугала его.

Так в неторопливом и осторожном разговоре обо всём на свете, но только не о них самих, разговоре, который сопровождался тщательно скрываемым столкновением в каждом из них самых противоречивых чувств, и прошло время, отведённое им графией. Леокадия Юльевна вскоре вернулась в гостиную и, бросив на них пытливый взгляд профессионального физиономиста, с сожалением убедилась в том, что предупредительность её пропала даром.

## Глава шестнадцатая

### 1

Афанасий остался в городе присматривать за квартирой Навроцкого, заявив, что не желает ехать в деревню. Навроцкий собрался на дачу. С собой он взял лишь самые необходимые вещи: книги, ноты, запас сигар, одежду для прогулок и занятий спортом. В Осиную рощу было доставлено пианино, которое он арендовал на всё лето, чтобы не перевозить из городской квартиры громоздкий рояль. В прислугу, по рекомендации хозяев дачи, он взял девушку Машу из соседней деревни. Это молчаливое создание приходило каждый день готовить и убирать в комнатах. По утрам на дачу доставлялись молоко и другая провизия. Быт, таким образом, был налажен, и ничто не мешало погрузиться в безмятежную дачную жизнь, предаться чтению, игре на пианино, прогулкам и купанию в озере. Закончив обустройство дачи, Навроцкий перевёз в Осиную рощу и Лотту.

После нескольких месяцев, прожитых на пятом этаже огромного каменного дома, затерянного в бесконечных серых кварталах столицы, Лотта была счастлива очутиться на берегах окружённого лесом озера, вблизи чудесного старинного парка. Это был совсем другой мир. Здесь можно было целыми днями бродить среди деревьев, читать книгу в их ажурной тени, наблюдать за птицами и бабочками, составлять букеты из цветов, купаться и рисовать. Всем этим она заняла себя на другой же день после приезда. Вставала она рано, с вечера оставляя между плотными шторами маленькую щелку, через которую утром к ней в кровать мог проскользнуть солнечный луч. Она любила просыпаться от его тёплого прикосновения к щеке. При-

вычка эта сохранилась у неё с детства, когда однажды она придумала такой способ пробуждения, опасаясь, что отец не разбудит её и не возьмёт с собой на охоту. С тех пор она научилась с большой точностью рассчитывать время и место падения солнечного луча. Встав с постели, она пила чай и выходила в сад, где устраивалась поудобнее и рисовала, а после завтрака, захватив зонтик и этюдник, отправлялась в дальнюю прогулку и возвращалась только к обеду. На соседнем озере, размером поменьше, она обнаружила старинную барскую усадьбу в русском классическом стиле и приходила туда срисовывать её с натуры. Через несколько дней она показала Навроцкому готовую акварель. На ней был изображён стоящий на пригорке дом с белыми колоннами, белая пристань на берегу покрытого лилиями озера и подплывающая к пристани лодка с дамой в летнем платье и соломенной шляпке и мужчиной в чесучовом пиджаке и канотье. Мужчина взмахивал вёслами и щурился от солнца, а дама держала в руке букетик цветов и кокетничала. Картина понравилась Навроцкому. Он предложил Лотте продать ему эту вещь, но тут же получил её в подарок. «В дождливые дни она будет наполнять мою обитель солнцем», — сказал он, повесив акварель на видном месте у себя в комнате.

После обеда Лотта обыкновенно отдыхала за книгой, потом играла на пианино, если это не мешало князю, а когда уходила Маша, брала на себя обязанности хозяйки, занимаясь какой-нибудь домашней работой. По вечерам она плавала в озере, а в сырую погоду сидела в своей комнате или на веранде и работала над зарисовками, сделанными ещё зимой.

Навроцкий вставал позже, так как по вечерам засиживался за чтением привезённых из домашней библиотеки книг и ложился спать далеко за полночь. Из комнат

своих он выходил только к завтраку, днём уезжал в Петербург или возился с автомобилем и отправлялся затем в поездку по окрестностям. Автомобильная езда очень увлекала его, и скоро он изъездил все окрестные дороги. Иногда ему приходилось прибегать к помощи местных жителей и их лошадей, чтобы вытащить застрявшую в луже «Альфу». В одну из таких поездок он напал на небольшой конный завод, где можно было взять напрокат лошадь, и стал приезжать туда и пересаживаться из автомобиля на резвого орловского рысака. Смена ощущений забавляла его, и он тщетно задавался вопросом, что же ему доставляло большее удовольствие: автомобиль с его двадцатью лошадиными силами или всего одна лошадиная сила, но живая, менее прихотливая и способная пробираться по узким лесным тропам?

После вечернего чая Навроцкий обычно садился за пианино и долго играл. Начав романсом Чайковского, коих знал множество, пьесой Глинки или Рубинштейна или премилой штучкой Дебюсси «*La plus que lente*»<sup>1</sup>, он увлекался игрой и часто заканчивал её собственной вдохновенной импровизацией. Страсть к импровизациям появилась у него ещё в детстве, когда, желая подразнить учителя музыки, он на свой лад переделывал всё, что задавалось ему для разучивания. Со временем он достиг в этом деле такого мастерства, что порой его собственные пассажи, искусно вставленные в известные произведения, оставались незамеченными слушателями. Нередко импровизация так захватывала его, что пьеса, послужившая для неё отправной точкой, целиком отбрасывалась, и звучала уже совсем другая музыка — музыка самого Навроцкого. Но музыка

---

<sup>1</sup> «Медленный вальс» (фр.).

эта была переливом настроения, мимолётным озарением, он никогда её не записывал и не мог повторить в точности. По обыкновению в конце этих концертов он с чувством исполнял «Ностальгию» Грига или романс Рубинштейна «Ночь», негромко и художественно его насвистывая. А когда с ясного ночного неба в окна дачи ярко светила луна, навстречу её лучам летели прозрачные, как слеза, звуки «*Clair de lune*»<sup>1</sup> Дебюсси.

К этим мелодиям, залетавшим к ней через открытое окно вместе с запахом черёмухи, лёжа в своей постели Наверху, прислушивалась Лотта. И грезилось ей, что и эти волшебные звуки, и атомы её собственного тела растворены в огромном океане вселенной и нет её, Лотты, вовсе, а есть усеянная звёздами непостижимая безбрежность, щедро и безусильно рождающая совершенство, будь то музыка или охватывающее душу чувство любви...

## 2

В первые дни их дачного отшельничества каждый из них жил своей, обособленной, жизнью. Время от времени Навроцкий уезжал по делам в Петербург и оставался там по нескольку дней. Встречаясь за обедом, иногда за завтраком, они обменивались короткими фразами о погоде, о приготовленной Машей еде, о яблонях, цветущих в саду, и не касались других, более чувствительных, вопросов. Но теперь, когда вместо непродолжительных встреч, всегда кончавшихся расставанием, они очутились под одной крышей и видели друг друга почти каждый день, они не могли не чувствовать какую-то качественную перемену в незримом поле притяжения между ними. Что-то подсказывало им,

---

<sup>1</sup> «Лунный свет» (фр.).

что находятся они в начале дальнего, нехоженого пути, и, как расчётливые, мудрые путники, они не спешили на этот путь ступить. Они словно любовались друг другом со стороны, как любуются розами, цветущими под окном, — их нет необходимости срезать и ставить в вазу. Будто два мотылька порхали они рядом и в то же время каждый сам по себе, резвясь и забавляясь короткой летней жизнью на собственный манер. Но оба смутно догадывались, что где-то поблизости, в каких-то неведомых потёмках, что-то важное и таинственное, точно аптекарская тинктура, настаивалось под спудом и ждало своего часа, чтобы в нужную минуту явиться на свет и оказать благотворное, живительное воздействие на страждущий, истомившийся организм. Когда же каждый из них в одиночку вдоволь насладился погожими летними деньками и ленивым спокойствием дачной жизни, их потянуло друг к другу. Они всё чаще отправлялись на прогулку по окрестностям вдвоём, вечерами ходили купаться на озеро, а возвратившись с купания, садились за самовар и долго, не спеша пили чай, обмениваясь впечатлениями прошедшего дня, обсуждая прочитанные книги, делясь сделанными в природе наблюдениями, доверяя друг другу навеянные этими впечатлениями и наблюдениями мысли.

В поздний час, когда Навроцкий садился за пианино, Лотта уже не ложилась спать, а, заслышав его игру, накидывала на плечи шаль, спускалась вниз и тихо устраивалась в кресле напротив небольшого камелька, который он топил в прохладные вечера. В оконном стекле в причудливом смещении медленно качались тёмные силуэты древесных крон, вздрагивали огни канделябра, трепетали бледные лоскутки ночных бабочек. Иногда слышался тихий скрип приоткрывшейся форточки и шелест листвы, точно старый скряга, открыв сундучок, копался в своих сокровищах.

Всё это, сливаясь с печальными звуками музыки, навело на Лотту приятную грусть, неясное ощущение блаженства. Когда она входила к Навроцкому, он, не переставая играть, приветливо кивал ей и некоторое время поглядывал в сторону кресла, в котором она устраивалась, грациозно подобрав под себя ноги. Но вскоре музыка так увлекала его, что он совсем забывал о своей гостье, лицо его делалось серьёзным и отрешённым, кисти рук летали над клавишами, как два неутомимых ангела, и казалось, это не он извлекает из инструмента звуки, а музыка, уже существующая, растворённая от века в эфире, течёт в него через кончики пальцев, наполняет собой и его самого, и эту комнату, и этот дом, и всё пространство вокруг и вновь, неукрошённая, свободная, шальная, уносится в ледяную высь к рассыпанным по ночному небу апатичным звёздам, словно там её обитель, там её вечное пристанище, а здесь, на Земле, она лишь беззаботный, случайный гость, милостиво заглянувший на огонёк, чтобы только на миг развеять нашу смертельную скуку...

На эти вечерние концерты Лотта стала брать с собой листы рисовальной бумаги и, глядя задумчиво в белёсую лунную ночь, вслушиваясь в звуки фортепьяно, делала наброски карандашом. В одну из таких ночей, когда фортепьяно смолкло и через открытое окно вместе с тишиной в комнату полились трели соловья, она тихо встала и, незаметно зевнув, ушла к себе наверх. Навроцкий закурил и, рассказывая по комнате, наткнулся вдруг на собственный портрет, исполненный графитным карандашом на четверти ватманского листа. Он взял со стола канделябр и подошёл к зеркалу. Карандаш Лотты удивительно верно, скупыми и точными штрихами передавал его черты. Ему было как-то странно смотреть и на своё одухотворённое лицо, и на эти морщинки, которых сам он никогда ранее не замечал.



На другой день, проснувшись ранее обычного, Навроцкий привёл себя в порядок и вышел в сад, где Лотта уже сидела за рисованием.

— Вы позволите? — взял он в руки почти готовую работу и прищурился, поворачивая лист под разными углами.

Картина изображала уголок сада, утопающий в цветах и пронизанный лучами восходящего солнца, ступени мраморной лестницы, исчезающие в густой зелени, и расколовшийся на части торс античной богини, на котором восседал ворон.

— Превосходно, — сказал Навроцкий. — Мы отвезём ваши картины в Париж и устроим там выставку. Впрочем, нет... Сначала выставим их в Петербурге.

— Выставку?! — удивилась Лотта. — Не знаю, довольно ли найдётся у меня удачных работ для выставки...

— Всё, что я видел, — удачно. Да и за лето вы, по всей вероятности, напишете ещё не одну хорошую картину...

— Вы и в самом деле считаете, что я пишу хорошо?

— Несомненно! Вы находите интересные мотивы, у вас удачные композиции, изумительный цвет... И в целом всё очень гармонично.

Лотта сделала несколько движений кистью и поморщилась.

— Что-то не получается?

— Краска стекает... Бумага слишком гладкая... Надобно купить другую бумагу.

— Я привезу вам бумагу. Скажите только, какую именно вы хотите.

Он выслушал подробные объяснения и, понаблюдав несколько минут за её работой, спросил:

— Вы ездили когда-нибудь на лошади?  
— Да, конечно. Но только было это уже очень давно.  
— И вам понравилась верховая езда?  
— Очень.  
— Давайте-ка чего-нибудь перекусим и немного прокатимся на автомобиле.

— На автомобиле?  
— Да, сначала на автомобиле, а затем на лошадях. Здесь неподалёку отдаются напрокат лошади.

— Чудесно! — воскликнула Лотта, но тут же спохватилась: — Но у меня нет амазонки и...

— Невелика беда, — перебил Навроцкий. — Сядете бочком в дамское седло — и вся недолга.

Они вернулись в дом и прошли в столовую, где Маша напоила их чаем.

Часа через два верхом на карих кобылках, похожих как две капли воды, они поднялись по склону Поклонной горы и, полюбовавшись видом Петербурга, плавающего в мареве знойного дня, пустились вскачь назад, к озёрам Осинной рощи. Здесь, пробираясь через заросли по неторной лесной тропе, они наткнулись на одинокую заброшенную могилу. Покрытый мхом надгробный камень покосился и ушёл в землю. На той его части, что ещё возвышалась над землёй, кое-где можно было различить съеденные временем буквы. Навроцкий соскочил с лошади и счистил перчаткой мох, под которым обнажилась надпись:

*Когда меня не было, я был свободен;  
Когда родился — попал в плен человеческих страстей;  
Когда умер — вновь обрёл свободу.*

— Кто же был этот философ?.. — сказал в задумчивости Навроцкий.

- Как странно... — в тон ему проговорила Лотта.
- Что именно?
- Для чего нужна свобода после смерти?
- Гм... Речь здесь, пожалуй, идёт не столько о свободе после смерти, сколько о несвободе при жизни.
- А вы верите в загробную жизнь?
- Нет.
- Но если нет загробной жизни, то нет и свободы, о которой говорится в этой сентенции на камне.
- А почему свобода непременно должна быть?
- Но ведь все к ней стремятся. Нельзя же стремиться к чему-то невозможному — это было бы глупо.
- Человек несовершенен, и ожидать от него только разумных устремлений не имеет смысла. Он мечтает хотя бы приблизиться к идеалу свободы, но идеал недостижим. Вернее, достижим, но уже после смерти, когда кончается сама жизнь.
- Значит, абсолютная свобода — это смерть, небытие? Кажется, именно это и хотел сказать наш философ... Но, может быть, он верил в загробную жизнь?
- Должно быть, верил. Что ж с того?
- Лотта вопросительно подняла брови.
- Верить можно во что угодно, но ведь картина мира не меняется в зависимости от нашей веры, — сказал Навроцкий.
- Но если свобода возможна только после смерти, то есть когда её нельзя ощутить, не значит ли это, что она и вовсе не существует в природе, что это всего лишь отвлечённое понятие, плод нашего воображения?
- Навроцкий улыбнулся, пожал плечами, немного помолчал, потом серьёзно сказал:

— Это верно, люди стремятся к свободе. Но часто они выбирают неправильный путь. Ради собственной свободы они отнимают свободу у других. Чтобы сохранить отнятое, они прибегают к разного рода ухищрениям и, как воры, трясутся над украденным добром, и тогда свободы у них оказывается меньше, чем было прежде.

— У каждого свой путь к свободе?

— У каждого свой путь к смерти.

Лотта взглянула на Навроцкого, увидела его улыбающиеся, окружённые тонкими морщинками глаза и не могла понять, шутит он или говорит серьёзно.

— А как же страсти? — спросила она.

— А что — страсти?

— Они и в самом деле лишают человека свободы?

— У человека нет полной свободы. Но страсти умаляют и ту, что есть, делая человека зависимым. Ведь ему приходится беспрестанно искать способы их удовлетворения.

— Значит, поборов страсти, можно стать более свободным?

— Выходит, что так.

— Но возможен ли человек без страстей?

Навроцкий обернулся к Лотте и увидел устремлённые на него серьёзные глаза. Пытливость её ума решительно направила ему.

— Человек без страстей никак невозможен, — сказал он весело. — А посему давайте-ка напоследок пустим лошадей карьером да прокатимся с ветерком. А потом поедem обедать. У меня страсть как разыгрался аппетит...

Он помог ей сесть на лошадь и, вскочив в своё седло, сказал:

— Впрочем, с вас довольно будет и галопа.

Выбравшись на дорогу, он пустил лошадь сначала галопом, а затем и в карьер. Он уже убедился в том, что Лотта хорошо держится в седле, но на всякий случай несколько раз оглянулся. Лошадь Лотты бежала ровным галопом, и расстояние между ними увеличивалось. Тогда, проехав ещё с версту карьером, он начал сдерживать кобылку и наконец, перейдя на спокойную рысь, дал возможность Лотте догнать его. Они поехали рядом, и он невольно загляделся на её весёлое, покрасневшее лицо и длинные светлые волосы, в которых ветер устроил маленький беспорядок...

#### 4

К обеду Навроцкий явился в столовую с какой-то книгой в руках и положил её на стол перед Лоттой.

— Это «История философии» Фридриха Кирхнера. Если желаете, можете почитать. Вам, наверное, будет интересно.

— Да, очень, — сказала Лотта, полистав книгу.

Навроцкий откупорил соломенную бутылку красного итальянского вина и, налив его в бокалы, продеklamировал:

Когда я чару взял рукой и выпил светлого вина,  
Когда за чарою другой вновь чара выпита до дна,  
Огонь горит в моей груди и как в лучах светла волна,  
Я вижу тысячу волшебств, мне вся вселенная видна.

— Но, кажется, вы более одной чары себе не позволяете, не так ли? — улыбнулась Лотта.

— Верно. Во всём должна соблюдаться разумная достаточность.

— Хороший принцип. Если бы все мужчины его придерживались...

Они немного отпили из бокалов.

— Но после одной чары, увы, ни в груди не горит, ни вселенной в глазах, — сказал, смеясь, Навроцкий.

— Тогда выпейте вторую, только осторожнее. Я слышала, что автор этого перевода из Хайяма уже после первой чары свирепеет.

— Вы читали Бальмонта?

— Кто же его не читал?

— Да, женщины от него без ума. Многие даже красят волосы в рыжий цвет, под его шевелюру. К тому же, говорят, он знает двадцать иностранных языков. А вам он нравится?

Лотта сделала неопределённый жест головой и плечами.

— Так, кое-что... Из русских поэтов мне больше по душе классики: Пушкин, Лермонтов, Тютчев...

— Тютчев?

— Да.

Лениво дышит полдень мглистый;

Лениво катится река;

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака...

— Да, замечательно... Красиво и просто... Признаюсь, и у меня душа не лежит к декадентам. Однако у Бальмонта тоже есть простое:

Чуть бледнеют янтари  
Нежно-палевой зари;  
Всюду ласковая тишь;  
Спят купавы, спит камыш.

Задремавшая река  
Отражает облака;  
Тихий, бледный свет небес;  
Тихий, тёмный, сонный лес.

В этом царстве тишины  
Веют сладостные сны;  
Дышит ночь, сменяя день;  
Медлит гаснущая тень.

В эти воды с вышины  
Смотрит бледный свет луны;  
Звезды тихий свет струят;  
Очи ангелов глядят.

— Браво! — похлопала в ладоши Лотта. — Кажется, это стихотворение из хрестоматии Шалыгина?

— Возможно.

— Это совсем как у нас в Осинной роще по вечерам: и бледный свет луны, и звёзды... Вот только ангелов не видно.

— Ну почему же не видно ангелов? — улыбнулся Навроцкий. — Один из них сидит в эту минуту передо мной.

— Я вовсе не ангел... Если уж сравнивать меня с кем-нибудь крылатым, я... бледный, незащищённый мотылёк...

— Вы недооцениваете себя. Впрочем, мы увлеклись поэзией, а наш обед стынет.

Они выпили ещё вина и молча закончили обед.

— А славно мы сегодня проехались верхом, — сказал Навроцкий, раскуривая сигарку.

— Да, хорошо... И не только проехали, но и пофилософствовали у камня.

— Вот какова страна Россия! Здесь философы на дороге валяются.

Лотта взглянула на князя с лёгким упрёком.

— Гм... Прошу прощения... Шутка, пожалуй, и впрямь неудачная.

Лотта улыбнулась.

— А как вы смотрите на то, чтобы нам съездить на недельку на вашу родину? — спросил Навроцкий. — Там на дядюшкиной даче превосходная рыбалка и очень тихо.

— О, это было бы прекрасно! — обрадовалась Лотта. — Я сама хотела вам это предложить, но не решалась.

— Кстати, как вы распорядились домом вашей матушки? — полюбопытствовал Навроцкий.

— Дом этот совсем маленький и давно нуждается в ремонте, но одна наша знакомая, аптекарша, недавно сдала его и высылает мне деньги за аренду.

— Чудесно. Так едем?

— Едем.

— Завтра?

— Хоть сейчас.

— Отлично. Тогда собирайте ваши вещи и едем.

— Сейчас?

— Да.

— Вы шутите?

— Нет.

— Но я пошутила, сегодня уже поздно. Лучше ехать завтра утром.

— Что ж, решено: завтра утром после завтрака!



Не успели Навроцкий и Лотта позавтракать и покинуть столовую, чтобы начать собираться в дорогу, как за окном послышался стук мотора. Навроцкий отдернул занавеску и увидел автомобиль, от которого к калитке направлялся неизвестный господин. Вскоре голос незнакомца долетел со двора:

— Князь дома? Передайте ему, что его желает видеть Маевский.

— Ага, — отвечала Маша.

Не дожидаясь её появления, Навроцкий вышел на крыльцо и действительно увидел перед собой Маевского. Произшедшая в поручике перемена поразила его. Ещё недавно пышущий здоровьем блестящий молодой человек, красавчик и франт, превратился в уродца. Лицо его было испорчено шрамами. Прежнее лёгкое прихрамывание сменилось сильной хромотой, справляться с которой ему помогала трость. Вместо привычного кителя на нём был светлый штатский пиджак. Весь облик поручика говорил Навроцкому, что перед ним стоит несчастный человек. Он пригласил гостя к себе и предложил ему сигару. Маевский охотно её раскурил.

— Как видите, мне немного не повезло, — сказал он, сделав движение рукой в направлении лица.

— Я слышал, что вы попали в аварию под Варшавой.

— Да. И утробил мой гоночный автомобиль. Пришлось его выбросить.

— Однако вам очень повезло в том смысле, что вы сами остались живы.

— Да, вот остался... Слава богу... Только вот это... — Он дотронулся пальцем до своего изуродованного лица. — Вы, вероятно, слышали истории, которые обо мне рассказывают?

— Кое-что слышал...

— Не верьте. Половину перевирают...

Маевский затянулся, выпустил клуб дыма и, поднявшись со стула, заходил по комнате. Он заметно нервничал, сигара как-то не вязалась с его взвинченным видом, но табачный дым, похоже, успокаивал его.

— А приехал я к вам по делу... — сказал он, шагая взад и вперёд от окна к двери и попыхивая сигаркой на манер папиросы.

— Да, кстати... — перебил его Навроцкий. — Как складывается у нас ситуация с железной дорогой?

Поручик резко повернулся на каблуках.

— За этим я к вам и приехал, князь. Делайте со мной что хотите, но деньгам вашим — труба. И я обманут точно так же, как вы. Обмануты мы оба, а виноват во всём, разумеется, я один. Я доверился этим людям и впутал в это дело вас. Не могу себе простить...

Рука Маевского задрожала, дымок от сигарки стал сбиваться в рваные комочки. Навроцкий хмуро молчал. Он уже давно ожидал услышать от поручика что-нибудь в этом роде.

— К сожалению, я не могу назвать вам имена лиц, причастных к обману, — продолжал Маевский, взяв себя в руки. — Мне ещё предстоит уточнить некоторые детали. Многое мне самому пока неясно. Я не хочу, чтобы подозрение пало на людей, ни в чём не повинных. Да и лишний шум вокруг моего имени мне тоже не нужен. В любом

случае, как только я всё выясню, я немедленно вам сообщу. Вы согласны?

— Ничего другого, как только согласиться, мне и не остаётся, — развёл руками Навроцкий. Он почему-то испытывал к Маевскому прежнюю симпатию и всё ещё доверял ему. Проводив его до автомобиля, он по-дружески пожал ему руку. — Держите меня в курсе, Константин Казимирович. И как только сможете указать этих лиц, прошу сообщить мне их имена. Мы с вами встретимся и решим, что делать дальше. Я уверен, что вдвоём мы что-нибудь придумаем.

— Обещаю вам это, князь.

— И будьте осторожны! — крикнул Навроцкий, когда автомобиль уже тронулся.

Не разобрав его слов из-за шума мотора, Маевский обернулся и с какой-то то ли удалью, то ли отчаянностью в жесте махнул ему рукой.

## 2

Багаж и провизия были уложены в автомобиль. Лотта сбегала в дом за какой-то забытой вещицей, и они тронулись в путь. Путешествию благоприятствовала безветренная, нежаркая погода. Изредка Навроцкий останавливал автомобиль у моря, они выходили на берег и садились на песчаную дюну пить чай.

Перед вечером воздух нагрелся и словно застыл. Стало душно. Поникли, будто задремали, деревья. Смолкли и куда-то исчезли птицы, попрятались насекомые, спешил в укрытие запоздавший шмель. Всё замерло и затихло, точно в ожидании чего-то страшного и неотвратимого. И лишь мотор «Альфы», ровно и безмятежно урча в своём

механическом неведении, верста за верстой приближал пассажиров к конечной цели их путешествия. К ночи, на подъезде к Борго, подул тягучий и липкий, как сгущёнка, ветер. Небо затянулось грузными, неопрятными тучами и наконец пролилось холодным оловянным дождём. Навроцкий выскочил из автомобиля, чтобы поднять верх, но механизм заклинило, верх не поднимался, и оставшийся путь им пришлось проделать под хлётским, беспощадным ливнем. Удары грома сотрясали небо и землю, и казалось, весь мир вот-вот рассыплется на мелкие куски. Когда они, укрываясь багажом, подбегали к дому, яркая вспышка высветила их сторбленные фигуры, и почти одновременно где-то поблизости раздался оглушительный треск, будто сказочный великан одним ударом расщепил сотню могучих дубов. Как только они вошли в дом, Лотта крепко прижалась к Навроцкому. Она была так напугана, что не могла говорить. Опасаясь за её здоровье, Навроцкий поспешил растопить камин. Переодевшись в сухое, они устроились у огня на небольшом диванчике и с наслаждением стали наблюдать, как языки пламени с жадностью поглощают волокнистые тела поленьев. В доме было прохладно и сыро, Лотта всё ещё слегка дрожала под пледом, но тепло от камина начинало успокаивать и согревать её. Навроцкому казалось, что вслед за ударами грома губы её шепчут какую-то молитву. Вспомнив о дядиных запасах, он отправился в погреб и вернулся с бутылкой рома и консервами. Вино и закуска сделали своё дело: Лотта перестала дрожать, щёки её порозовели, в глазах появился ровный, спокойный свет. Навроцкий чувствовал, как тепло от пищи и вина, медленно переливаясь из чрева в конечности, наполняет его сладостным умиротворением. Гроза, беспорядочно кружась над домом, над озером,

над лесом, уходила неохотно, точно буйн, не желающий покинуть трактир. Они сидели молча, прислушиваясь к громовым ударам и сухим, щёлкающим звукам в камине. Время от времени Навроцкий подбрасывал в огонь поленья и расталкивал их кочергой.

— Вот ведь штука... — сказал он задумчиво. — В прошлом году, когда я впервые приехал сюда, была такая же гроза с проливным дождём, и я точно так же промок до нитки. — Он помолчал и прибавил: — Впрочем, не всё было так же, как сейчас. Тогда я приехал совсем один, а сегодня вот, к счастью, с вами. Одному мне было бы теперь не очень радостно...

Он вдруг почувствовал, что голова Лотты упала к нему на плечо. Усталость с дороги и впечатления прошедшего дня, по-видимому, сморили её. Несколько минут он сидел неподвижно, чтобы не тревожить её сон, потом, осторожно высвободившись, подложил ей под голову подушку. В то мгновение, когда лицо его нечаянно приблизилось к её лицу, она открыла глаза. В полусне ей показалось, что Навроцкий хочет её поцеловать. Она улыбнулась так, будто давно ждала этого мгновения, подбородок её и губы потянулись к его губам, и он, немного смущённый этим квипрокво, встретил её приоткрытые уста радостным, нежным поцелуем. В глубине души он знал, что рано или поздно это должно было произойти, и теперь, когда случай помог ему убедиться в том, что его тайное желание не совсем несбыточно, он чувствовал себя так, будто после неизвестной продолжительной болезни, державшей в напряжении его организм, наступило внезапное выздоровление. Он был счастлив.

Одарив его поцелуем, Лотта снова заснула. Он постлал ей в спальне наверху, бережно отнёс её туда и,

посидев у огня, пока догорали последние угли, устроил себе на полу место для сна. Ещё долго лежал он с сигаркой, наслаждаясь возможностью вытянуть ноги, теплом, тишиной, сознанием того, что там, наверху, спит она. И впервые его охватило то редкое блаженство, когда человеку хорошо несмотря ни на что: ни на причинённое ему зло, ни на преследующие его неудачи, ни даже на грозящую ему смерть...

### 3

Утром Лотта проснулась из-за шума где-то наверху: как будто кто-то бегал и возился на крыше. Она открыла окно и увидела застывшую в оцепенении виновницу своего пробуждения: из-под конька крыши на неё испуганно глядела белка. Лотта замерла, чтобы не спугнуть зверька, но белка вздрогнула, несколько раз щёлкнула диким гортанным звуком и, перебирая цепкими лапками по брёвнам, исчезла за краем стены. Лотта потянулась, набрала в лёгкие изрядную порцию свежего, прохладного воздуха, вспомнила вчерашний поцелуй и улыбнулась про себя: «Что это? Начало новой жизни?» Одевшись и старательно расчесав волосы, она спустилась вниз и встретилась на веранде с Навроцким, который только что вернулся с короткой прогулки. Пожелав ей доброго утра, он был сдержан и немногословен, но во взгляде его она заметила какую-то особую теплоту.

— Совсем забыл — вот... — сказал он, спохватившись, и протянул ей, точно цветок, какой-то серый продолговатый предмет.

— Что это?

— Это чёртов палец. Я нашёл его на берегу.

— Чёртов палец? — удивилась Лотта, поворачивая в руках поблёскивающую на солнце корявую трубочку.

— Да. Помните вчерашнюю грозу и этот страшный удар молнии, которая едва не убила нас? Чёртов палец — её продукт.

— Её продукт?! — ещё более удивилась Лотта. — Но каким же образом?

— О, на этот счёт существует даже легенда.

— Легенда? Расскажите!

— Что ж, извольте...

Они вышли на крыльцо, уселись на деревянных ступеньках на слабом утреннем припёке, и Навроцкий начал рассказывать:

«Известно, что Творец был разгневан на Адама и Еву, в особенности на Еву — жену нашего прародителя, и изгнал их из рая. Долго после этого не хотел он и слышать о людях, но вот прошло время, и решил он повторить опыт: сотворить женщину идеальной красоты, доброты и ума — не чету Еве.

Выбрал он для неё лучшее место в раю, посадил там чудесные растения, дающие самые питательные, небывалого вкуса плоды, устроил удивительные, ласкающие слух нежным журчаньем родники с прозрачной, как эфир, водой. Солнца, тени, лёгкого ветерка, тёплого дождя — всего там было довольно и в меру. И как только становилось жарко, облачко прикрывало солнце, веял приятный ветерок и брызгал мягкий, освежающий дождик. Когда же становилось прохладно, солнце вновь выглядывало из-за облачка, ветерок стихал и дождик прекращался. И все эти усовершенствования должны были услаждать задуманное им доньше невиданное творение.

Когда же всё было готово, довольный своей затеей Творец взялся за работу и трудился не шесть дней, которые

ему понадобились, чтобы сотворить мир, а целых сорок дней и сорок ночей, пока наконец тяжкий труд его не увенчался успехом. На сорок первый день явилась миру женщина необычайной, поистине божественной красоты, идеальная и телом, и умом, и душой. Она была так прекрасна, что если бы её увидел смертный, то не в силах был бы отвести взора и, не двинувшись с места, умер бы от голода и жажды. Да и сам Творец так залюбовался ею, что ещё сорок дней и сорок ночей в умилении глядел из-за облачка на изумительный плод трудов своих, раздумывая о том, как же назвать ему столь совершенное существо. И не было ни одного имени, которое показалось бы ему достойным её красоты. Даже самые благозвучные, нежные имена представлялись ему грубыми и уродливыми, когда он примерял их к облику этого несравненного создания. И тогда подумал он о самой отдалённой во вселенной звезде. Звезда эта, Эо, излучала дивный свет и была так далека, так недостижима, что даже он, Творец, осматривая свои владения, не всегда успевал добраться до неё. И назвал он тогда сотворённое им чудо в честь той звезды — Эо. С великой печалью вспомнил он о том, что есть у него и другие дела, и как ни грустно было ему покидать Эо, того требовал долг. И он удалился.

Тем временем о чудесном деянии Творца прознал Чёрт. И не находил он себе места от любопытства и хотения увидеть всё собственными глазами. Ему не терпелось высмеять и осквернить сработанное Творцом, а потому задумал он во что бы то ни стало проникнуть к Эо. Улучив момент, нарушил он строгий запрет Творца и прокрался в рай. И как же он был поражён, когда, обыскав весь рай, в самом укромном месте нашёл сложенное из листьев гигантского папоротника скромное жилище Эо, когда уви-



дел её саму во всей её божественной прелести! Ничего прекраснее и совершеннее он никогда не зрил. И стали душить его бесконечная зависть к Творцу и злоба от бессилия сотворить что-либо подобное. И начал он тогда помышлять о том, чтобы хоть в чём-то превзойти Творца. Но как ни металась его чёрная мысль, как ни кипела ядовитой желчью злотворная душа, измыслить он ничего не мог. И вдруг на звериной морде его зазмеилась улыбка: „Сколь же глуп Творец! Ведь если он сотворил женщину, то следовало бы ему подумать и о мужчине, ибо женщина без мужчины — бесполезный, неопылённый цветок“. И дерзкая мысль закралась ему в голову: „Если у Эо нет мужчины, то почему бы этим мужчиной не быть мне, Чёрту? От нашего соития может родиться на свет нечто доселе невиданное, непосильное даже для Творца: безупречное и прекрасное, как Эо; премудрое и коварное, как я; неопостижимое и вечное, как вселенная; непревзойдённое и законченное, как ничто!“ И закружилась у него от этой мысли голова, и поднялась на спине шерсть от вожделения, от дикого желания овладеть Эо. Когда же Эо вышла на берег чуждой, благодатной речки и склонилась над её хрустальными струями, любуясь на плавающих в них рыб, Чёрт, не в силах более сдерживать плотское возбуждение, подкрался к Эо и протянул к её лону гадкую когтистую лапу...

Но не знал Чёрт того, что Творец слишком дорожил Эо, чтобы оставить её без охранителей. Прозные, могучие молнии зорко следили с небес за всем, что делается вокруг его чудесного творения. И, как только чёртов палец потянулся к девственному лону Эо, одна из них в мгновение ока поразила его, превратив в стеклянный огарок. И невзвидел Чёрт белого света, взвыл от боли на всю вселенную. И, услышав вопль его, явился Творец и сказал так:

— Тебе мало того, что я тебя терплю, так ты ещё посмел посягнуть на самое дорогое, что есть у меня! Отныне не будет тебе дороги в рай! Ступай к смертным и там, среди них, утоляй похоть свою, поелику, ведаю, без меры любодееен ты. Но знай: коль скоро одолеет тебя вожделение, приглянется тебе какая красавица, протянешь ты к ней свою безобразную лапу — вмиг молния сожжёт тебе перст, и возопишь ты от боли так, что по тверди прокатится гром!

И бродит с тех пор Чёрт среди людей, и помнит он о словах Творца, но так уж сластолюбив он, что даже страдание не может остановить его. И когда, охваченный похотью, тянет он лапу к какой-нибудь пригожей девице, беспощадная молния мгновенно срывается с небес и сжигает ему палец, и вопит он от боли так, что по всему небу грохочет гром. Но залижет Чёрт рану — и вырастет у него новый палец, и снова отправляется он на поиски красавиц, хоть малую толику напоминающих Эо. Но недосыгаема для него Эо, не может он осквернить даже подобие её, ибо нет на всей планете женщины, подобной ей. Те же красавицы, коими, превозмогая дикую боль и адское мучение, всё же овладевает Чёрт, увы, обречены на погибель. Одни гибнут тут же, сгорая под ударом молнии вместе с чёртовым пальцем, другие кончаются в страшных мучениях, ибо растущее в них чёртово семя разрывает их плоть на куски».

Навроцкий кончил рассказ. На крыльце становилось жарко, но с озера очень кстати дохнул мягкий освежающий ветер, слегка взволновавший волосы Лотты.

— Значит, вчера, когда молния чуть не убила нас, Чёрт протягивал свою ужасную лапу ко мне? — проговорила она в задумчивости.

— Это значит, что вы самая красивая девушка на земле, — улыбнулся Навроцкий.

— Но, увы, не во вселенной... Ведь там самая красивая — Эо?

— Что ж, быть второй после любимицы Творца... Можно ли мечтать о лучшем жребии?

— А если серьёзно? Что это за чёртов палец такой?

— Ну, если верить науке, это сплавленные молнией песчинки — кристаллы кварца. А температура плавления кварца около тысячи трёхсот градусов Реомюра. Молния, как видите, *чертовски* горяча.

— Чертовски... Как интересно! И жутко... Можно, я сохранию его на память?

— Сделайте одолжение, он ваш. Говорят, он приносит удачу...

— Удачу? Как мило! Это именно то, чего всегда недостаёт...

Тщательно осмотрев чёртов палец и спрятав его в дорожный чемоданчик, Лотта с энтузиазмом занялась приготовлением завтрака из привезённой ими провизии. Навроцкий, обследуя дом и прилегающую к нему территорию, слышал, как из окна кухни доносилось её пение на чужом ему языке. Между тем он не без удовольствия убедился в том, что всё было в порядке и на своих местах: лодка лежала перевернутой на берегу, в дровяном сарае стоял штабель напиленных поленьев, в бане благоухало особым банным духом, несколько берёзовых веников висели в предбаннике на стене. Пётр Алексеевич, которому Навроцкий позволил пользоваться дачей, когда тот пожелает, добросовестно за ней присматривал, и лишь двор успел немного зарастить со времени последнего приезда сюда полковника. Навроцкий нашёл в сарае косу и принялся

методично скашивать траву вокруг дома, иногда останавливаясь и прислушиваясь к пению Лотты. Через полчаса она выглянула в окно и позвала его завтракать.

После завтрака они перевернули лодку, под которой в изобилии ползали напугавшие Лотту уховёртки, столкнули её в воду и поехали кататься по озеру. На том самом месте, где год назад он впервые увидел Лотту, Навроцкий перестал грести, поднял над водой вёсла и припомнил подробности прошлогодного происшествия. «Потребовался почти год, чтобы она переместилась с того берега в мою лодку, а ведь здесь и тридцати саженей не будет», — подумал он, невольно улыбнувшись. Ему захотелось немедленно признаться ей во всём, но он не отважился, опасаясь, что это может смутить их обоих. Лотта же заметила и то, как он всматривался в берег, будто что-то вспоминая, и то, как затем усмехнулся своим мыслям.

— Я здесь рисовала в прошлом году, — кивнула она в ту сторону, куда он смотрел. — Вон там. — Она направила на него пристальный взгляд, но тут же закрыла глаза и подставила лицо солнцу.

Навроцкий почувствовал, как под этим взглядом щёки его потеплели, может быть, даже покраснели, и был благодарен ей за то, что она закрыла глаза. Лодка, словно дирижабль, плавно скользила среди дрейфующих вокруг неё облачков, мерно поскрипывали уключины, ритмично будоражили зеркальную гладь вёсла, и ему хотелось насладиться каждым мгновением этого волшебного парения. С жадностью вглядываясь в светлое лицо Лотты, будто вобравшее в себя в эту минуту безмятежность и красоту окружающего их озёрного мира, он думал о том, что переживает лучшие минуты жизни.

— А вы и вправду очень красивы, — сказал он тихо, почти шёпотом.

— Это не важно, — отозвалась Лотта, не открывая глаз.

— Не важно? Отчего же?

— Одни люди рождаются некрасивыми, другие — красивыми, и в этой случайности нет ни вины их, ни заслуги. В человеке важны его душевные качества, его стремление к внутреннему совершенству, а не внешние черты. Если человек подавляет в себе всё, что есть в нём низменного, развивает возвышенное, лучшее, тогда он и красив.

— Это так... А всё ж таки я не могу не любоваться вашим лицом.

— Любуйтесь, пожалуйста, — повела плечами Лотта. — Но прошу вас, не называйте меня красивой. Я этого не люблю. Обещаете?

— Обещаю.

Она открыла глаза.

— У нас здесь поблизости была маленькая дачка. Мы провели на ней почти всё прошлое лето, но осенью мама её продала, — сказала она, сменив тему разговора. — Помните, мы встретили вас по дороге сюда и подвезли до поворота?

— Помню.

Она снова закрыла глаза.

— Здесь так хорошо и покойно...

— Не могу взять в толк... — сказал Навроцкий.

— Что?

— Я ведь мог продать эту дачу, когда мне нужны были деньги, а мне и в голову это не пришло. Я просто забыл о ней.

— Хорошо, что это не пришло вам в голову!

— Да, хорошо... — Он положил вёсла в лодку и растянулся в ней во весь рост.

Так, глядя в небо и слушая звуки леса, они и проблаженствовали в лодке почти до самого обеда, а после устроили маленький пикник на полянке перед домом. Лотта сварила кофе и постлала на траве скатерть. Они пили кофе и смотрели на озеро, на ныряющих за добычей чомг, на волнующийся камыш, на блики, играющие на поверхности воды, а потом долго лежали и молча взирали на небо. И вдруг прямо у них над головами — всего сажень в трёх, не более, — точно два белых ангела, пролетела пара лебедей. Две крупные птицы, вытянув лапы и шеи, расправив мощные крылья, казались огромными фантастическими фигурами. Полёт их сопровождался тяжёлым, размеренным уханьем вспарывающих воздушную толщу крыльев, и звук этот усиливал впечатление необычности, грандиозности происходящего. Изумлённые этим зрелищем Навроцкий и Лотта вскочили и провожали лебедей глазами, пока те не скрылись за лесом.

— Потрясающе! — воскликнул Навроцкий. — Я никогда не видел ничего подобного.

— И я тоже. Я должна это нарисовать!

Они снова легли в траву, но долго не могли успокоиться.

— Такое можно увидеть только раз в жизни, — сказала Лотта.

— Пожалуй, ещё реже.

— Да, пожалуй... Если бы мы сюда не приехали, мы, верно, не увидели бы этого никогда... И если бы не лежали сейчас на этом месте... Помните, как у Бальмонта: «И над озером пение лебедя белого, точно сердца несмелого жалобный стон»?

Она закрыла глаза.

— Твоё письмо действительно спасло мне жизнь, — вдруг сказал Навроцкий, не замечая, что перешёл на «ты».

— Как же это случилось? — спросила она мягко.

И он рассказал ей о том, как в роковой, решающий момент заметил её письмо у себя на письменном столе. Она выслушала его внимательно, не перебивая, продолжая лежать с закрытыми глазами, лишь уголки её губ чему-то улыбались.

— Знаешь, — сказала она немного погодя, — один из моих предков сражался в Испании, в армии Наполеона, и привёз оттуда жену-испанку. До моей матери все женщины в нашем роду были черноволосыми.

— Стало быть, ты чуточку испанка?

Навроцкий смотрел на её волосы, вобравшие в себя солнечный свет, словно тончайшие, прозрачные струйки родниковой воды, худые плечи с по-девичьи трогательно выдающимися ключицами, юное светлое лицо, весело подрумяненное на щеках загаром, небольшие груди, молодое и пружинисто, точно цветы подсолнуха, обратившиеся к солнцу, узенькую талию, плавно переходящую в созданные для любви полусферы бёдер, и тихое, благоговейное восхищение этой нетронутой красотой, прельстительной, влекущей, внезапно сменилось в нём томительным, нестерпимо острым чувством мужского восторга. Он медленно приблизился к ней и осторожно поцеловал в губы, на которых ещё оставались запах кофе и сладость пирожного. Она лишь на мгновение приподняла веки, обрамлённые вздрагивающими тёмными ресницами, и, зажмурив глаза, робко и неумело обняла его. Ещё через минуту, уступая его порыву, она чуть приоткрыла влажную, ароматную мягкость горячих от солнца губ, и неясное, не знакомое ей чувство, пугающее и сладостное, пронизывающее до боли и восторга, охватило её затрепетавшее существо. И когда поцелуи его начали обжигать кожу, когда она почувствовала, что уже не властна над своими губами, лицом,

телом, когда нечто парализующее волю, страшное, роковое подхватило её, как ураган, и понесло в какую-то таящую опасность *terra incognita*, — в висках у неё вдруг отчётливо и властно зазвенело, словно чья-то стерегущая рука ударила в колокол: «Не сейчас! Не сейчас! Не сейчас!» Но поднявшийся в ней вихрь стеснил дыхание, лишил её, точно инквизитор, языка и речи, вырвал с корнями голосовые связки. Ей казалось, что ещё мгновение — и этот вихрь высушит в ней остатки сознания. Лишь из какой-то неведомой глубины разум робко, но настойчиво твердил ей, что уж коли сплетена она из живой ткани, коли проснулась в ней дремавшая ранее чувственность, надобно обуздать её, научиться управлять ею. Иначе как жить? Как быть человеком? И когда в результате этой внутренней борьбы губы её слабо прошептали: «Нет, не сейчас...», когда она всё ещё не знала, что случится с ней через минуту, за домом, со стороны крыльца, слышались шаги и стук в дверь.

#### 4

— Вижу, стоит автомобиль у тропки... — говорил Пётр Алексеевич подошедшему к крыльцу Навроцкому. — Ну, думаю, никак князь пожаловал. А я так... на пару часиков заехал... проверить, всё ли здесь чин чинном.

Навроцкий предложил полковнику немного поудить, на что тот охотно согласился. Захватив удочки, они отправились на берег. Уже через четверть часа в ведре у них плескалось несколько крупных краснопёрок, из которых Лотта тут же приготовила уху. Навроцкий принёс из погреба вина — и обед был готов.

— Выхожу в отставку, — говорил Пётр Алексеевич за столом. — Останусь жить здесь, в Финляндии... Привык, знаете ли... Да и ехать некуда, семьи у меня нет. Жена



давно умерла, а сын в японскую войну погиб, царство им небесное. — Он перекрестился.

— А в Петербурге у вас есть кто-нибудь? — спросил Навроцкий.

— Родственников нет, а есть старый приятель Платон Фомич Милосердов. Мы с ним ещё в Малороссии вместе послужили. Исправляет он в Питере должность судебного следователя и, надо сказать, очень благополучно... уважаемый человек...

— И часто вы бываете в Петербурге?

— Нет, не часто. Не люблю я этой столичной суеты, привок к гарнизонной жизни, к Финляндии, к тишине...

Пётр Алексеевич время от времени с заметным любопытством поглядывал на Лотту и, когда она вышла за чем-то в кухню, сказал:

— А красивая у вас панночка. И кем же она вам приходится?

— Невестой, — не сразу найдясь что ответить, выпалил Навроцкий. — Ну, во всяком случае собираюсь сделать ей предложение, — поправился он.

— Добре, добре, — закивал головой полковник. — Дело это хорошее, да и девушка, видно, славная. А вам, князь, уже пора жениться-то. Пора...

В комнату вошла Лотта, и они замолчали.

— А что же это мы про вашего дядю забыли? — сказал чуть погодя полковник. — Нехорошо. Надо за него выпить. Сидим тут в его доме...

— Вы правы, Пётр Алексеевич. И между прочим, пьём его вино...

Они выпили за покойного дядю, а после обеда, немного поболтав с полковником за чаем, Навроцкий повёз его в Борго. Лотта вызвалась ехать с ними и, после того как

они попрощались с Петром Алексеевичем, попросила князя отвезти её к родному дому, где уже почти полгода как не бывала. Пока она ходила в дом и говорила несколько минут с жильцами, Навроцкий терпеливо шагал с сигарой вокруг автомобиля и время от времени постукивал ботинком по крышкам. Затем они навестили аптекаршу, у которой Лотта задержалась несколько дольше, и наконец поехали в кофейню, где познакомились почти год назад. Здесь Навроцкий, под действием нахлынувших на него воспоминаний, собрался с духом и рассказал, при каких обстоятельствах увидел её впервые на озере и как был сконфужен и в то же время обрадован, встретив её в тот же день в этой кофейне. Выслушав признание князя с лёгкой краской на лице и с минуту помолчав, Лотта вдруг негромко рассмеялась, и он снова увидел чудные, давно им примеченные ямочки на её щеках.

Когда они выходили из кофейни, к ним подошёл невысокий, но, судя по пронизательному взгляду и раскованной походке, очень уверенный в себе молодой человек. Он приподнял белый студенческий картуз и заговорил с Лоттой по-шведски. Навроцкий перешёл улицу, сел в автомобиль и, закулив сигару, с интересом наблюдал, как они о чём-то оживлённо беседуют, изредка поглядывая в его сторону. Ему казалось, что говорят о нём. Вскоре молодой человек взял Лотту за руку и, видимо, начал в чём-то убеждать. Навроцкий чувствовал, как в нём нарастает какое-то раздражение, начал искать ему объяснение и наконец понял, что это не что иное, как ревность.

Лотта вернулась с виду чем-то немного раздосадованная, но быстро пришла в прежнее благодушное настроение.

— Это друг детства, — объяснила она, хотя Навроцкий ни о чём её не спрашивал. — Мы жили когда-то по соседству.

Она взяла его под руку, слегка прижалась к его плечу, будто сидели они не в автомобиле, а на скамье в парке слушали соловьёв, и, взглянув на него как-то особенно ласково, поцеловала в щёку.

## 5

Две недели, проведённые на даче под Борго, пролетели для Навроцкого и Лотты незаметно. Рыбалка, чтение, прогулки пешком и на лодке, душевные разговоры — вот что всё это время занимало наших героев. К концу второй недели Навроцкий начал думать, что на земле всё-таки есть рай, и этот рай находится не где-нибудь, а здесь, на его даче вблизи Борго. «Если счастье возможно, то что же это, коли не оно?» — часто приходило ему в голову. Но нужно было возвращаться: его мог разыскивать Маевский. После нескольких откладываний день отъезда был наконец выбран. Набрав в лесу полную корзину сладких ягод черники и гонобобеля, наловив в озере рыбы, они отправились в обратный путь.

— Так хорошо, как здесь, там, в Осинной роще, уже не будет, — вздохнула с грустью Лотта, когда они садились в автомобиль. — Место покойнее и тише трудно себе представить.

Навроцкий чувствовал то же самое. Ему вдруг припомнился господин Кутин, с которым ему довелось беседовать в петербургском поезде, когда он возвращался из Финляндии в прошлый раз.

— Да, ты права... Вот только почему-то здесь, в Финляндии, много террористов и революционеров прячется. Им, верно, тоже хорошо и покойно здесь, — пошутил он.

— А мы, увы, не террористы, — подхватила Лотта его шутку, — нам пора возвращаться.

— Да. Но почему бы нам не приехать сюда в другой раз?

— И то правда. Почему бы не приехать сюда ещё?..

Выехав рано утром, к вечеру они были уже в Осиной роще. Проезжая через Левашово, Навроцкий зашёл на вокзал и телефонировал Маевскому, но отставного поручика, как обычно, не оказалось дома...

## **Глава восемнадцатая**

### **1**

Из Борго Лотта вернулась невестой Навроцкого. Правда, известно это было лишь самому князю да полковнику Тайцеву, но Навроцкий к тому времени уже не сомневался ни в своих собственных намерениях, ни в том, что, сделай он предложение, согласие будет получено. Это согласие он легко угадывал в глазах Лотты. Однако прежде чем предложить ей руку и сердце, ему хотелось заручиться благословением матери. Зная нрав Екатерины Александровны, он понимал, что сделать это будет нелегко, но в нём уже в детстве заложено было отвращение к семейным неурядицам, душа его жаждала простых и тёплых отношений с родительницей, и надежда на то, что именно случай, когда вершится его счастье, поможет окончательно расто-

пить лёд между ним и матерью, не оставляла его. Он, однако ж, твёрдо решил, что, в случае непреклонности старой княгини, готов будет обойтись и без её родительского благословения, даже если это повлечёт за собой потерю наследства. Чтобы мать до разговора с ним случайно не узнала о его намерениях, он решил держать всё пока в тайне.

В дачной жизни Навроцкого и Лотты на первый взгляд мало что изменилось. Лотта по-прежнему обитала у себя наверху, и о каких-либо переменах в этом порядке никто из них речи не заводил. После возвращения из Борго между ними установились как будто даже более сдержанные отношения, но они продолжали говорить друг другу «ты» и обращались как близкие друзья. Впечатление это между тем было чисто внешним. Оба они явственно чувствовали, что недолго осталось им опираться на привычное основание, что вот-вот упадут они в скрытое пока от них, сладостно манящее вещество новой жизни, что ход событий определится чем-то высшим, чем-то, что сильнее их собственных желаний, и в отсрочке этого падения, в его предчаянии они, точно дети, у которых в заветной коробке спрятана шоколадная конфета, находили особое, тайное удовольствие.

Встречаясь с Лоттой за завтраком, Навроцкий целовал её в щёку и после непродолжительной беседы за столом уезжал в город. Вечером, когда он возвращался, она, как и прежде, приходила послушать его игру на пианино. Она привыкла к запаху его сигар, ей даже нравилось быть рядом, когда он курил, вдыхать исходившее от него благоухание, видеть вспыхивающие и тлеющие на конце сигары продолговатые кристаллики пепла. Она уже знала его привычки, легко угадывала его желания и с каждым днём всё

незаметнее для себя воспринимала его фигуру как органическую часть своей жизни. Иногда ей начинало казаться, что эти дни и вечера будут всегда, что вечны и печальная музыка в полумраке освещённой свечами комнаты, и терпкий аромат гаванской сигары, и мягкое, удобное кресло под ней, и стрекотание сверчка где-то в глубине дома, и немое, задумчивое покачивание липы в сумерках за окном... И в то самое мгновение, когда она ловила себя на мысли о вечности, её вдруг охватывал страх — страх, что вот-вот раздастся бой часов, зазвенит где-то церковный колокол, стукнет буря в окно — и исчезнет, развеется как дым этот зыбкий, ускользающий сон...

Навроцкому нравилось наблюдать за Лоттой со стороны, смотреть, как она рисует в саду, как ест яблоко, как при свете свечи тихо сидит в кресле и внимает его игре. Иногда ему казалось, что в каком-то далёком прошлом он уже видел это лицо, эти губы, глаза, но вспомнить, когда и где это было, не мог. И тогда он приписывал это чувство загадочным свойствам мозга, странной иллюзии, когда мы почему-то начинаем подозревать, что раньше уже переживали какое-то событие. Кто знает, быть может, она напоминала ему увиденное на какой-нибудь картине в Эрмитаже женское лицо или портрет, выставленный в витрине фотографического ателье?..

## 2

Как-то в один из погожих дней, когда находиться на воздухе бывает много приятнее, нежели оставаться в стенах жилища, Навроцкий и Лотта лежали в высокой траве и смотрели в небо. Сухой, тёплый ветер незлобно колыхал

вокруг них былинки. В душистой зелёной гуще возились и гудели сонмы невидимых насекомых. Суетливые чибисы гуляли у края леса по вытянутой пролысине и с писком что-то выискивали в обнажённой земле. Медлительные, любопытствующие кроншнепы, кивая длинными носами в сторону людей, перелетали из одного конца луга в другой. Лотта встала, поправила волосы, одёрнула платье и принялась собирать цветы для букета. Навроцкий, приподнявшись на локте, с травинкой в зубах, смотрел, как она это делает; босая, в простом летнем платье, с распушенной наполовину косой, она нравилась ему ещё больше. На краю поляны, вспугнув стайку чибисов, она остановилась, присела и стала что-то разглядывать в зарослях жёлтых цветов.

— Что там? — спросил Навроцкий.

— Иди сюда! — махнула она рукой. — Смотри, эти пчёлы словно пьяные.

Он присел подле неё. В ядовито-жёлтых бутонах и впрямь, шатаясь и падая, как студенты после попойки, ползали пчёлы.

— Они, верно, напились забродившего нектара и охмелели... Ты прежде не видела пьяных пчёл?

— Нет. А ты?

— Видел. Ещё в детстве... в нашем имении... на цветущих колючках в дальнем углу сада... Они так же смешно ползали, как эти... точно нанюхались кокаина. Некоторые вцепились в колючки лапками и дремали. Щёлкнешь по колючке пальцем — и пчела начинает медленно шевелиться, как будто со сна...

— Как странно...

Его сводила с ума эта трогательная неопытность в ней, это тихое, задумчивое «как странно», когда она чему-то

удивлялась. Он обнял её, и они снова повалились в густую траву. Он был совершенно счастлив. Кругом всё благоухало, и, хотя запахи уже не были такими свежими и тонкими, как весной, — пахло серединой лета, зрелостью трав — и многие цветы уже давно отцвели, природа по-прежнему щедро раздавала всё новые и новые дары.

— И я как будто пьяна... — тихо сказала Лотта, закрыв глаза, — пьяна от счастья.

Навроцкий положил руку на её маленькую гладкую ладонь, и они снова долго лежали, устремив взоры в нагую, лишь слегка прикрытую недолговечной материей медленно плывущих облаков синеву.

— Сегодня ночью я видела дивный сон, — сказала Лотта. — Мне приснилась бланжевая птичка с большой головкой, сидевшая на невысоком кусте. К этой птичке прилетели ещё несколько таких же птичек. Они ровнёхонько сели на ветку, точно приросли к ней, головки у них взъерошились, и на головках показались красные пёрышки. И вдруг это были уже и не птички вовсе, а цветы, красивые яркие цветы с красными лепестками. Понимаешь, они были и птичками и цветами одновременно, живыми цветами... Странно, правда?

Навроцкий достал сигарочницу, закурил.

— Знаешь, — продолжала Лотта, — иногда во сне мне припоминаются другие сны, старые, приснившиеся когда-то прежде... С тобой такое бывает?

— Гм... Думаю, что нет... Впрочем, не помню...

— Как будто есть какая-то особая память для снов, и вспоминаются они только тогда, когда человек спит...

— Что ж? Это возможно...

Он вдруг вспомнил, что пришли они сюда пострелять, вытащил из кармана «Веблей», проверил, заряжен ли бара-



бан, и протянул револьвер Лотте. Она легла на живот, указала Навроцкому на торчавший из дерева сук, прицелилась, упираясь локтями в траву, и срезала его первым же выстрелом. Затем она сделала один за другим ещё два выстрела и оба раза попала в цель.

— Достаточно, — сказала она, протягивая револьвер изумлённому Навроцкому. — Здесь так тихо... Не хочется шуметь на весь лес.

— Где ты научилась так хорошо стрелять?

— Отец научил. Он часто брал меня с собой на охоту.

— Очень мило... И из револьвера?

— Из револьвера тоже.

Навроцкий во что-то прицелился, выстрелил, но, промахнувшись, недовольно покачал головой и спрятал револьвер в карман.

— Что-то нет сегодня настроения...

Они снова легли в траву.

— Почему ты почти не пишешь маслом? — спросил он немного погодя. — Это, верно, легче, чем акварель?

— Не знаю... Я так привыкла к акварели... Возможно, когда-нибудь мне и захочется писать маслом больше... но не теперь. — Она на минуту задумалась. — Знаешь, мне нравится непредсказуемость акварели. Краски текут, живут по собственным законам, и часто приходится отказываться от первоначального замысла, подчиняться их прихоти. Но эта игра, даже борьба, с красками и цветом меня увлекает. Бывает, краски сами подсказывают мне какую-нибудь идею... Всё это трудно, но мне по душе такие сюрпризы акварели...

— И жизни тоже?

— Пожалуй...

Он вытащил из кармана брюк белый продолговатый конверт.

— Тогда угадай: что это?

— Не знаю...

Она потянулась, чтобы открыть конверт, но он остановил её.

— Если угадаешь, получишь приз.

— Приз? Какой же?

— Помнишь, когда мы были на фотографической выставке, ты сказала, что хотела бы научиться фотографировать? Так вот, я подарю тебе карманный «Кодак».

— Ой, я давно мечтаю о фотографическом аппарате! Это так чудесно! Ты так добр!

Она поцеловала его в щёку, но вдруг нахмурилась.

— Но как же я угадаю?

— У тебя есть три попытки.

— Хорошо. Это... Нет, это... Гм... Нет, я решительно не знаю! — Она вопросительно посмотрела на Навроцкого.

— Что же ты молчишь? Скажи! Что это?

— Ну хорошо. Это билеты в концерт.

— В концерт?

— Да. Мы идём в концерт. Средства от него назначены для дома призрения.

— А что же будет исполняться?

— Произведения Дебюсси. Кстати, сам он, если верить газетам, приедет в Петербург в конце этого года.

— Дебюсси будет выступать в Петербурге?! Это же замечательно! Кроме тех вещей, что играл ты, я слышала ещё несколько его пьес, и все они мне безумно понравились. Это ново, ни на что не похоже! И боже мой, как чудесно, что ты купил эти билеты! Когда же мы идём?

— Завтра. Я рад, что тебе нравится Дебюсси, и счастлив, что угодил.

— Ты сегодня великолепен!

— Нет, это ты сегодня великолепна. Это же ты стреляешь без промаха.

— Ты завидуешь мне? — улынулась Лотта, целуя Навроцкого в губы, и тут же спохватилась: — А как же «Кодак»?

— Увы! — пожал он плечами. — Ты не выполнила поставленного условия...

### 3

Вечером следующего дня они приехали в театр и заняли кресла в первых рядах партера. Любуясь великолепием зрительной залы, Лотта случайно скользнула взором по ложам бенуара и в одной из них заметила молодую даму, которая смотрела на неё в бинокль. Не придав этому значения, Лотта тотчас отвернулась. Вскоре дирижёр взмахнул палочкой, раздались начальные звуки «*Prélude à l'après-midi d'un faune*»<sup>1</sup>, и она вся отдалась волшебному очарованию музыки. Но, когда смолка последняя нота прелюдии, она вспомнила о даме с биноклем и взглянула мельком в сторону ложи, в которой та сидела. И снова увидела она устремлённые на неё стёкла бинокля. Этот странный интерес незнакомки к её персоне немало удивил Лотту. Она успела заметить, что это была элегантно одетая темноволосая девушка, но бинокль, который та держала в изящных, украшенных кольцами руках, не позволял рассмотреть её лица. Лотта отвернулась и не скоро смогла избавиться от неприятного сознания, что за ней кто-то наблюдает. Когда же, незадолго до окончания концерта, она

---

<sup>1</sup> Прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна» (фр.).

снова бросила взгляд в направлении ложи, та оказалась пустой. Она с облегчением вздохнула и более уже не смотрела в сторону бенуара. Наконец оркестр смолк. В зашумевшей зале послышались недовольные реплики, сначала робкие, потом громче. Молодой человек, сидевший с ними в одном ряду, засвистел.

— По моему рассуждению, это не музыка, а самый натуральный декаданс! — прошипел мужской голос у них за спиной.

— Ты прав, Дорик, — вторил ему голос женщины, — в этой музыке нет ничего основательного, она вся рассыпается на кусочки...

— Какой вздор! — не удержавшись, возразил Навроцкий, наклоняясь к уху Лотты, и, захлопав в ладоши, крикнул: — Браво!

Несколько голосов его поддержали, раздались редкие аплодисменты, но большей части публики исполненные произведения не пришлись по вкусу — она улюлюкала и смеялась. Лотта же, как и Навроцкий, была в восторге от этой утончённой, завораживающей музыки.

— Нужно непременно достать ноты с сочинениями Дебюсси, — сказала она, когда они сели в автомобиль. — Я обязательно хочу что-нибудь разучить...

Через несколько дней Навроцкий съездил в Петербург и вернулся с тетрадью прелюдий для фортепьяно. Лотта тотчас села за пианино и принялась разучивать особенно понравившиеся ей вещи. Уже на другой день перед вечером она приятно удивила Навроцкого, проникновенно, очень мягким туше исполнив «*Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir*»<sup>1</sup> и «*La fille aux cheveux de lin*»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе» (фр.).

<sup>2</sup> «Девушка с волосами цвета льна» (фр.).

## Глава девятнадцатая

### 1

Маевский то появлялся в своей квартире на Каменно-островском проспекте, то вдруг снова куда-то исчезал, не утруждая себя ни послать телеграмму, ни оставить записку Навроцкому. Предприняв несколько безуспешных попыток заставить поручика дома, чтобы наконец объясниться, Навроцкий решил наведываться в Петербург как можно чаще. Кроме вынужденной охоты за Маевским ему необходимо было привести в порядок свои биржевые дела. При удобном случае он решил и вовсе избавиться от бумаг: следить за колебаниями курсов и извлекать прибыль из спекуляций казалось ему теперь занятием тягостным и пустым. Он вспоминал рассказ матери о том, как в 1869 году дед его, отец Николая Евграфовича, в результате биржевого краха потерял почти всё своё состояние. Немало горя пришлось пережить тогда семье Навроцких. Да и собственная неудачная попытка вложить капитал в железнодорожную ветку заставила его пересмотреть отношение не только к игре на бирже, но и к риску в делах вообще. После исчезновения Шнайдера ему пришлось самому входить в мелкие подробности этих дел, и мало-помалу он начал понимать, что это не его стихия. Ему хотелось выйти из игры без новых потерь, но сделать это оказалось не так-то просто, необходимо было терпение. Он начал думать об имениях матери не только как о чём-то более надёжном, но и как о приложении сил, в большей мере созвучном его естеству. Рано или поздно придётся этими имениями заняться и, чтобы толково распорядиться огромным хозяйством, необходимо будет оставить другие дела. То ли был

это замогильный клич предков-помещиков, то ли городская жизнь с её сутолокой и шумом вдруг опостылела ему, но он всё чаще стал задумываться о том, чтобы навсегда поселиться в деревне и, наладив по-своему хозяйство, с головой уйти в мир любимых книг, отдать тихие вечера философии, литературе, искусству. Возможно, такому умонастроению способствовало время, проведённое на даче в Борго, где скромное очарование природы умиротворяло его душу, где он вдруг обнаружил, что уединение отнюдь не навевает на него скуку, а, напротив, учит слушать и понимать себя, помогает освободиться от ложных ценностей, цепко удерживающих жителя города. Ему хотелось, как в детстве и юности, бродить по лугам и лесам, дышать пряным полевым воздухом, видеть перед собой широкий горизонт, не скрытый от взора непроницаемой надменностью домов-громадин. И это желание побуждало мысль его трудиться над тем, как всё это устроить, как наладить жизнь так, чтобы она не превращалась в клубок противоречий, не терзала вечным душевным разладом. Эта подготовительная работа, призванная установить новые вехи на его жизненном пути, шла в нём непрерывно, делала его несколько рассеянным и невнимательным к происходящему вокруг. Занятый размышлениями над важными для него вопросами, он порой не придавал значения тем или иным мелочам, которые, несмотря на кажущуюся их ничтожность, таили в себе скрытую опасность и способны были незаметно, исподволь влиять на его судьбу.

На Морскую к Навроцкому начал часто захакивать Кормилин, широкая натура которого после дружеской беседы, коньяка и сигары требовала некой кульминации. Суть этой кульминации обыкновенно заключалась в том, что Навроцкий, вместо того чтобы вернуться в Осиную

рошу, отправлялся провожать старого приятеля домой, но каким-то трудно объяснимым образом каждый раз оказывался вместе с ним в одном из петербургских ресторанов. Душа Кормилина, казалось бы, знавшего ответы на все вопросы, на поверку оказалась нежной и чувствительной и подчас балансировала на опасном краю, рискуя потерять равновесие. Это противоречие сначала озадачивало Навроцкого, но постепенно он так к нему привык, что научился отличать в риторике товарища злаки от плевел. Он догадывался, что за циничными поучениями Кормилина скрывается какая-то жизненная неудача, но природа этой неудачи оставалась ему неизвестной: в тайны души своей Дмитрий Никитич никого не посвящал. Поскольку же самые большие огорчения мужчине часто доставляет женщина, Навроцкий предположил, что именно в женщине и следует искать причину душевных борений и цинизма, так легко сменяющих друг друга в его приятеле. Каждый раз, когда за бокалом вина Кормилин устремлял на него мутноватый, исполненный тоски взгляд, Навроцкому казалось, что ещё минута — и он услышит сентиментально-слезливую исповедь. Но в глазах Дмитрия Никитича вдруг промелькивало какое-то сомнение, взор его прояснялся, загорался лихой искоркой, и, подозревав официанта, он со словами: «Что-нибудь щемящее, батенька!» бросал на поднос купюру, которую человек тотчас услужливо относил в оркестр.

Однажды под такую щемящую душу музыку в сопровождении двух кавалеров и Любоньки Цветковой в ресторан вошла Анна Фёдоровна. О чём-то оживлённо споря, компания уселась за стол в противоположном конце залы. Увидав Навроцкого, Анна Фёдоровна едва приметно, но выразительно кивнула ему головой, и то ли от этого

жеста, то ли ещё от чего у него внезапно заныло в груди, будто дала о себе знать старая, недолеченная когда-то болезнь. Ему вдруг стали противны и рестораны с его посетителями, и взрывы добродушного смеха за столами, и даже Кормилин, с флегматическим хладнокровием доедающий сдобренную сметаной тетёрку. Почувствовав, что пьянеет от вина, от разрывающего нутро ромansa, от взглядов, брошенных на него княжной, Навроцкий потянул приятеля на свежий воздух — в спасительный, отрезвляющий трамвайным звоном, мерно текущий в белесоватых сумерках Невского проспекта поток автомобилей, конных экипажей и фланёров...

## 2

Лотта грустила, когда, пробыв в Осинной роще день-два, Навроцкий снова уезжал в Петербург. Вынужденное одиночество тяготило её, но она старалась найти себе занятие, чтобы не скучать, и гнала прочь неприятные мысли.

Расспрашивать Навроцкого о причинах, побуждавших его подолгу оставаться в Петербурге, она считала себя не вправе и радостно встречала его всякий раз, когда он возвращался. Иногда он привозил ей какой-нибудь подарок: букет цветов, астраханский арбуз, блок рисовальной бумаги, миндальное мыльное тесто на берёзовом соке или кипу журналов: «Вестник моды», «Женское дело», «Аполлон»... На первый взгляд казалось, что их дачная жизнь течёт ровно и безмятежно, как широкая русская река, но в те многие часы, что Навроцкий проводил с ней, Лотта всё чаще замечала его рассеянный взгляд, по едва уловимым признакам угадывала, что целует он её по привычке, без прежнего чувства, и сердце её наполнялось беспокойной



тоской. Каждый раз, когда Навроцкого по несколько дней кряду не было на даче, на ум ей приходили мысли одна печальнее другой. Она делала усилия, чтобы отвлечь себя, забытья, но тщетно: погрузившись в чтение, она не понимала смысла прочитанного, взявшись за рисование, не могла сосредоточиться на рисунке. Подчас она ловила себя на том, что рисует какими-то автоматическими движениями, как будто кисть сама, без её участия, выбирает краску и направление мазка. Появлявшиеся в такие минуты на бумаге рисунки удивляли её своей неожиданностью.

Вернувшись однажды из Петербурга, Навроцкий застал Лотту на веранде. Она сидела перед прищипленной к картону акварелью, руки её покоились на коленях, взгляд был задумчив. Заметив князя, она встала, как-то странно улыбнулась и, не проронив ни слова, сошла в сад. Взглянув на лист с рисунком, Навроцкий обомлел. На картине была изображена стая голубей, и только. Но какая это была стая! Птицы занимали всё пространство листа и выглядели более чем необычно. Своими позами они напоминали собак, рвущихся в порыве бешенства с цепей. Огромные их глаза горели злобой, хищные зубатые клювы изрыгали чёрную кровь. Некоторые из птиц были мертвы и лежали лапками вверх, их живые сородичи выклёвывали им глаза. Другие были обезглавлены, их головы валялись в кровавых лужицах. Навроцкий почувствовал подступающую к горлу волну тошноты и брезгливо отвернулся. Удивлённый странным поведением Лотты, поражённый этой чудовищной картиной, он в нерешительности просидел несколько минут на веранде, затем отшпилил лист и спустился в сад. Лотта полулежала в гамаке с книгой в руках, но не читала.

— Что это? — мягко спросил он, развернув лист.

Она поднялась с гамака и, ничего не отвечая, медленно пошла по дорожке сада. Он последовал за ней.

— Я давно должна была признаться тебе в этом... Помнишь нашу поездку в Осиную рощу весной? Помнишь, как я испугалась птиц, которые сидели на дороге?

— Да, помню...

— Так вот, я боюсь голубей. Это болезнь, и я не знаю, как с ней справиться.

— Ты боишься голубей? — удивился Навроцкий.

— Да, я не переносу их.

— Зачем же ты их рисуешь?

— Затем, что боюсь.

Жалобно взглянув на князя, она упала к нему на грудь, глаза её наполнились слезами.

— Феликс, я их очень боюсь! Понимаешь? Очень! Я их ненавижу!

— Да отчего же их бояться? — не переставал удивляться Навроцкий.

Она вдруг отстранила его, бросилась по дорожке сада к даче и взбежала к себе наверх.

Немного помедлив, Навроцкий вернулся в дом. Там он ещё раз взглянул на картину, поморщился и спрятал её за шкаф. Сверху до него донеслись приглушённые всхлипывания. Он поднялся по лестнице в комнату Лотты и увидел её лежащей в постели лицом к стене, плечи её слегка вздрагивали. Он осторожно поцеловал её в голову, с минуту посидел возле неё на кровати и, ни о чём не спрашивая, спустился к себе.

На другой день утром, когда Лотта сошла вниз, Навроцкого уже не было, но к обеду он вернулся. Выглядел он загадочно. В руках у него Лотта заметила перевязанный

тесёмкой свёрток, который он тут же вручил ей. Под обёрткой оказалась коробка с надписью:

Eastman Kodak  
Folding Pocket Camera  
No 3A, Model C<sup>1</sup>

— «Кодак»! — воскликнула Лотта, бросаясь ему на шею. — Спасибо! Спасибо! Спасибо!

После каждого «спасибо» она целовала Навроцкого в щёку, весело заглядывая ему в глаза, и наконец одарила долгим и пылким поцелуем в губы.

— Но ведь я тогда не угадала, — сказала она, вспомнив об его условии.

— Что ж, это подарок на день ангела.

— Но у лютеран не бывает дней ангела, потому что у них нет святых. У нас есть только скучные календарные *namnsdag*<sup>2</sup>, но на них не дарят подарков. И потом, такой день у меня уже был в мае.

— Вот как? Сочувствую. Что ж, тогда это запоздавший подарок на день рождения. Лучше поздно, чем никогда! Надеюсь, у лютеран бывают дни рождения?..

Несколько дней спустя, ожидая возвращения Навроцкого из Петербурга, Лотта увидела, что из его автомобиля, подъезжающего к даче, торчит громоздкий, накрытый брезентом предмет. Когда же Навроцкий, откинув брезент, не без труда выгрузил «предмет» из «Альфы», им оказались два сверкающих лаком и хромом велосипеда на мягких резиновых шинах.

---

<sup>1</sup> «Истмэн Кодак». Складная карманная фотографическая камера № 3А, модель С (англ.).

<sup>2</sup> Именины (швед.).

— Это прибавление к фотографической камере, — сказал Навроцкий. — Чтобы ты не скучала, когда меня нет дома... Теперь можно ездить на велосипеде по окрестностям и делать фотографические снимки.

Лотта обрадовалась и от души поблагодарила Навроцкого, но почему-то при этом с грустью вздохнула и пожала плечами. Ему даже показалось, что в глазах её промелькнул упрёк.

На следующий день, пообещав вернуться к вечеру, Навроцкий снова уехал в Петербург, а Лотта занялась изучением руководства к фотографической камере. После обеда, захватив с собой «Кодак», она отправилась на велосипедную прогулку. Наслаждаясь катанием, подыскивая подходящие для съёмки объекты и постигая на практике азы фотографии, она не заметила, как пролетело время. Возвращаясь на дачу поздно вечером, когда тени от деревьев и телеграфных столбов приобрели соответствующую времени суток несоразмерность, а лес пронизали почти горизонтальные лучи солнечного света латунного, предзакатного отлива, она была уверена, что Навроцкий вернулся и ждёт её дома. Не застав его, она приготовила самовар, накрыла стол к чаю и устроилась с книгой у окна. Через стекло на страницы падал слабеющий, приобретший медный оттенок свет. И когда в комнату медленно вползла темнота и в одно из окон с праздным любопытством заглянула рогатая рожица полумесяца, она закрыла книгу и, сев за пианино, заиграла что-то грустное, лунно-печальное. Ей хотелось дождаться и расцеловать Навроцкого, рассказать, как замечательно провела она этот чудесный день, как признательна ему за велосипед и фотографическую камеру, каким восхитительным образом,

благодаря этим двум вещам, изменилась теперь её жизнь... Но Навроцкий не вернулся ни в этот вечер, ни на другой день, ни на следующий.

### 3

Лотта, конечно, догадывалась, что в Петербурге Навроцкого могли задержать дела, но какое-то неясное беспокойство росло в ней с каждым часом, обволакивалось, как снежный ком, всё новыми слоями сомнений. На четвёртый день, не имея более сил ждать, она отправилась на велосипеде в Левашово, чтобы телефонировать Навроцкому на Морскую. Трубку снял Афанасий. Расспросив, кто она такая, он сбивчиво и заикаясь, будто был под хмельком, доложил ей, что князь куда-то ушёл и неизвестно когда появится.

Тяжёлое, хмурое небо нависло над ведущей через скучные торфяники дорогой, когда она спешила назад, и, как только дорога стала лениво взбираться на холмы Осиной рощи, первые капли дождя ударили ей в лицо. Добравшись до дачи, она зашла в комнаты Навроцкого, села за пианино и взяла несколько нот. Грустные мысли мешали ей сосредоточиться на музыке, игра не ладилась. За окном лил дождь, ветер сбивал с деревьев утомлённые, уставшие сопротивляться неминуемой гибели листья. Она заметила на столе недокуренную Навроцким сигарку, закурила её, делая короткие, неглубокие затяжки, потом подошла к окну и прислонилась лбом к холодному стеклу. И в ту же минуту у дома остановился автомобиль с поднятым верхом. Она выбежала на крыльцо и увидела, что Навроцкий приехал не один. Рядом с ним сидел Блинов, а на заднем сиденье — ещё три человека: крупный мужчина одних с князем лет и две девицы в модных шляпках.

— Здравствуй, дорогая! — крикнул весело Навроцкий, соскакивая со ступеньки авто.

Голос его показался Лотте каким-то странным. Вскоре она заметила, что вся компания была навеселе.

— Здравствуйте, милочка! — сказала фамиллярно одна из девиц, избегая под дождём на крыльцо и протягивая ей руку. — Я Зина.

— Роза, — представилась другая девица, сделав небрежный книксен.

— Вот, прощу любить и жаловать, — сказал Навроцкий, представляя Лотте незнакомого ей мужчину. — Это мой университетский товарищ Дмитрий Никитич Кормилин. Ну, а с господином Блиновым ты уже знакома.

Блинов приподнял фуражку и молча прошёл в дом. Навроцкий попросил Лотту собрать что-нибудь на стол, и, когда она вернулась в столовую с подносом, на столе уже стояли привезённые гостями бутылки шампанского, шабли и мадеры. Вся компания дружно набросилась на еду и вино. Лотта лишь чуточку пригубила шабли. Из общего разговора она поняла, что Навроцкий и Кормилин случайно встретили Блинова в «Доминике», куда Дмитрий Никитич затащил князя отведать шнапса и шведского пунша, и так же случайно познакомились с Розой и Зиной, когда все вместе выходили из ресторана.

— А где же здесь озеро, князь? — спросил Блинов, когда все изрядно выпили и закусили.

— Здесь поблизости, господа, за парком.

— Недурно было бы взглянуть, — подмигнул штабс-капитану Кормилин.

— Да ведь дождь, — возразил Навроцкий. — И темнеет уже.

— Господа, а кто-нибудь из вас купался в дождь? — спросила Зина, со скучающим видом разглядывая прозрачную желтизну шабли в бокале.

— Какая замечательная идея! — оживилась Роза. — Идёмте купаться!

— Я эту мысль поддерживаю! — сказал Кормилин, покачиваясь.

— Господа, мы же все пьяны, — заметил Навроцкий. — И вода в озере уже холодная.

— Ничего, Феликс, не утонем, — снова зачем-то подмигнул Блинову Кормилин. — Вот барышня нас спасёт. — Он качнулся корпусом в сторону Лотты и, потеряв на мгновение равновесие, едва не упал. — А утонем — туда нам... туда нам и...

— Ну-ну! — одёрнул его Блинов. — Ты, Дмитрий Никитич, не того... не сущай...

— Нет, я ничего... Я поддерживаю...

— Решено, господа! Идёмте! — закричали девицы.

Все поднялись из-за стола.

— Ну, князь, веди нас! — сказал Блинов, быстрым движением опорожнив рюмку мадеры.

Попытка Навроцкого образумить гостей ни к чему не привела. Лотта идти на озеро не хотела, но он всё же уговорил её: она была самой трезвой из них и хорошо плавала. Через несколько минут все стояли на берегу озера и в нерешительности смотрели на тёмную воду.

— Господа, а как же без купальных костюмов? — почесал затылок Блинов.

— А ну их! — махнул рукой Кормилин и, путаясь в одежде, разделся догола и полез в воду.

— А ну их! А ну их! — закричали девицы, сбрасывая с себя блузы и юбки.

Блинов, а за ним и Навроцкий тоже разделись и полезли в озеро. Лотта с ужасом наблюдала, как они, пьяные, спотыкаясь, входили в воду. Ей очень хотелось уйти, но она боялась, как бы кто-нибудь из них и в самом деле не утонул. Больше всего опасалась она за Навроцкого, ведь у неё уже был случай убедиться в том, что плавает он не ахти как.

Зайдя в озеро по пояс, Блинов и Кормилин начали подхватывать визжащих девиц на руки и бросать в воду. Поднявшийся шум показался Лотте совсем неуместным здесь, в этом пристанище тишины. Поглядев с отвращением на возню в воде, она наконец не выдержала и вернулась на дачу. У себя в комнате она поставила в угол зонт и, не раздеваясь, легла на кровать.

Спустя полчаса у дома слышались громкие крики, смех и пение возвратившейся с озера компании. Навроцкий поднялся наверх и попросил Лотту приготовить им горячего чая.

— Ну не дуйся, — прошептал он ласково, опускаясь на колени возле кровати и пытаясь поцеловать её куда-то в шею.

Лотта никогда не видела его таким хмельным и не знала, как вести себя в подобных случаях. Она плавным движением уклонилась от поцелуя, но всё-таки встала с постели и спустилась к гостям.

— Мы с тобой, Феликс, разным аллюром по жизни бежим, — сказал, когда они вошли в столовую, несколько протрезвевший Кормилин, продолжая, по-видимому, какой-то ранее возникший между ними спор. — Находить наслаждение в уединении — это, брат, для избранных, а я человек простой. Мне шампанское, новодеревенских цыганок и вот этих смешливых барышень подавай.

Он кивнул в сторону девиц, и те, переглянувшись, прыснули со смеху.



— Если слишком быстро ешь, то не успеваешь наслаждаться пищей, прочувствовать её вкус, — парировал Навроцкий, присаживаясь за стол. — Тому, кто спешит жить и с жадностью берётся за всё подряд, не вкусить настоящей прелести этой жизни. Ему приходится проглатывать куски бытия не разжёвывая, а это, увы, чревато неприятными последствиями не только для организма, но и для личности.

— Ты вот, Феликс, всё философствуешь, уму-разуму научишь, а какой прок в твоей философии? Ты лучше посмотри, какая у Зины грудь, — вот тебе и вся философия! Зиночка, предъявите нам вашу божественную грудь!

Зина задорно блеснула аквамариновыми глазками, быстро расстегнула блузу и, сдвинув вниз грудодержатель, вытащила на всеобщее обозрение пышную белую грудь. Обе девицы снова прыснули.

— Ну как, штабс-капитан? Хороша грудь?

— Хороша, что и говорить! — крикнул Блинов, расправляя кончики усов.

— А твоё мнение, Феликс?

Бокал в руке Кормилина описывал в воздухе зигзагообразные линии и кренился, угрожая выплеснуть содержимое на скатерть. Навроцкий ничего не ответил.

— Эх, Феликс! Уходили, видно, сивку крутые горки. А помнишь, как весело нам было в студентах? Актрисы, субретки...

Лотта мягким, тихим движением поднялась из-за стола и вышла из комнаты.

— Ага... — понимающе кивнул головой Кормилин. — Барышня осерчали-с...

Компания примолкла.

— Господа, — прервал общее молчание Блинов, — не будем учинять афинскую ночь в этой скромной обители князя. Хозяйка вот сердится... Пора и честь знать.

Навроцкий поднялся наверх и постучал в комнату Лотты.

— Я уже сплю, — слышался из-за двери её голос.

— Не сердись. Покойной ночи! — сказал он и вернулся вниз.

Ночью, сквозь сон, Лотта слышала какой-то шум, а когда утром проснулась и спустилась в столовую, на даче уже никого не было. Неподалёку от дома, у кромки дороги, стоял чёрный автомобиль, в котором сидел какой-то мужчина и смотрел, как показалось Лотте, в её сторону, но разглядеть незнакомца она не смогла из-за полей шляпы, затенявших ему лицо. Она ушла в кухню, и когда спустя минут-другую снова выглянула в окно, от автомобиля на дороге осталось лишь тёмное облачко из пыли и копоти.

Навроцкий вернулся из города рано, уже к обеду. В Петербурге он заехал на Садовую в магазин писчебумажных принадлежностей Рапопорта и купил там высшего сорта бумагу для акварелей. Вручая её Лотте, он в шутку сделал виноватый вид.

— Знает кот, чью котлету слопал, — улыбнулась Лотта.

— Знает кошка, чьё мясо съела, — поправил Навроцкий смеясь.

От него Лотта узнала, что ночью Блинов и Кормилин повздорили из-за Зины, которая делала авансы обоим. Оставаться всем вместе на даче было невозможно, и Навроцкому пришлось, урезонив мужчин, отвезти на рассвете всю компанию в Петербург.

День выдался ведренный, умеренно жаркий, без ветра. Казалось, лето незаметно подкралось в короткие предутренние часы и вернуло себе утраченную накануне территорию. До самого позднего вечера они были вместе: гуляли, купались, катались на велосипедах и фотографирова-

лись. Вечером Навроцкий сыграл на пианино несколько импровизаций, спокойных и светлых, как прошедший день, а Лотта слушала его и осторожными, неспешными мазками наносила водяные краски на лист подаренной им бумаги. Когда она уходила к себе, он взял её за руку и обещал не отлучаться в Петербург слишком часто и не оставаться там ночевать, и его обещания показались ей лучшим завершением этого чудесного дня.

## Глава двадцатая

### 1

Между тем молодой дамой с театральным биноклем, обратившей на себя внимание Лотты, была не кто иная, как Анна Фёдоровна Ветлугина. Наблюдая публику в партере и увидав там Навроцкого, она с интересом стала рассматривать его спутницу, и, когда та на мгновение повернулась к ней лицом, сердце Анны Фёдоровны забилося так часто, что ей едва не сделалось дурно.

— Не может быть! — воскликнула она невольно.

В двух соседних ложах несколько голов повернулись в её сторону.

— Простите, что именно не может быть? — спросил сопровождавший княжну тщательно выбритый молодой человек с хорошими манерами.

— Ничего, Серж... — рассеянно отвечала Анна Фёдоровна. — Мне только показалось...

Сославшись на неважное самочувствие, она попросила поскорее отвезти её домой, что Серж немедленно и испол-

нил. Дома она заперлась в своих комнатах и никого не желала видеть. Настроение духа было у неё прескверное. Она принималась за чтение, раскладывала пасьянс, спускалась в пустую гостиную и садилась за рояль, но ничего не помогало. Мысли её вновь и вновь возвращались в освещённый электрическими люстрами театр, она отчётливо видела случайно брошенный на неё взгляд прелестной молодой особы, сидевшей в партере подле Навроцкого, и её охватывал озноб. Вот-вот, казалось, нервы её не выдержат и она разревётся белугой, но каждый раз, сделав над собой усилие, она брала себя в руки. К ночи душевное страдание вконец её утомило, она почувствовала недомогание и, повалившись на кровать, зарылась головой в подушки...

Кто же эта девушка с красивыми тёмными волосами? Да это же она сама — Анна! Она бежит в белой ночной сорочке через высокий, дремучий лес, останавливается, чтобы перевести дух, прячется за высокий мшистый ствол и, с опаской выглядывая из-за него, преодолевая страх, машет рукой идущему за ней человеку, зовёт, зовёт его. Но бессильный зов её лишён слов, похож на дикое завывание волчицы. Но кто это? Кого зовёт она? Да это же Навроцкий! Но как ужасно, как свирепо его лицо! Он бежит за ней, он преследует её. Бежать! Непременно бежать! Она бросается вперёд не разбирая дороги, острыми сучьями раздирая в ключья сорочку. Прочь от него! Прочь! Скорей! Скорей! Рваная одежда цепляется за ветки, мешает ей. Она сбрасывает с себя последние лоскуты, грубые ветки царапают в кровь её нагое тело, нежную белую грудь, ноги её утопают в хлюпкой, холодной трясине. Она оглядывается. Он всё ближе к ней, он вот-вот наступит на неё! Что ему надобно? «Боже, что ему надобно от меня?» Но что это? Он остановился? Он уходит? Куда же? Кто эта красавица там за дере-

вьями, в лунном сиянии? Он смеётся? Он идёт к ней? «Почему он больше не преследует меня?» Анна Фёдоровна протягивает руки, зовёт «Феликс! Феликс!», но из горла её исходит беспомощный хрип, она задыхается, всхлипывает и не может произнести ни слова. Она бросается за ним через болотную топь, ноги её всё глубже и глубже уходят в ледяную водянистую жижу, и вот уже тело её по плечи, до подбородка поглотила трясина, и страшная, невозможная мысль о смерти внезапно с беспощадной ясностью пронзает её мозг. И снова она в ужасе кричит «Феликс! Феликс!», но вместо крика из груди её вырывается жалкий стон...

Анна Фёдоровна проснулась, разбуженная собственным голосом, охваченная мерзким страхом, и, уяснив себе, что видела сон, заплакала.

## 2

Неделю спустя, в один из застрявших между летом и осенью дней, когда воздух уже не по-летнему свеж, а для осени ещё слишком тёплел, на северной окраине Петербурга, близ ворот старого деревянного дома, под моросящим дождём стоял экипаж. Кучер, ёжась на облучке, потягивал папироску и кутался в намокшую шаль. Хозяйка экипажа, Анна Фёдоровна Ветлугина, сидела в это время за накрытым льняной скатертью столом в небольшой горнице с низким потолком и образами в углах. Перед ней стояли самовар, чашка чая и вазочка с черносмородинным вареньем. Напротив сидела древняя морщинистая старуха, плечи которой, несмотря на духоту в доме, покрывал толстый пуховый платок. Старуха, причмокивая губами, медленно потягивала из блюда горячий, крепко зава-

ренный чай и, прищуривая подслеповатые глаза, с любопытством глядела на княжну.

— Как, говоришь, зовут ту девицу, по которой сохнет твой князь? — спросила она, смахивая со лба испарину пожелтевшей от времени узорчатой ширинкой.

— Лотта, — отвечала Анна Фёдоровна.

— Это что за имя-то такое?

— Она шведка.

— Иноземка, значит? Это ничего. Заговорные слова равно на всех христиан действуют, — рассудила старуха. — Мы сначала чары её остудим, а уж затем князя твоего присушим.

Она положила на стол толстую, сильно потрёпанную и разбухшую от частого употребления тетрадь, ещё более древнюю, чем она сама, надела очки и, полистав серые, рыхлые страницы, нашла в ней нужное место.

— Слушай, дочка, и повторяй за мной слово в слово.

Анна Фёдоровна приготовилась слушать.

— Как реки быстрые в море-океан текут, — начала читать старуха мерным, протяжным голосом подобно запевающему заупокойную молитву дьячку, — как пески с песками ссыпаются, как кусты с кустами свиваются, так бы раб божий Феликс не водился с рабой Лоттой — ни в плоть, ни в любовь, ни в сладость, ни в ярость; как гора с горой не сдвигается, не сходится, глядит гора на гору да ничего не говорит, так бы и раб Феликс с рабой Лоттой не сдвигался, не сходился да ничего не говорил; как в тёмной темнице под гнилой половицей есть нежить простоволоса, долгоноса и глаза выпучивши, так бы и раба Лотта казалась рабу Феликсу простоволосой, долгоносой и глаза выпучивши; как у кошки с собакой, у собаки с росوماхой,

так бы и у раба Феликса с рабой Лоттой не было согласия ни днём, ни ночью, ни в радости, ни в горе. Слово моё крепко, аминь.

— ...аминь, — закончила княжна вслед за старухой. Члены её охватила нервная дрожь, неприятное сомнение стало грызть её изнутри, ей начало казаться, что делает она что-то неподобающее, постыдное.

Старуха перекрестилась на образа в углах, пролепетала что-то про себя морщинистыми губами и перевернула несколько страниц тетради. Взглянув на княжну поверх очков, как бы желая удостовериться в правильности впечатления, произведённого на ту заклинанием, и увидав серьёзное, напряжённое лицо Анны Фёдоровны, она ласково сказала:

— А теперь присушим к тебе твоего князя. Вот тебе, дочка, верное средство. Пойди, милая, в баньку, попарься, а как выпаришься, стань на веничек, которым парилась-то, да говори так:

«Как выйду из парной байны, стану белым атласным телом на шёлков веник, дуну и плюну в четыре ветра буйных. Летите, ветры, в чистое поле, в синее море, в крутые горы, в дремучие леса, в зыбучие болота. Есть в тех болотах четыре брата — четыре птицы востроносы, медью окочены носы. Прошу окаянную силу дать им тоску и кручину. Легите, братья, несите тоску и кручину, на землю не уроните, на стуже не познобите, на ветре не посушите, на солнце не повяньте. Донесите всю тоску-кручину, всю сухоту, чахоту и вялоту великую до раба божия Феликса, где бы его ни завидеть, где бы его ни слышать, — хоть в чистом поле, хоть на большой дороге, хоть в парной байне, хоть в светлой светлице, хоть за столом дубовым за кушаньями сахарными, хоть на мягкой постели во крепком сне. Садитесь рабу Феликсу на белые груди, на ретивое сердце,

режьте его белые груди вострым ножом, колите его ретивое сердце скорым копьем, кладите в кровь кипучую всю тоску-кручину, всю сухоту, чахоту, вялоту великую, в хоть и плоть его, в семьдесят семь жил, в семьдесят семь суставов, в голову буйную, в лицо его белое, в брови чёрные, в уста сахарные, во всю красоту молодецкую. Чах бы раб Феликс чахотой, сох сухотой, вял вялотой в день под солнцем, в ночь под месяцем, в утренние зори и вечерние, во всякий час и во всякую минуту. Как май месяц мается, так бы и раб Феликс за работой Анной ходил да маялся и не мог бы без неё ни есть, ни пить, ни жить, ни быть. Эти мои наговорные слова вострей ножа вострого, скорей копья скорого, злее сабли злой да ярей воды ключевой. И словам моим наговорным — ключ и замок. Замок — на дне моря глубокого, океана широкого, а ключ где — неведомо. Ныне и присно, и во веки веков, аминь, аминь, аминь».

Старуха закрыла тетрадь.

— Это верный заговор. Я его ещё от бабки моей слышала, и всем он, слава богу, пособлял, — сказала она, снимая очки.

— Да разве же я его упомяну? — вздохнула Анна Фёдоровна.

— А у меня тут всё на бумажке сготовлено. Вот возьми. Вставишь вот сюда, в эти пустые места, имя твоего князя и прочтешь, как я тебе сказала, после баньки. Не пройдет и трёх дней, как он к тебе прибежит...

Анна Фёдоровна так всё и исполнила. Как ни привыкла она к удобной домашней ванне, а сходила-таки в русскую баньку, задвинула в дымоход вьюшку, намочила холодной водой войлочный колпак, натянула его на голову, попотела на самом верху полка, поплескала мягкого, дорогого пива на каменку вперемежку с водой из ушата, попарилась от души пивным, духовитым паром, похлестала



старательно дубовым веничком по прелестным формам своим, потопталась на его прутиках, как было старухой указано, и всю грамоту старушечью от начала до конца прочла. И легко ей сделалось и весело, и молодое, крепкое тело её переполнилось томной, беззаботной негой, а сердце — сознанием любовной правоты своей...

### 3

В очередной приезд свой в Петербург, зайдя домой, чтобы проверить почту и телефонировать Маевскому, Навроцкий обнаружил письмо от матери. Старая княгиня сурово выговаривала ему за его, как она выражалась, «постыдную любовную связь с простолюдинкой» и грозилась лишить сына наследства. В который уже раз убеждался он в том, что матери известно о его жизни гораздо больше, чем он мог предположить. Он решил немедленно ехать в Тёплое, чтобы поговорить с Екатериной Александровной и успокоить её. Перед отъездом он послал Афанасия в Осиную рощу с запиской для Лотты, в которой уведомлял её о своей отлучке.

Екатерина Александровна встретила сына холодно.

— Да уж наслышана я о твоих амурах, — сказала она недовольно, как только Навроцкий явился к ней и попытался объяснить. — Стыд-то какой! Вишь, француженку в любовницы взял! Мало, что ль, достойных девиц вокруг тебя вертится?!

— Не француженку, мама, а шведку. И не в люб...

— Тыфу, ещё того не легче! — перебила Екатерина Александровна. — Она помолчала, что-то соображая. — И какой же у них герб?

— У кого?

— У твоей шведки, конечно!

— У неё нет герба, — сказал Навроцкий, насилу сдерживая раздражение. — Она не дворянка.

— То-то что не дворянка! Дворянка бы в любовницы не пошла.

— Не говорите глупости, мама.

Княгиня, опираясь на трость, с которой последнее время не расставалась, пошла прочь из комнаты.

— Я приехал, мама, просить вашего согласия на наш брак, — сказал Навроцкий ей вслед.

Екатерина Александровна остановилась.

— Не бывать этому! — гневно крикнула она, не оборачиваясь. — Ни в моём роду, ни в роду Навроцких ни один мужчина не взял в жёны иноверку и простолюдинку. И ты не возмёшь! А возмёшь — так на наследство не рассчитывай! Всё богадельням отдам!

— Но мама! В наше время...

— Молчи! Деньги уж дала, бог с тобой, а наследства лишу! — ещё раз подтвердила свои намерения Екатерина Александровна.

— Но почему, мама?

— Нечего! Пустое! — отрезала Екатерина Александровна и вышла из комнаты.

На следующий день Навроцкий попытался ещё раз поговорить с матерью, но старая княгиня не пожелала его видеть. Перед тем как отправиться в обратный путь, он собственноручно вымыл и тщательно проверил автомобиль и, когда всё было готово, не простившись с матерью, уехал. Выезжая за ворота усадьбы, в окне второго этажа, в покоях Екатерины Александровны, он увидел её тёмную неподвижную фигуру, и в сердце у него защемило от тоски и досады...

Вернувшись в Петербург, Навроцкий зашёл к графине Дубновой и в числе прочих городских новостей узнал от неё, что о нём и его дачной квартирантке уже распространяются сплетни и ходят невероятные слухи. Говорили, между прочим, что Навроцкий отчаянно влюблён, собирается жениться, перейти в лютеранскую веру и уехать вместе с молодой женой в Швецию, что невеста его — незаконная дочь короля и что Феликс Николаевич, при определённых обстоятельствах, может стать отцом наследника шведского престола... Сообщая это князю, Леокадия Юльевна не отрывала от него испытующего взора своих разноцветных глаз, но Навроцкий, как ни грустно ему было, только посмеивался и так и не пожелал удовлетворить любопытство графини и рассказать, как же на самом деле обстоят дела. Леокадия Юльевна сделала вид, что обижена, даже чуточку подулась, однако отпустила Феликса Николаевича восвояси с обыкновенной своей ласковостью.

#### 4

В тот же день, вернувшись с прогулки, Лотта сидела на веранде с книгой. Она на минуту оторвалась от чтения и задумчиво глядела в окно, когда вдруг четыре птицы, летевшие в ряд, ударились в стекло и шарахнулись в сторону. Резкий, громкий звук напугал Лотту, заставив её вздрогнуть и выронить книгу из рук. Она хорошо видела, как птицы одна за другой бросились тельцами в стекло, выбили звонкую дробь и, отпрянув, исчезли в лесу. Но что это были за птицы? Дрозды? Ласточки? Заметив лишь, что птиц было четыре, она не успела их разглядеть. «Что заставило их лететь в стекло? Что это может значить?» — думала она. И хотя она не была суеверной, мысль о том, что это стран-

ное происшествие — недобрый знак, предупреждение о чём-то, не оставляла её. В надежде избавиться от неприятного ощущения она решила перенести его на бумагу. Но как это сделать? В какой момент изобразить птиц? На подлёте к стеклу? Будет ли тогда зрителю всё понятно? Сможет ли он увидеть, что птицы вот-вот ударятся в стекло? Или, может быть, нарисовать испуганных ударом, отпрянувших птиц? Но как в этом случае передать то, что произошло за мгновение до того? Как же всё-таки это трудно! Всегда ли возможно средствами искусства достоверно описать жизнь, каждый её момент? Нет, лучше изобразить птиц в момент столкновения с невидимым препятствием, показать их расплюснутые ударом тела, ужас, застывший в их круглых глазах, их взъерошенные спинки, оттопыренные лапки. Одна птица, испытав уже потрясение, тянет голову и тельце прочь от окна, все силы её сосредоточены на том, чтобы ринуться в сторону, подальше от неведь откуда взявшейся преграды. Другая, подлетая, вот-вот коснётся стекла лапками, но она уже не в силах остановить полёт, предотвратить жуткий, ошеломляющий удар.

Лотта работала карандашом быстро, моментально обрабатывая мысль в плавные линии, стремительные штрихи и мягкие затушёвки. Ей хотелось скорее, пока впечатление от происшествия ещё не притупилось, поймать и изобразить момент испуга, чтобы страх, охвативший птиц и её саму, передавался и зрителю. И она поняла, что необходимо изобразить и саму себя — девушку, сидящую по эту сторону окна, выронившую от испуга книгу, и всё это — при таком освещении, чтобы в воздухе, в атмосфере чувствовалось приближение грозного удара, удара судьбы, трагедии. Она взяла другой лист бумаги, побольше, и начала быстро набрасывать эскиз заново. Ей стало ясно, что это будет большая картина, насыщенная светом, пронизыва-

ющими композицию по диагонали теньями, внушающая зрителю мистический ужас. Пусть девушка держит в руках не книгу, а письмо. Письмо — это известие, трагическое, страшное. Об этом будет говорить всё: и выпавший из рук девушки белый, испещрённый чьим-то почерком лист, и её испуганные, обращённые к окну глаза, и четыре птицы — вестники несчастья. И в этом испуге, в захлестнувшем девушку ужасе, в зловещем ударе птиц будет заключена неотвратимость судьбы, её безжалостный вызов, её власть над людьми...

Поздно вечером, уже засыпая, она всё думала об этом маленьком, но так напугавшем её происшествии, и приснилось ей, что какое-то страшное чудовище, мохнатое, чёрное, с взъерошенной на загривке шерстью, будто сам чёрт, виденный ею в детстве на картине в церкви, злобно сверкая зрачками, пишет маслом, тяжёлыми, густыми мазками, огромную картину и на этой картине — девушка, уронившая письмо, и четыре силуэта птиц в окне, и птицы эти — злые, омерзительные голуби, а девушка — она, Лотта...

## Глава двадцать первая

### 1

С той поры как до неё дошла молва о дачной сожигательнице Навроцкого, Анна Фёдоровна не находила себе места. Ей уже двадцать два года, пора и о замужестве подумать, и вот ведь совсем недавно, всего несколько месяцев назад, Навроцкий делал ей предложение, а она его не приняла. Почему? Разве он не нравился ей? Разве она к нему ничего не чувствовала? Разве не оказались разговоры о его

разорении преувеличением? Ведь известно, как богата его мать. И чем дальше шло время, чем больше слухов доходило до Анны Фёдоровны об увлечении Навроцкого «какой-то шведкой», тем более терзалась она. Теперь ей казалось, что она вовсе и не думала отвечать ему отказом, что хотела только удостовериться в его чувствах — зачем же было спешить? Душевные страдания, раз начавшись, не оставляли её, и вот судьба приготовила ей ещё один удар: в концерте рядом с Навроцким она увидела Лёлю — свою институтскую товарку, давнюю *rival et concurrent*<sup>1</sup>. Так вот кто эта шведка! Как же тут не быть в претензии на судьбу? «Ну почему опять Лёля? — думала Анна Фёдоровна в отчаянии. — Почему именно она?» После сделанных себе упреков, после приступов ревности, после бессонных ночей и пролитых слёз она задалась целью снова, любой ценой, заполучить Навроцкого. Все наставления старухи-колдуньи она с точностью выполнила, и не то чтобы она верила в эти заклинания, а так, на всякий случай. Сидеть сложа руки, дожидаясь их действия, она, разумеется, не желала. Чтобы встретиться с Навроцким, ей нужен был только предлог, и такой предлог нашёлся очень скоро. Через два дня после её омовения в баньке она получила от Маевского письмо, к которому была приложена записка для князя. Анна Фёдоровна не замедлила воспользоваться этим обстоятельством и телефонировала Навроцкому на Морскую, застав его в тот момент, когда он вернулся к себе от графини. Сообщив ему о письме кузена и услышав обещание быть у неё в самое ближайшее время, Анна Фёдоровна была удовлетворена. «Я сделала что могла — провидение позаботится об остальном», — думала она, опуская телефонную трубку...

---

<sup>1</sup> Соперница и конкурентка (фр.).

Когда на другой день Навроцкий явился к Ветлугиным, ни самой Анны Фёдоровны, ни Софьи Григорьевны с мужем дома не оказалось.

— Княжна скоро будут, — сказала ему горничная.

Он остался дожидаться Анну Фёдоровну в гостиной и занялся разглядыванием фотографий в лежавшем на столе альбоме. С одного из снимков на него смотрела прелестная девочка с косой, в коротеньком платьице и кружевных панталончиках. Навроцкий узнал в ней княжну. На другой фотографии он нашёл её среди группы институток в форменных платьях с передниками и пелеринками. Подле Анны Фёдоровны стояла Любонька Цветкова, которую Навроцкий узнал не без некоторого усилия воображения, так как Любовь Егоровна теперь не носила очков. На этой фотографии ему показалось знакомым ещё одно девичье лицо, но хорошо рассмотреть его он не успел: явилась княжна, и он захлопнул альбом.

Анна Фёдоровна, как только вошла в гостиную, поразила Навроцкого своей красотой. Она всегда отличалась утончённостью вкуса, одеваясь без броской роскоши, изысканно и несколько консервативно. Как и все аристократки, слегка отставая от моды и во всём соблюдая меру, она умела естественно и без усилий производить впечатление породистой и уверенной в себе молодой женщины. Но в этот день во всём облике Анны Фёдоровны было что-то особенное, лучезарное, феерическое. Какая-то загадочная решимость во взгляде и одновременно мягкая женственность в движениях превращали её в полубогиню.

Она пригласила Навроцкого в будуар и, когда они поднялись туда, сняла перчатки, вынула из ридикюля дамский золотой портсигарчик цилиндрической формы и, блеснув вправленными в его замок камнями, вытянула кончиками пальцев тоненькую душистую папироску.

— Вы курите? — удивился Навроцкий.

Он достал из кармана коробок и зажёт спичку. Анна Фёдоровна прикурила.

— Да, с некоторых пор...

Она слегка прищурила глаза, затянулась и осторожно вытолкнула языком тонкую струйку дыма. Всё это она проделала с такой грацией, так по-женски мило, что Навроцкий почувствовал лёгкое головокружение. И когда она молча, не отрывая от него лучистого взгляда тёмных, чуть прикрытых бархатистыми ресницами глаз, передала ему послание Маевского, он лишь мельком взглянул на аккуратно сложенный лист бумаги с торопливо начерченным на нём именем адресата и машинально засунул его в карман.

— Феликс Николаевич, вы поступили дурно, — сказала после довольно продолжительного молчания Анна Фёдоровна, не переставая курить и глядя в упор на сбитого с толку Навроцкого. — Вы просили у меня руки, а сами... — она сделала недоуменное движение плечами и головой, — взяли да пропали... Вы не являлись в наш дом... Вы оставили меня... в странном, затруднительном положении... Что же я могла думать? Я не знала, как мне быть...

— Но ведь вы мне отказали, — растерянно проговорил Навроцкий.

— Ах, не оправдывайтесь, пожалуйста! — сказала Анна Фёдоровна с досадой.

Навроцкий хотел было возразить, но она подошла к нему вплотную, обдала его фимиамом духов, мгновенно вызвавших у него в голове целый вихрь реминисценций, потянулась к нему всем телом и, чуть опустив ресницы, медленно провела по его щеке вздрагивающими фалангами пальцев. И в тот же миг его обожгло воспоминание об их долгом, сумасшедшем поцелуе, о сладких, влажных губах



Анны Фёдоровны, о частом биении её сердца у него под ладонью... Не отдавая себе отчёта, он прижал её к груди и стал целовать пылко, лихорадочно, с грубой, звериной ненасытностью... Анна Фёдоровна и не думала сопротивиться, и лишь одно слово срывалось вместе с дыханием с её губ: глухое, протяжное: «Мой!»...

## 2

Покинув под утро спальню княжны, Навроцкий через чёрный ход вышел на пустынную, сумрачную улицу. В бледно-сиреновом свете электрических фонарей он увидел прижавшийся к тротуару автомобиль. Сидевший в нём господин как-то косо взглянул на него из-под полей сдвинутой на лоб шляпы и отвернулся. На миг Навроцкому почудилось что-то знакомое в фигуре этого человека, в блеснувшем из темноты взгляде, и в другой раз он, возможно, даже оглянулся бы, чтобы рассмотреть номер авто, но теперь ему было не до странных господ в автомобилях: в голове его, как в броуновском движении, суетились, сбивались в кучу, толкали одна другую беспорядочные мысли, и ни одна из них не могла вылиться в ясную, законченную форму. Ему хотелось поскорее добраться до дома, выпить чашку-другую кофе, выкурить сигару и спокойно всё обдумать или, напротив, не думать вовсе ни о чём.

Анна Фёдоровна прекрасно понимала мотив поспешного ухода Навроцкого, ей и самой не нужны были ни огласка, ни стремительно расползающиеся по Петербургу сплетни. Поцеловав его на прощанье и затворив за ним дверь, она почувствовала себя счастливой. Всё утро и весь день она была как никогда весела и едва могла удержаться, чтобы не начать строить радужные, неопределённые планы. Но уже перед вечером в сердце её начали закрады-

ваться сомнения: вернётся ли к ней князь, не поступила ли она слишком опрометчиво, не навредила ли себе, вот так, в порыве страсти, отдавшись ему, не разумнее ли было сначала хорошенько разжечь в нём эту страсть, да так, чтобы она насквозь испепелила его, не оставила даже в самом укромном закоулке его души ни одного тлеющего уголька, способного разгореться для другой женщины? «Время ещё есть, — успокаивала она себя. — Ведь он уже почти мой...» Но беспокойство не оставляло её, и, чтобы развлечься, она сняла с рожка трубку телефона, назвала барышне номер и с томной грустью в голосе проговорила в неодушевлённое нутро аппарата:

— Алло! Серж, это вы? Что сегодня дают в Маринке?<sup>1</sup> — И, выслушав ответ, так же томно прибавила: — И, пожалуйста, привезите мне финский крэкер!

### 3

После ночи, проведенной у Анны Фёдоровны, Навроцкий целый день просидел у себя в квартире. Несколько раз звонил телефон, но он не двигался с места: говорить ему ни с кем не хотелось. Он то закуривал сигару, то тушил её, то брал в руки газету или журнал, то отбрасывал их в сторону, то садился за рояль, то, пробежав пальцами по клавишам, вскакивал и отходил от него. Картина случившегося в будуаре княжны неотступно стояла у него перед глазами и, точно играя с ним, то остро волновала воображение, то вгоняла в краску стыда. Попытки его рассеять эту картину, прогнать её прочь ни к чему не приводили. Приятное сознание одержанной мужской победы, отчасти владевшее им с утра, ощущение триумфа самца, насла-

---

<sup>1</sup> Марининский театр. (В разговорной речи петербуржцы называли его *Маринка*, произношение *Маринка* выдавало приезжих.)

дившегося близостью не просто с хорошенькой самочкой, но с одним из прелестнейших экземпляров Евиного сословия, постепенно сменились тревогой, страхом потерять что-то важное, бесконечно ценное в себе. Вытеснив из него все другие чувства, этот непонятный страх цепко схватил его за горло и душил с безжалостной медлительностью палача-садиста. По капризу ли, по злой ли прихоти судьбы случилось с ним то, что ещё полгода назад могло сделать его безмерно счастливым, но не радовало теперь, когда в двух десятках вёрст отсюда, в тихом загородном доме, его ждала другая женщина — женщина, которая любит и верит, без которой он уже не может жить и которую в одночасье предал?

Только к вечеру вспомнил он о записке Маевского. В ней Константин Казимирович настоятельно просил его никуда не отлучаться из Петербурга, так как намеревался очень скоро встретиться с ним и всё объяснить. В конце записки Маевский прибавлял, что вынужден пока скрываться, так как подозревает, что ему грозит опасность.

Подавленный, измученный переживаниями Навроцкий уже затемно сел в автомобиль и отправился в Осиную рощу.

#### 4

Лотта так увлеклась чтением, что не слышала, как Мапа несколько раз позвала её пить чай. И только когда девушка уже ушла домой, когда за окном давно стемнело, когда из тишины вырос звук мотора, когда он заглох где-то поблизости, когда по ступенькам крыльца застучали шаги Навроцкого и скрипнула входная дверь, только тогда она оторвалась от книги и поспешила вниз, чтобы вместе с ним напиться чаю и расспросить его о поездке к матери.

Увидев её светлое лицо, ясные, весёлые глаза, прочтя в них искреннюю радость его приезду, Навроцкий поспе-

шил отвернуться. Не проронив почти ни слова, он выпил чашку чая из ещё не остывшего самовара и, сославшись на усталость, ушёл к себе.

Наступившая ночь далась ему нелегко: перемежаемые беспокойными минутами пробуждения сны проходили перед ним вереницей кошмаров. Утром он проснулся с головной болью, и, как только вспомнилось ему случившееся накануне, чувство жгучего стыда, точно холодным штыком, пронзило его с новой силой. Он долго лежал в постели, не решаясь подняться и выйти из комнаты. Ему казалось, что он ни за что не сможет посмотреть Лотте в глаза. Возможно, ему было бы легче, если бы он мог считать эту измену случайной, *une affaire de canapé*<sup>1</sup>, но он не мог. Анна Фёдоровна занимала в его сердце своё, отведённое только ей, место, и лишить её этого места он был не в силах. Тем тяжелее было думать ему о Лотте и о любви их, чистой, до сих пор ничем не омраченной.

Он подошёл к окну и долго смотрел на Лотту, сидевшую в саду за мольбертом. Она глядела куда-то вдаль и изредка, точно вдруг вспоминая о своей работе, делала движения кистью. Он спустился в сад и приблизился к ней.

— Как сегодня тепло! — сказала она, не оборачиваясь, когда слышала его шаги. — Смотри, как струится воздух над полем. Чувствуешь, как тёплый ветер прикасается к щекам? Лето прощается с нами. Это его последний поцелуй.

Навроцкий обнял её за плечи, и если бы она в этот момент обернулась, то увидела бы в его глазах слёзы.

— Знаешь, я не могу сейчас на тебе жениться... — сказал он тихо, поглаживая ладонью её волосы.

— Это не нужно. Я всё понимаю... Для меня это не важно... Главное, что мы вместе...

---

<sup>1</sup> Мимолетная слабость (фр.).

И ещё горше сделалось ему от этих её слов.

— Я был у матери... — вздохнул он тяжело. — Она лишилась меня наследства, если я женюсь...

— На мне?

— Да.

— Ты мне дороже всех денег на свете, — сказала она, обернувшись к нему.

Он отвернулся, не выдержав её взгляда.

— Человеку ведь немного нужно... Разве ты этого не знаешь?

— Да, знаю, но...

— Нет-нет, я всё понимаю... Неразумно терять то, что принадлежит тебе по праву, ведь так?

— Во всяком случае, всегда находятся люди, готовые ради денег стать несчастными, — не сразу ответил Навроцкий.

И вдруг оба они вскинули головы: там, в вышине, перекркнув небо и непрерывно гогоча, куда-то на юго-запад летела стая гусей...

## 5

То, что случилось с ним в Петербурге, с каждым днём отторгивалось от него всё более плотной пеленой тумана, и Навроцкий мало-помалу обретал душевное равновесие. Если же нежелательные мысли начинали настойчиво стучаться в голову, он садился за пианино, погружался в музыку и забывался. За исключением этих всё более редких тревожных минут, ничто не омрачало его существования. Он понемногу укреплялся в мысли, что, несмотря на угрозы и сопротивление Екатерины Александровны, должен как можно скорее обвенчаться с Лоттой. Любовь

этой девушки с каждым днём значила для него всё больше, затмевая собой не только возможную потерю наследства, но и все другие радости и печали жизни; да и не верилось ему в глубине души, что мать могла поступить с ним так бессердечно.

Несколько дней подряд Навроцкий не уезжал в Петербург, и всё это время они с Лоттой были с утра до вечера вместе. Стояла тёплая, сухая погода, и в эти благословенные и, по всей вероятности, последние деньки бабьего лета они старались как можно больше времени проводить на свежем воздухе, словно желая напоследок надышаться им впрок. Но неумолимое приближение осени, настоящей, холодной, дождливой, всё явственнее ощущалось в природе, отзываясь в душе каждого из них щемящей ноткой. Так же, как любая сулящая новые радости перемена часто внушает человеку и опасения, и боязнь изменить порядок вещей, так и мысль о необходимости переселения в город приятно возбуждала и в то же время пугала их. Однако ход событий, так или иначе влияющих на их жизнь, в скором времени стал определяться вовсе не листками календаря, не изменениями в природе, не предстоящим переездом и даже не собственной их волей...

## 6

По случаю окончания дачного сезона Леокадия Юльевна затеяла бал-маскарад. Получив от неё пригласительный билет, Навроцкий тут же бросил его в мусорную корзину: так далёк он был мыслями от всего, что намекало на светскую жизнь. Но почти одновременно с почтальоном, вручившим ему письмо графини, в Осиную рощу явился посыльный с запиской от Маевского, в которой тот просил

князя непременно приехать на бал-маскарад. Константин Казимирович хотел сообщить Навроцкому нечто чрезвычайно важное и предупреждал, что разоблачит некую причастную к железнодорожной афере особу. Эта записка и решила вопрос, ехать ли ему на бал. Обвенчаться с Лоттой он надумал после бала.

За день до бала Навроцкий уехал в Петербург, чтобы приготовить маску (обязательное условие участия в маскараде) и другие принадлежности костюма. Тотчас за тем, как его автомобиль, оставив за собой завесу из дорожной пыли, покинул Осиную рощу, туда явился ещё один посыльный. Лотта была крайне удивлена, когда оказалось, что доставленное им послание адресовано лично ей. Писем она не ждала, своего летнего адреса никому не оставила — ни аптекарше, единственному человеку, с которым поддерживала связь в Борго, ни товаркам по институту, уже давно ей не писавшим. Какое-то нехорошее предчувствие всколыхнулось в ней, как только она сорвала синюю облатку с продолговатого конверта без обратного адреса. Внутри конверта она обнаружила отпечатанную на пишущей машинке короткую записку. Сердце у неё сильно забилося, когда она прочла:

*Милейшая мадемуазель Янсон! Смеею предположить, что Вам небезынтересно будет узнать, что персона, гостеприимством и, очевидно, особым расположением которой Вы пользуетесь и которая Вам, судя по всему, небезразлична, а именно князь Феликс Николаевич Навроцкий, находится в интимной связи с некою княжной. Доказательство тому Вы сможете, вероятно, наблюдать сами, если явитесь инкогнито, под маской, на бал-маскарад к графине Л. Ю. Дубновой.*

*Сторонний наблюдатель.*

## Глава двадцать вторая

### 1

Анонимное письмо казалось Лотте мерзким и абсурдным, у неё не было никаких оснований подозревать Навроцкого в измене. Да и возможна ли такая измена теперь, когда им так хорошо вдвоём? А если то, о чём написано в письме, всё же правда? Что ж, они не муж и жена — у него есть право в любую минуту оставить её. Ведь она ничего не требует в награду за свою любовь. И всё же, перечитывая эту отвратительную записку, она не могла справиться с внутренней дрожью, сердце её трепетало, мысли мешались. Кто этот сторонний наблюдатель? Кому и зачем понадобилось принять в ней такое странное участие? Или, может быть, унижить её? Она изо всех сил старалась убедить себя, что всё это ложь, и наконец, утомлённая борьбой с собственными сомнениями, совершенно успокоилась. «Кто бы это ни был и что бы это ни значило, — решила она, — нужно непременно поехать на маскарад к графине. Вот будет весело встретить там Навроцкого и вместе с ним посмеяться над этим письмом!» Она вытащила из чемодана пару старых платьев, приготовила лист ватманской бумаги и ножницы, отрезала кусок холста, и за несколько часов работы её маскарадный костюм и маска были готовы. Облачившись во всё это перед зеркалом, она не без удовольствия отметила, что наряд её и мил, и оригинален и узнать её в нём не сможет даже Навроцкий.

Ночью к ней долго не приходил сон, она ворочалась в постели и всё думала — о князе, о себе, о странном письме, о предстоящем маскараде, о том, как чудно им было вдвоём в Борго... Одни и те же мысли и образы кру-



тились у неё в голове как в бесконечном *laterna magica*, мучая, не давая уснуть, и только под утро волшебный фонарь неотвязных видений погас. Весь следующий день она провела в ожидании вечера, спрашивая себя, стоит ли ехать на бал, не будет ли она выглядеть смешной, неразумной бабешкой, когда «зится» туда с этим глупым письмом? И разве Навроцкий не рассказал бы всю правду сам по первому же её требованию? Между тем незаметно подкрались вечерние сумерки, и, уже не думая ни о чём, она быстро оделась и отправилась пешком на станцию, чтобы сесть в поезд, но, оказавшись на шоссе и заведя ехавшего в сторону города пустого извозчика, остановила его и приказала ехать в Удельную.

— В Удельную? — переспросил извозчик. — Да куда в Удельную-то?

— К даче графини Дубновой.

— Это к той, что по ночам-то сияет? Знаю, знаю... Выходил туда...

Всю дорогу, сама удивляясь своей смелости, Лотта завалась одним и тем же вопросом: не благоразумнее ли было бы вернуться? Но желание поскорее увидеть Навроцкого, сделать ему сюрприз, да и простое любопытство гнали её вперёд.

Ярко освещённая электрическими огнями летняя резиденция графини в густых сумерках имела сказочный вид. Дорожка, по которой к дому проходили прибывающие в автомобилях и экипажах гости, была освещена плашками с горящим маслом. По сторонам ступенек, ведущих на обширную террасу, окаймлённую балюстрадой и предваряющую собой парадный вход, горели два больших факела. Публика нахлынула как-то вся сразу, и площадку напротив дачи скоро загромодили многочисленные

коляски и авто. Из второго этажа, окна которого струили в окружающую тьму мощное электрическое сияние, через широкую лестницу и распахнутые створки парадной двери на улицу вытекали звуки настраиваемых музыкальных инструментов, людского говора и смеха. Не решаясь выйти из экипажа, Лотта приказала извозчику ждать.

Вскоре по характерному стуку мотора она узнала автомобиль Навроцкого. Ослепив её на мгновение светом фонарей, он выехал на площадку и медленно двигался в поисках места для стоянки. Она видела, как Навроцкий, прежде чем выйти из авто, быстрым, аккуратным движением надел маску и, захлопнув дверцу, лёгкой, молодцеватой походкой прошёл по дорожке к террасе. Взбежав по ступеням, он оправил на ходу фалды фрака и вошёл внутрь. Вмиг отбросив все колебания, Лотта также надела маску и, отпустив извозчика, поспешила за князем.

Дамы и девицы, в специально отведённой для них комнате рядом с передней, скидывали с помощью горничных графини свои пелерины и *sorties de bal*<sup>1</sup>, поправляли перед зеркалом причёски и в причудливой пестроте маскарадных платьев, в блеске браслетов и ожерелий поднимались по широкой, устланной тёмно-зелёным ковром лестнице в просторную залу бельэтажа, где эти пестрота и блеск, вливаясь в карнавальную роскошь нарядов других дам, переходили в сплошное сияние, усиленное светоносной торжественностью хрустальных люстр. Великолепные и смелые туалеты женщин — неоспоримое свидетельство необузданности женской фантазии — перемежались более скромной одеждой мужчин: офицерскими мундирами и фраками; в отличие от дам мало кто из мужчин был

---

<sup>1</sup> Бальные накидки (фр.).

одет в настоящий маскарадный костюм, большинство из них ограничились масками.

Ослеплённая представшим её глазам зрелищем, Лотта испытывала неловкость из-за скромности своего наряда и украшений. По неопытности она не догадывалась, что изумрудные фермуары и жемчуга на шеях дам, бриллианты на их пальцах — сплошь подделки, что, отправляясь на маскированные вечера и опасаясь быть узванными, дамы предпочитают надевать фальшивые камни и дешёвую бижутерию из магазина Кепта и Тэта. И всё же маска и костюм цыганки помогли ей справиться с робостью. Потеряв на какое-то время Навроцкого из виду, она окинула внимательным взглядом залу и, как только снова нашла князя среди пёстрой толпы, принялась за ним наблюдать. Это невинное шпионство казалось ей забавной игрой. Она живо представила себе, как удивится и обрадуется Навроцкий, когда, незаметно подкравшись к нему, она проделает какую-нибудь шалость: закроет ему ладонью глаза, дёрнет за фалду фрака или у всех на виду заключит в объятия, а когда он онемееет от неожиданности, присядет перед ним в очаровательном реверансе и — *me voilà!*<sup>1</sup> — снимет с себя маску. Эта игривая мысль так горячила её, что она едва сдерживалась, чтобы тотчас не осуществить задуманное.

## 2

Не успел Навроцкий войти в просторную зеркальную залу, как зазвучал ритурнель и публика зашевелилась, готовясь танцевать. Дамы и барышни незаметно одёргивали платья и поправляли причёски, мужчины приосани-

---

<sup>1</sup> Вот и я! (фр.)

вались и скользили придирчивыми взорами среди талий и декольте, выискивая подходящих партнёров, лица которых, увы, скрывали маски. Навроцкого несколько удивило, что графиня допустила оплошность и не запретила мужчинам явиться в офицерских мундирах: знаки отличия вкуче с комплекцией выдавали некоторых с головой. Несмотря на солидные размеры, зала казалась тесной, ведь в добавление к прочим своим достоинствам Леокадия Юльевна слыла ещё и ревностной устроительницей балов, на которые охотно съезжалась многочисленная петербургская публика. Осмотревшись, Навроцкий принялся разыскивать Константина Казимировича, но фантастическая толпа в масках оставляла ему мало шансов на успех. Пробираясь вперёд, он деликатно здоровался с теми, кого узнавал, и расспрашивал их о Маевском, но тактика эта не привела его к цели. Наконец он решил постоять где-нибудь на одном месте в надежде на то, что Маевский найдёт его сам. Устроившись в сторонке около невысокого роста дам, чтобы его лучше было видно, он стал терпеливо ждать и прислушиваться к тому, что говорят вокруг: авось кто-нибудь да упомянет имя Маевского. Слух его, однако, улавливал обрывки совсем других разговоров.

— Что это у тебя, милочка? — спрашивала стоявшая рядом пожилая дама свою юную племянницу.

— Карнэ<sup>1</sup>, тётенька.

— Вижу, что карнэ, да зачем он тебе?

— Как зачем? Для танцев, конечно!

— Как же ты глупа, милочка! Карнэ сегодня бесполезен. Ведь все в масках! Это же маскарад!

---

<sup>1</sup> Книжечка или дощечка, где кавалеры, записываясь на танцы, проставляли свои фамилии (от *фр.* carnet — записная книжка).

«Вот и Маевский в маске, — думал Навроцкий. — Как же это неразумно с его стороны — позвать меня туда, где нет никакой возможности узнать друг друга!» Он мрачно взглянул на натянутое между двух колонн полотнище с надписью: «За снятую маску — штраф 100 руб. и удаление с бала!!!». «Снять маску и заплатить сто рублей? — подумал он. — Так ведь нет же с собой ста рублей. Ну, допустим, можно заплатить штраф потом, но привлечь к себе внимание таким глупым образом... Да и с бала придётся уйти. Нет, не годится». Постояв ещё немного, он решил попытаться разыскать графиню и навести справки о Маевском у неё, как вдруг к нему подошла молодая дама в костюме чародейки и, не проронив ни слова, потянула его за собой. Попытку Навроцкого что-то возразить она остановила, приложив палец к губам, и в голове у него пронеслось: «Ну конечно же! Её прислал Маевский!» Дама между тем увлекла его из залы в смежные комнаты и, когда они очутились в одной из них тет-а-тет, закрыла за собой дверь и обернулась к нему.

— Маска, я тебя знаю, — сказала она, прикрывая рот платочком, чтобы нельзя было узнать голос. — Ты князь, ты не женат, ты намеревался жениться, но получил отказ...

Она сделала паузу и, не дав ему опомниться, одним движением сняла маску. Навроцкий опешил: перед ним стояла Анна Фёдоровна. И в то же мгновение до него долетел волшебный запах её духов.

— Ах, это вы! — проговорил он растерянно.

— Вы, кажется, разочарованы?

— Я?.. Нет, что вы... Впрочем, вы не видели Маевского? — спросил он, стараясь скрыть смущение.

— Нет.

— Но здесь ли он?

— Не знаю. Я его не видела. Но разве вы из-за него пришли?

— Да. Он прислал мне записку и просил быть.

— Значит, вы пришли не из-за меня?

Анна Фёдоровна с укоризной взглянула на князя.

— Я не знал, что вы тоже будете здесь...

Он снял маску. Она с нежностью посмотрела ему в глаза:

— Феликс, ты знаешь, я...

Бархатный, чудный голос её дрогнул и оборвался. Она чуть опустила длинные ресницы на заблестевшие глаза, положила мягкую, благоухающую ладонь ему на плечо и, встав на цыпочки, поцеловала его в губы долгим, многозначительным поцелуем. В тот же момент скрипнула дверь и из-за неё показалась фигура девушки в костюме цыганки. Девушка, словно потерявшись, несколько секунд неподвижно смотрела на них и так же внезапно, как появилась, скрылась за дверью. Тотчас за этим из-за двери послышался странный шум.

— Ах! — вскрикнули разом два-три женских голоса.

— Воды! — кричал кто-то. — Принесите воды!

Навроцкий, надев маску, выбежал из комнаты и увидел, что девушка лежит на полу без чувств. Он нагнулся, чтобы снять с неё маску, но кто-то остановил его:

— Оставьте её! Это не полагается!

Вскоре девушка очнулась и, когда принесли воды, сделала несколько глотков.

— Благодарю, — промолвила она очень тихо.

Она поднялась, опираясь на протянутую ей руку, и сделала несколько шагов. Толпа перед ней расступилась, и блондинка в костюме цыганки затерялась среди гостей.

— Странная барышня... Кто это? — спрашивали в толпе одни.

— Не имею чести знать, — пожимали плечами другие.

### 3

На другой день после бала-маскарада Анна Фёдоровна получила с посыльным письмо. Подпись *Лёля* удивила и встревожила её. Прочтя письмо, она надолго задумалась. Она ходила по будуару с папироской и изредка открывала окно, чтобы набрать в лёгкие глоток прохладного воздуха. «У женщин не принято выяснять отношения подобным образом... — в который уже раз пробегала она глазами аккуратные строчки письма, — но странная неприязнь и даже ненависть друг к другу, давно живущая в нас, а более всего это унижительное соперничество в любви, требуют какого-то разрешения...» Анна Фёдоровна вспоминала проведённые в институте годы и спрашивала себя: «Ненависть? Разве это была ненависть?» Она подходила к зеркалу и вглядывалась в своё лицо. «Разве меня можно ненавидеть? — думала она. — За что?» Она взяла в руки фотографический альбом и раскрыла его в том месте, где был вклеен последний снимок их класса. Вот она сама, вот Лютик, а вот и юная Лёля. Разве она, Анюта, это очаровательное создание, могла ненавидеть Лёлю? «Нет, это была не ненависть, это была глупость, — рассуждала княжна. — Глупая детская вражда!» Затем она вспомнила их с Навроцким поцелуй у порожистой, бурной реки и единственную ночь, проведённую с ним, и у неё защемило в груди. «Где-то теперь Феликс? — думала она. — Знает ли он об этом письме? Нет, разумеется, не знает. — И, походив ещё некоторое время по комнате, наконец решила: — Ну да всё равно. Пусть

будет так, как угодно богу». Она загасила в пепельнице папироску, сняла с рожка трубку телефона, назвала номер Любоньки Цветковой, и где-то в тёмной, влажной глубине её грустных глаз на мгновение вспыхнули азартные искорки...

#### 4

Безуспешно пытаясь разыскать Маевского, которому, вероятно, что-то помешало явиться на маскарад к графине, и надеясь, что тот ему телефонирует, Навроцкий три дня провёл в Петербурге. Когда на третьи сутки вечером он наконец вернулся в Осиную рощу, в доме было тихо. Лотта не встретила его по обыкновению внизу, и тогда он поднялся к ней сам. Она стояла в углу комнаты перед иконой, спиной к нему. Подойдя к окну, он с минуту любовался видом на парк и озеро.

— Ты ведь бросишь меня? — вдруг промолвила она, не оборачиваясь. — Бросишь?

— Отчего же мне тебя бросать? — удивился Навроцкий.

Она резко обернулась и устремила на него заплаканные, воспалённые глаза. Он невольно вздрогнул и несколько секунд стоял ошеломлённый: такой он никогда её не видел. Почувствовав необходимость обнять и успокоить её, он сделал шаг, но заметил, что в руке у неё что-то блеснуло, и, узнав свой «Веблей», от неожиданности остановился. Она подняла руку, чёрное дуло метило ему в грудь. «Вот она, испанская-то кровь!» — успело пронестись в его голове прежде, чем револьвер выстрелил. Слух его различил, как что-то прошипело и чмокнуло у него за спиной. На мгновение ему показалось, что он ранен.



Лотта опустилась на кровать и, бросив револьвер на постель, закрыла лицо руками.

— Ну и бросай, — промолвила она и упала лицом в подушку.

Оправившись от испуга и сообразив, что пуля его не задела, Навроцкий оглянулся вокруг: на подоконнике раскрытого окна лежал мёртвый голубь.

— Убери его! — сказала Лотта.

Преодолевая безразличность, Навроцкий потянулся к голубю, но в ту же минуту откуда-то с крыши на подоконник прыгнул жирный хозяйский кот. Схватив голубя, животное торопливо и воровато поволокло его через комнату и открытую дверь вниз по лестнице, оставляя на полу полосу из пятен крови. Увидев кота с мёртвым голубем в зубах, Лотта вздрогнула, по губам её пробежала судорога отвращения.

— Почему ты не убрал его? — спросила она дрогнувшим голосом.

— Не успел.

Навроцкий взял с постели револьвер, поставил его на предохранитель и, погладив Лотту по голове, склонился, чтобы поцеловать её. Она отвернулась к стене.

— У меня болит голова, — сказала она. — Я хочу побыть одна.

Навроцкий спустился вниз и спрятал «Веблей» в ящик комода.

Весь вечер Лотта провела у себя в комнате, ссылаясь на нездоровье. Разговаривать с Навроцким она отказалась, и единственное, что ему оставалось, — это ждать лучшей минуты.

Лотта проснулась рано, перед рассветом, когда Навроцкий ещё спал крепким, беспробудным сном. Она оделась, привела в порядок волосы и, стараясь не шуметь, вышла на крыльцо. Вынырнувшее из-за горизонта солнце начинало приятно пригревать плечи. После временной непогоды как будто вновь вернулось бабье лето с тёплыми, росистыми утрами. Она вошла в парк, пересекла его по петляющей среди жёлтых дубов аллее и оказалась на большой поляне, примыкающей к парку с противоположной стороны. Здесь она сняла туфли, сбросила с плеч шаль и пошла босиком по мокрой траве.

На поляне никого не было, но ждать ей пришлось недолго. Вскоре на дороге в открытой коляске показались Анна Фёдоровна и Любовь Егоровна. Извозчику они приказали отъехать и ждать неподалёку за берёзовой рощицей. Завидев Лотту, они тоже сняли туфли. Любонька несла небольшой саквояж с двумя дуэльными пистолетами и средствами первой медицинской помощи на случай ранения. Доктора с ними не было, но Любонька одно время посещала курсы сестёр милосердия и кое-что в этом деле понимала. Она, однако, сильно волновалось: в этой безрассудной дуэли, вопреки правилам, ей предстояло играть роль и доктора, и общего для обеих дуэлянок секунданта.

— Здравствуй, Лёля! — сказала она Лотте, с трудом сдерживаясь, чтобы не обнять её и не заплакать. Ужас её положения мешал ей думать, она не находила нужных слов и прибавила первое, что пришло в голову: — А чудное сегодня утречко, правда?

— Здравствуй, Лютик! — сухо проговорила Лотта.

Решительное, сосредоточенное на какой-то мысли лицо Лотты смутило Любоньку ещё больше, и молча,

не переставая улыбаться глупой, виноватой улыбкой, она подала каждой из противниц пистолет.

Заранее было условлено, что Любонька не будет примирять бывших товарок, и девушки, не проронив ни слова, разошлись в противоположные углы поляны. Лицо княжны было бледным и напряжённым: она провела бессонную ночь. У Любоньки от страха вдруг задрожали все члены. Баба, гнавшая по тропинке вдоль парка тощую козу, заведя девушек с направленными друг на друга пистолетами, остановилась как вкопанная и перекрестилась.

Целясь в Анну Фёдоровну, Лотта чувствовала, что её знобит, будто в лютый холод, на лбу у неё выступила испарина, мысли пугались. Она действовала почти бессознательно, с трудом понимая, что происходит. «Убить это красивое, нежное существо? — стучало у неё в голове. — Уничтожить прекрасный цветок, рождённый благоухать и радовать глаз? Кто дал мне на это право? Нет, не могу, не могу, не могу...» Она отвела руку вверх и в сторону. Выстрел грохнул и отозвался где-то в парке сухим, надтреснутым эхом.

— Господи Иисусе! — перепугалась баба и принялась неистово креститься. — Спаси и сохрани! Спаси и сохрани!

Анна Фёдоровна медлила, выстрел был за ней. Лотта закрыла глаза и мысленно попросила бога избавить её от мучений. И в эту минуту пустоты и тьмы в её сознании мелькнуло странное видение: тихий вечер опускается на деревья, на озеро, на крыши; она притулилась на подоконнике дачного дома, и мягкий ветер приятно касается её оперения; в комнате люди, но она их не боится: люди никогда не причиняли ей зла; округлыми голубиными глазами доверчиво смотрит она на белокурую девушку, наставляющую на неё дуло револьвера; ещё мгновение — и что-то с ужасной болью обжигает и разрывает её грудь,

бьёт об раму окна безжизненное её тело, бросает его в теплую лужицу собственной крови...

— Девочки! — не выдержав, закричала Любонька. — Анюта! Лёля! Что же мы делаем? Господи! Это же безумие!

Княжна опустила пистолет, но он вдруг выскользнул у неё из руки, стукнулся об камень в траве и выстрелил. Любонька и Лотта вздрогнули. Баба от испуга присела на корточки, подле неё упала перебитая пулей ветка.

Анна Фёдоровна рухнулась на землю без чувств. Любонька подбежала к ней и принялась хлестать её по щекам. Лотта тоже подошла. Княжна лежала бледная, словно изваянная из мрамора, и такая красивая, что Лотта невольно залюбовалась ею. Вскоре Анна Фёдоровна очнулась, и девушки помогли ей встать. Не выдержав, Лотта обняла её, и у обеих по щекам потекли слёзы. Любонька засмеялась беззвучным нервическим смехом.

— Он твой, — тихо сказала Лотта и пошла прочь. На краю поляны она надела туфли, накинула на плечи брошенную шаль и скрылась в глубине парка...

## Глава двадцать третья

### 1

— Фе-еликс! Фе-еликс! — зовёт его Анна Фёдоровна голосом сирены.

Она смотрит на него с загадочной полуулыбкой, машет ему призывно рукой, гибкой и тонкой, как стебель лилии, манит к себе полуоткрытыми губами, с которых слетает сладкое и беззвучное дуновение, завораживает колы-

ханием распущенных, вьющихся волос, и он идёт к ней, подчиняясь её властным чарам, лишённый собственной воли. Она уводит его в чудесный сад, окружённый высокой, сложенной из камня стеной, по которой, перемежаясь старой виноградной лозой, лепится цепкий зелёный плющ. Сверкающие на солнце дуги фонтанов падают в прохладную голубизну бассейна, обрамлённого цветниками. Ти-хо. Не слышно даже птиц. Лишь плескание хрустальных струй нарушает музыку тишины. Она скидывает с себя лёгкие, полупрозрачные одежды, прижимается к нему молодой, вздымаемой дыханием грудью, точно наполненной таинственным нектаром жизни; нежное, волнующее прикосновение её плоти томит его неутолённой жаждой. И вдруг он чувствует на себе горящий взгляд цыганки, прекрасной и юной, как весенний полевой цветок. Кто она? Что делает она в этом дивном саду? Она держится за ствол яблони, обременённой спелыми, румяными плодами, и смотрит на него долгим и странным взглядом, в котором смешалось всё: и упрёк, и жалость, и огненная страсть. И хочется ему что-то сказать, объяснить юной деве, заглянуть в её серо-голубые, совсем не цыганские, глаза, и он идёт к ней, почти бежит, но едва лишь делает несколько шагов по дорожке сада, как она исчезает, растворяется без следа в жарком, струящемся воздухе...

— Фе-еликс! Фе-еликс! — снова зовёт его бархатный голос Анны Фёдоровны...

Проснувшись, Навроцкий несколько минут лежал с закрытыми глазами, пытаясь хоть ненадолго удержать блаженное и тревожное очарование сна, но оно уходило, уходило... и наконец навсегда отлетело в далёкий, недоступный мир мёртвых сновидений. Когда он вышел из спальни в столовую, стол уже был накрыт к завтраку.

— Лотта ещё не спускалась? — спросил он Машу.

— Да, кажись, нет барышни, — отвечала девушка, пожав плечами. — Об эту пору они уже вставши бывают, а сегодня, как пришла, не видала их. Верно, отлучились куда спозаранку-то.

Навроцкий поднялся в комнату Лотты. Там никого не было, постель была прибрана, всё стояло на своих местах.

Позавтракав, он отправился на велосипедную прогулку, но в одиночку уезжать далеко ему не хотелось, и вскоре он повернул назад в надежде на то, что Лотта уже возвратилась. Но её всё ещё не было. Он взял книгу, но чтение не шло ему в голову. Впервые за всё время их совместного проживания он не знал, где она находится, и забеспокоился. После ужина он снова сел на велосипед и поехал искать её, но не нашёл ни в парке, ни на берегу озера, ни в ближайших окрестностях.

Всю ночь он не мог заснуть и, прождав ещё полдня, в сильной тревоге отправился на железнодорожную станцию в Левашово, откуда по телефону заявил в полицию об её исчезновении. Сбивчивую речь Навроцкого в полиции выслушали внимательно, вежливо заметив, что сутки или двое — слишком небольшой срок, чтобы беспокоиться. Тем не менее после его настойчивых уверений, что девушке совершенно некуда было пойти, ему пообещали прислать своего человека. К немалому его удивлению, уже часа через два после его возвращения со станции возле дома остановилась коляска, из которой вышел долговязый молодой человек в очках с толстыми круглыми стёклами. Навроцкий встретил его на крыльце.

— Светозар Овечкин, сыскная полиция, — назвался гость, и очки его заблестели на солнце.

Господин Овечкин не любил упоминать свою скромную должность в сыскной полиции, слово «помощник» заставляло его краснеть до ушей. Втайне он мечтал об уходе патрона на пенсию и мысленно уже занимал его место. В этот день он впервые выполнял служебные обязанности один, без начальника, уехавшего подлечить подагру на кавказские минеральные воды, и целиком был поглощён мыслью о том, насколько хорош он в роли настоящего уголовного следователя, ведущего собственное расследование.

— Феликс Навроцкий, — представился князь. — Прощу вас...

Овечкин вошёл в дом и осмотрелся.

— Вы утверждаете, что проживавшая у вас девица Янсон исчезла? — спросил он, стараясь придать голосу солидности.

— Именно так. Разумеется, я не могу утверждать это на верное, но её нет уже второй день.

— Когда точнее вы обнаружили её исчезновение?

— Вчера утром.

— Гм... Рановато вы изволили обеспокоиться, — недовольно покачал головой Овечкин. — Впрочем, сколько ей лет?

— Двадцать один год.

Овечкин достал из кармана пиджака блокнот и начал записывать.

— Как она выглядит?

— Блондинка, немного выше среднего роста, худощавая... глаза серо-голубые...

— Особые приметы?..

— Не знаю... Пожалуй, нет никаких...

Овечкин неловко потоптался на месте, постучал карандашом по блокноту.

— А что же её вещи?

— Вещи, кажется, остались на месте.

— Вы позволите на них взглянуть?

Навроцкий провёл полицейского наверх, в комнаты Лотты, где тот с любопытством осмотрел обстановку.

— Так она проживала здесь, наверху?

— Да.

— Если я верно понял, вы жили отдельно?

Овечкин навёл свои круглые стекляшки на Навроцкого.

— Совершенно верно, мы жили отдельно, каждый — в своих комнатах.

— Гм...

Овечкин ещё раз покрутил головой по сторонам. Заметив в углу комнаты мольберт, он приподнял накиннутый на него кусок ткани, под которым оказался картон с припиленным рисунком.

— Гм... Недурно... Рисовала сама мадмуазель Янсон?

— Да. Это всё её рисунки.

Овечкин быстро оглядел несколько висевших на стене акварелей, не задерживая внимания ни на одной из них, и небрежно порывшись в папке с листами эскизов.

— У вас имеется какое-нибудь оружие? — спросил он вдруг, оторвавшись от папки.

— Револьвер.

— Позвольте, пожалуйста, и на него взглянуть.

— Одну минуту.

Навроцкий спустился к себе, достал из комода «Веблей» и, вернувшись, передал его полицейскому.

Овечкин повертел револьвер в руках, понюхал его, взглянул в ствол.

— Ф. Н.? Феликс Навроцкий, стало быть?

— Именно.



Овечкину показалось, что подобную монограмму он где-то уже видел, и совсем недавно. Но где? Он силился вспомнить — и не мог. Изъясн памяти встревожил его мозг, взбудоражил нервы.

— Не найдётся ли у вас выпить? — спросил он, стараясь не выказывать своего возбуждения.

— Выпить? — переспросил Навроцкий.

— Да. Воды...

— Ах, воды... Да, конечно...

И пока Навроцкий спускался за стаканом воды, Овечкин ходил по комнате в отчаянии от неспособности вызвать в памяти то, что необходимо именно в эту минуту, а не потом, когда будет поздно. Он остановился перед стеной и от злости на самого себя готов был прошибить её головой, как вдруг его осенило, что точно такая монограмма была вышита на шарфе, повязанном на шее женского трупа, выловленного утром из Невы речной полицией. Овечкин присутствовал на месте происшествия и сейчас живо вспомнил ледяной ужас, сковавший его при виде мёртвого тела, которое лежало на ступенях набережной у Горного института. Посиневшие ноги утопленницы безобразно торчали из-под задравшейся юбки, под приподнятой кем-то тряпицей, прикрывавшей лицо, мелькнул острый, неестественно откинувшийся подбородок... Это неожиданное открытие привело Овечкина в сильное волнение. В голове его промчался ураган самых разнообразных соображений, и среди них крутилась приятная мысль о том, что это преступление может стать первым раскрытым им самостоятельно, без участия его всеведущего патрона. Удача, кажется, повернулась к Овечкину лицом, и теперь он наконец-то сможет заявить собственный талант полицейского. Да и сколько же можно быть на побегуш-

ках при судебном следователе? С этой монограммы на шарфе для него может начаться совсем другая жизнь: новая должность, хорошее жалованье, слава! Фантазия Овечкина взметнулась ввысь, как надутый горячим воздухом шар. Он почувствовал, что потеет под мышками, и одним махом осушил принесённый ему стакан воды. Важно было взять себя в руки, сосредоточиться, не дать противнику понять, что клубок преступления уже раскручивается в его, Овечкина, голове. Он поставил стакан на стол и как бы между прочим заметил:

— А нагар-то в стволе револьвера — свежий. Стреляли?

Навроцкий подумал, что если рассказать, как всё произошло, положение его может серьёзно усложниться. Как он объяснит, почему Лотта целилась в него, почему выстрелила? Как ни старайся, выйдет всё равно плохо, полиция может построить на этом бог знает какие предположения.

— Да, стрелял...

— Где же, позвольте узнать?

— В лесу...

— В кого?

— Ни в кого. В цель... В дерево...

— А зачем?

— Упражнялся...

— Гм... Ну ладно... Но револьвер ваш я пока заберу.

Овечкин подошёл к окну, выглянул во двор и вдруг заметил в оконной раме тёмное углубление величиной с копейку. Достав из кармана перочинный ножик, он осторожно выковырнул из рамы кусочек металла. На пуле, на оставленной ею вмятине и на подоконнике были видны бурые пятна. Отвернувшись от окна, Овечкин сделал вид, что ничего существенного не обнаружил, пулю же незаметно положил в карман. Рассказывая по комнате и бормоча

«Так-с, так-с, так-с...», он соображал, как ему лучше поступить. Оставить подозреваемого Навроцкого здесь, на даче, было нельзя, немедленно арестовать его он тоже не мог: ни постановления прокурора, ни полномочий судебного следователя, ни полицейских для конвоя у него не было. Вот если отвезти его под подходящим предлогом в часть и уже затем взять под стражу...

Терпеливо ожидая завершения мыслительного процесса в голове полицейского, Навроцкий занялся раскуриванием сигары.

— Вот что, господин Навроцкий, — сказал наконец Овечкин. — Вы должны в письменном виде дать кое-какие объяснения, подписать одну бумагу... протокол. Но для этого вам придётся съездить со мной в часть. Там это будет удобнее. Нам необходимо также кое-что проверить. Сами понимаете, формальности...

— Что ж, как вам будет угодно, — не возражал князь.

## 2

В полицейской части, в кабинете шефа, Овечкин снял с полки какую-то папку и порылся в бумагах.

— Прошу меня извинить, я сию минуту вернусь, — сказал он Навроцкому и вышел.

Неплотно притворив за собой дверь, он несколько секунд понаблюдал через щелочку за князем и направился по коридору в одну из комнат, откуда скоро вышел, засовывая в карман тёмный матерчатый предмет. Вернувшись в кабинет, он с деланной небрежностью вынул из кармана шарф и положил его перед Навроцким.

— Кстати, шарфик узнаете? — спросил он весело.

— Да, это мой шарф... — удивился Навроцкий.

— Разумеется! Отрицать это трудно. Вот и вензель здесь красуется... Такой же, как на вашем револьвере. — Овечкин достал из кармана ещё один предмет. — Бумажник, надо полагать, тоже ваш?

Навроцкий узнал свой старый бумажник с такой же монограммой, но никак не мог вспомнить, когда он его потерял.

— Да, мой. Как он к вам попал?

— Как он к нам попал? Гм... — Овечкин сделал несколько шагов по кабинету, придав своей продолговатой физиономии насмешливое выражение, и вдруг резко повернулся к князю. — Впрочем, вашу Лотту Янсон мы тоже уже нашли, — сказал он, не отрывая от князя пытливого, сверлящего взгляда.

Навроцкий вздрогнул.

— Как нашли?!

— Вот так. Нашли-с.

— Где же она? Почему вы не сказали об этом сразу?

— Ну, почему-почему... Такая уж у нас служба, знаете ли... — самодовольно проговорил Овечкин.

Из участка Навроцкий был доставлен в морг, где ему для опознания предъявили женский труп. И как только Овечкин осторожно, двумя пальцами, приподнял край простыни, закрывавшей лицо покойницы, на котором было несколько ссадин, у Навроцкого задрожало всё тело; чувствуя, что слабеют ноги, что сознание вот-вот покинет его, он ничего не мог поделать с этой насквозь пронявшей его дрожью, точно какая-то машина стиснула и трясла его. Он беспомощно и тупо смотрел на мёртвое тело.

— Вы узнаете её? — спросил Овечкин. — Это Шарлотта Янсон?

— Да, — едва слышно выдавил из себя Навроцкий.

— Между прочим, сквозное пулевое ранение... — сказал Овечкин, брезгливо ткнув пальцем в труп.

Но голос его долетел до Навроцкого как будто издали. Он закрыл глаза и отвернулся. Перед ним откуда-то из темноты явился образ Лотты, её улыбка, волосы, руки... Вот кружатся они в вальсе, окна дачи и весь мир вращаются вокруг них, и крутится, крутится пластинка граммофона... Вот тонет он в озере, захлабывается, уходит под воду, и, когда его оглушает мысль о неизбежности конца, она вдруг оказывается рядом, выталкивает его на поверхность... На него накатила волна удушья, он почувствовал сильное головокружение и начал судорожно расстёгивать воротник рубашки, но пальцы, беспомощно бегая по пуговицам, не слушались его. Лицо Овечкина, взирающего на него с каким-то странным интересом, стены мрачного помещения, освещённого тусклым, неровным светом, мёртвое тело Лотты — всё поплыло у него перед глазами. И он медленно, как догорающий сноп соломы, осел на холодный пол морга...

### 3

Вечером, после того как Навроцкого привели в чувство и привезли в сыскное отделение, он был арестован.

*Конец второй части*

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## Глава двадцать четвёртая

### 1

Выйдя в отставку, Пётр Алексеевич Тайцев первым делом отправился в Борго, чтобы провести несколько дней на даче Навроцкого — поудить рыбу, попариться в баньке, подумать в тишине о дальнейшем житье-бытье. Он охотно пользовался любезным предложением князя навещать пустующую дачу и взял на себя труд присматривать за ней и поддерживать небольшое дачное хозяйство в исправном состоянии. Приезжая туда, он занимал в доме небольшую комнату внизу и почти всё время проводил на воздухе, развлекая себя рыбалкой и мелкими столярными поделками, а в ненастную погоду — чтением исторических и душеполезных романов. Вот и теперь, прибыв на место в благодушном расположении духа, Пётр Алексеевич по обыкновению тщательно осмотрел дом и двор — всё ли в порядке, всё ли на месте — и, натянув между двумя соснами гамак, устроился в нём, укрывшись шерстяным пледом. Потягиваясь от удовольствия, он принялся разбирать захваченную с собой для коротания досуга пачку петербургских газет, но предаться одному из приятнейших занятий — вздремнуть часок-другой в гамаке — ему так и не удалось: не прошло и получаса, как в одной из газет он наткнулся на статейку о деле Навроцкого. Про-

бежав её несколько раз, внимательно прочитав и перечитав, он в недоумении стал просматривать остальные газеты и везде находил одно и то же: «Загадочное исчезновение в Осинной роще», «Князь подозревается в убийстве своей любовницы», «Речная полиция выловила тело убитой», — кричали заголовки. Пётр Алексеевич бесконечное число раз вчитывался в жуткие строки и не мог поверить собственным глазам. Он то надевал, то снимал очки, бессознательно протирая их носовым платком, точно желал проверить, не в очках ли заключается причина недоразумения. «Навроцкий убил Лотту Янсон?! О, это невозможно! Это какая-то нелепица, абсурд!» — восклицал он вслух, обращаясь к какому-то невидимому оппоненту. Совершенно сбитый с толку, слезая с гамака, он от волнения чуть не упал. Для того чтобы как-то восстановить способность мыслить, он стал ходить по двору, подбирать с земли мелкие предметы и тотчас отбрасывать их в сторону за ненадобностью. И лишь только он понял, что всё, что написано в газетах, — не злая шутка, придуманная кем-то, чтобы испортить ему отдых, а имеет под собой какое-то пусть и невероятное, фантастическое, трижды нелепое, но всё же основание, он тут же решил, что его святейший долг, — даже если газеты не врут, если и вправду какое-то чудовищное стечение обстоятельств послужило причиной несчастья, — засвидетельствовать в суде, что лично он знает Феликса Николаевича только с самой лучшей стороны и может поручиться за его исключительную порядочность. Он вспомнил также о старом своём приятеле судебном следователе Платоне Фомиче Милосердове и не теряя времени начал собираться обратно в Гельсингфорс, чтобы оттуда первым же утренним поездом выехать в Петербург.

В Выборге Пётр Алексеевич вышел на минуту из поезда и купил свежую газету. Из неё он узнал, что во второй половине дня дело Навроцкого будет слушаться в окружном суде, и, как только локомотив, свистя и отдуваясь, зашёл в гавань Финляндского вокзала, поспешил в суд. Когда председатель суда, разъяснив присяжным их права и обязанности и упомянув о лежащей на них ответственности, привёл их к присяге, Пётр Алексеевич уже сидел с краю на последней скамье, переводя дыхание и протирая платком вспотевший лоб. Несмотря на громкие заголовки в газетах, публика в зале была немногочисленной и случайной, пришли, очевидно, лишь самые любопытные и те, кто нашёл здесь временное убежище от осенней непогоды. Увидав взятого под стражу Навроцкого, бледного, осунувшегося, Пётр Алексеевич поздоровался с ним кивком головы, и тот ответил ему усталой, печальной улыбкой, сквозь которую, как показалось полковнику, проглядывала спокойная уверенность, что всё это недоразумение скоро кончится. Пётр Алексеевич немного успокоился.

После оглашения обвинительного акта председатель спросил обвиняемого, считает ли тот себя виновным, на что получил отрицательный ответ. Изложение обстоятельств дела и зачтение материалов предварительного следствия товарищ прокурора, толстенький господинчик с курчавой, густой шевелюрой, закончил следующей речью:

— Господа судьи, господа присяжные заседатели! Преступление, которое мы сегодня здесь разбираем, поражает всякого честного человека своей безнравственностью. Разумеется, господа, любое преступление безнравственно, но здесь мы имеем типичный образец падения нравов



нашего времени! Господин Навроцкий, дворянин, князь, человек с университетским образованием, принадлежащий к лучшей части нашего общества, к его, так сказать, сливкам, соблазнив девицу Шарлотту Янсон, находился с ней в незаконном сожителстве, в котором грубая физическая страсть поругала всё святое, что связываем мы с институтом брака, освящённым церковью, и в конце концов привела к трагической, но, увы, закономерной развязке. Вот, господа, нравы нашего времени! Вот их падение! И если мы не остановим это падение сегодня, если не скажем эрозии общественной нравственности: «Довольно! Довольно!» (на втором «довольно» товарищ прокурора повысил голос и поднял кверху указательный палец), что мы будем иметь завтра? В каком обществе будут жить наши дети?

Уперев глаза в публику, товарищ прокурора на несколько секунд замер. Из задних рядов кто-то крикнул: «Верно!»

— Господа присяжные заседатели, — продолжал оратор, — позвольте мне ещё раз остановиться на мотиве данного преступления. Он очевиден: запутавшись в денежных делах, в биржевых спекуляциях, господин Навроцкий решил во что бы то ни стало исправить положение, и сделать это он мог — как ему, надо думать, это представлялось, — лишь вступив в брак с особой состоятельной. Что же мешало ему? Разумеется, господа, ревность его любовницы, угроза публичного скандала, который та могла учинить.

В голосе товарища прокурора слышались сильные нотки. Ухватив пухлой, коротенькой ручкой графин и плеснув в стакан немного воды, он неловко его осушил.

— Итак, картина преступления ясна. Шарлотта Янсон, с которой обвиняемый проживал на даче в Осинной роще, из анонимного письма узнала, что господин Навроцкий изменяет ей. Через несколько дней, по возвращении обви-

няемого из Петербурга на дачу, между ним и девицей Янсон произошла сцена ревности, закончившаяся ссорой. Обвиняемый выстрелил в девицу Янсон и смертельно ранил её, о чём свидетельствуют пятна крови на полу в её комнате, пуля, застрявшая в оконной раме, нагар в стволе принадлежащего обвиняемому револьвера «Веблей» и, наконец, сквозное пулевое ранение, найденное на теле убитой. Звук рокового выстрела слышали господа Бобровы, хозяева дачи, проживающие в доме по соседству. Совершив убийство, обвиняемый под покровом ночи погрузил труп своей жертвы в автомобиль, отвёз его в город, где и сбросил в Неву. Отчего же он не утопил убитую в ближайшем озере? Причина этому очевидна: озеро — то место, где труп искали бы в первую очередь, где дачники или рыболовы могли натолкнуться на него случайно. В Неве же он очутился бы среди тех многочисленных полуразложившихся утопленников, которых редко удаётся опознать. Но обвиняемому не повезло: мёртвое тело его жертвы было выловлено уже через сутки после совершения преступления. Отрицать, что это была Шарлотта Янсон, он, разумеется, не мог и в состоянии крайнего испуга и нервного потрясения сам же её и опознал. Итак, обвинение считает, что этих очевидных фактов достаточно для определения виновности господина Навроцкого и вынесения ему приговора, соответствующего тяжести им содеянного. Но я прошу вас обратить внимание ещё на одно обстоятельство. Преступление, о котором идёт речь, совершено не под действием аффекта, что часто имеет место в случаях подобного рода, а, вне всяких сомнений, намеренно, со злым умыслом, ибо — ещё раз повторяю — следствию доподлинно известно, что обвиняемый, потерпев крупную неудачу в коммерческом предприятии, домогался, дабы поправить дела, руки особы respectable и со значитель-

ным состоянием и любовница сделалась для него препятствием. Впрочем, мотивы этого преступления, хотя они и лежат на поверхности, не являются предметом особого разбирательства. Обстоятельства и улики в данном случае так очевидны, что нам нет необходимости дотошно копаться в мотивах. Если говорить о ссоре между обвиняемым и его жертвой, следствие не исключает, что она была хладнокровно спровоцирована господином Навроцким, чтобы, во-первых, разгорячить себя и легче решиться на заранее запланированное убийство, а во-вторых, в случае разоблачения, рассчитывать на смягчение приговора по причине совершения преступления якобы в состоянии аффекта. Обвинению, к сожалению, не известно, кто прислал анонимную записку Шарлотте Янсон, написанную на пишущей машинке «Ремингтон», но не написал ли её сам обвиняемый?

— Господин председатель суда, я протестую! — словно очнувшись, вскричал защитник, до сих пор не проронивший ни слова.

Председатель отклонил протест. Товарищ прокурора сделал паузу, глотнул из стакана воды и продолжал:

— Увы, никто собственными глазами не видел, как обвиняемый стрелял в девицу Янсон. Но можем ли мы в этом сомневаться? Каково алиби господина Навроцкого? А вот каково: никому, кроме него самого, не известно, где он находился в ту ночь. Госпожа Боброва видела обвиняемого накануне вечером. Девушка Маша, нанятая Навроцким приходящая домашняя работница, видела его на другой день утром, когда жертва преступления, девица Янсон, уже исчезла. Кроме того, вечером же, возвращаясь с водой от колодца и проходя под открытыми окнами дачи Навроцкого, госпожа Боброва слышала, как девица Янсон сказала: «Ты бросишь меня?», на что обвиняемый ответил: «Отчего

мне тебя бросать?» А чуть позже, со своего крыльца, госпожа Боброва услышала звук, похожий на выстрел. Этот же звук слышал и господин Бобров, находившийся в тот момент в сарае. Таким образом, мы знаем, что между двумя моментами времени, когда свидетели видели обвиняемого, в занимаемом господином Навроцким доме произошла ссора и прогремел выстрел, а вместо девицы Янсон там появились следы крови и застрявшая в оконной раме пуля. Никаких посторонних людей в доме замечено не было. Так кто же совершил это гнусное преступление и где господин Навроцкий провёл эту злополучную ночь? Увы, на этот вопрос у нас есть только один ответ: обвиняемый и есть тот человек, который накануне вечером совершил это ужасное, противное разуму деяние, а наступившей ночью, под покровом темноты, был занят сокрытием его следов.

Господа присяжные заседатели! Наша с вами обязанность, наш долг состоит в том, чтобы не допустить обмана правосудия. Правосудие должно неминуемо настигать преступника, проникать в его душу, в самую тёмную её сердцевину, оно призвано карать самого того, кто ни на есть изворотливого и изощрённого злодея! Данное дело является собой тот случай, когда очевидный и, я бы сказал, тривиальный мотив преступления вкупе со всеми уликами складываются, как стёклышки мозаики, в ясную и законченную картину. Виновность господина Навроцкого у обвинения не вызывает сомнений. Перед вами преступник, совративший, а затем и погубивший человеческую душу!

Несмотря на столь эмоциональное выступление товарища прокурора и страстную, но бездарную речь защитника, Пётр Алексеевич слушал разбирательство плохо. Он был уверен в невиновности Навроцкого и ждал лишь решения присяжных. И когда присяжные, вернувшись из совещательной комнаты, объявили вердикт: «Виновен»,

Пётр Алексеевич, не удержавшись, громко чертыхнулся с досады и, не пожелав ни слушать прения сторон о последствиях виновности подсудимого, ни дожидаться оглашения председателем приговора, покинул залу суда.

### 3

Узнав, что Платон Фомич Миросердов пребывает в отпуске на кавказских водах и со дня на день должен вернуться, Пётр Алексеевич решил дожидаться его в Петербурге и снял номер в гостинице. На другой день, позавтракав и погуляв в несколько нервическом настроении по городу, он явился на квартиру Миросердова. Платон Фомич, по счастью, был уже дома и выглядел хорошо отдохнувшим. После приветствий и дружеских объятий, вслед за тем, как полковник изложил суть дела, по которому пришёл, между гостем и хозяином произошёл довольно резкий разговор.

— А я тебе говорю, не может этого быть! — горячо восклицал Пётр Алексеевич, возражая приятелю. — Я Феликса Николаевича знаю. Знаю! Был я у них, видел, как они смотрели друг на дружку. Нет, Платон Фомич, это обвинение против него — дьявольская нелепость, фантазмагория какая-то... Ведь так смотрят... так любят друг дружкой только когда любят! Любят, я тебе говорю! Нет, не мог Навроцкий этого сделать! Не мог! Я готов биться с тобой об какой угодно заклад!

— Ну, ёжик стриженный, любят! — ухмылялся Миросердов. — Ты уж, Пётр Алексеевич, извини, но я как судебный следователь лучше тебя знаю, чем частенько заканчивается любовь. Убийство на почве ревности — дело обычное. Вот я тебе расскажу один случай из моей практики...

— Платон Фомич! Или ты возьмёшься за это дело, или я тебе больше не друг! — всё сильнее горячился Тайцев, хватаясь за сердце.

— Ты, Пётр Алексеевич, только не волнуйся, успокойся... — испугался за приятеля Милосердов. — Дался же тебе этот князь...

Пётр Алексеевич сел на стул, но не смог усидеть на месте, поднялся и начал быстро ходить по комнате, вздыхая, охая и обиженно качая головой.

— Куда же мне ещё идти? — разводил он руками. — В церковь, что ли? К попу?

Милосердов усмехнулся, несколько минут поразмыслил, хлопая себя по животу подтяжками, на которых держались мягкие домашние брюки, и наконец, смиренно вздохнув, сказал:

— Ладно. Уговорил ты меня, Пётр Алексеевич. Завтра же займусь этим делом. Ну что? Теперь ты доволен?

## Глава двадцать пятая

### 1

Платон Фомич Милосердов взялся за дело Навроцкого, как и обещал Петру Алексеевичу, без промедления. У него оставалось ещё три дня отпуска, но уже на другой день после разговора с Тайцевым, к вечеру, он явился в часть и потребовал отчёта от своего помощника Светозара Овечкина, которому пришлось вести расследование, пока сам Платон Фомич отдыхал на водах.

— Уж больно шибко ты, Светозар, с этим делом управился! — ворчал Милосердов. — У нас следствие по подобным делам месяцами идёт, а ты уже через неделю отослал производство товарищу прокурора. Это как же понимать? Али хотел мне нос утереть?

— Что вы, Платон Фомич? — оправдывался Овечкин. — Здесь же всё ясно: анонимная записка, найденная в комнате убитой, револьвер, пуля, следы крови и, наконец, тело со сквозным пулевым ранением... Любовница просто мешала Навроцкому, и он убрал её с дороги...

— Вот то-то и оно, Светозар, что слишком всё ясно, — сказал Милосердов, просунув большой палец правой руки между пуговицами жилетки и постукивая остальными пальцами по внушительному животику. — А вот скажи, зачем ему понадобилось опознавать труп, если он сам её и убил?

— Вероятно, он рассудил, что кто-нибудь её всё равно опознает. Если бы её опознали другие, а он нет, то именно это и навлекло бы на него подозрения.

— Что-то здесь не сходится... — почесал затылок Милосердов. — Не знаю, что именно, но не сходится... Чувствую.

— Что же здесь может не сходиться, Платон Фомич? — дёрнул плечами Овечкин. — Вот револьвер Навроцкого. Не желаете взглянуть?

Он положил револьвер на стол перед Милосердовым. Платон Фомич взял его в руки.

— Та-ак, — протянул он, внимательно осматривая оружие. — Великолепная и, увы, довольно редкая уже вещь... Это «Веблей» системы полковника Джорджа Фосбери, шестизарядный, самовзводный... Прекрасно, между прочим, зарекомендовал себя в англо-бурской войне... Ну а слоновая кость на рукоятке, очевидно, прихоть князя... Да вот тут и монограмма его имеется...

— Почему редкая вещь? — полубопытствовал Овечкин.

— Их нынче уже не выпускают: слишком сложная и дорогая конструкция, — пояснил Милосердов. — Видишь этот зигзагообразный паз на барабане? В тот момент, когда от отдачи после выстрела вся верхняя часть револьвера вместе с барабаном смещается назад, специальный шип заходит в паз и поворачивает барабан. При этом следующее гнездо барабана подаётся на линию канала ствола и одновременно взводится ударный механизм, приготовляя очередной выстрел. И всё это происходит мгновенно. Понял?

— Как будто понял, — неуверенно сказал Овечкин. — Стало быть, шесть выстрелов можно произвести моментально один за другим?

— Вот именно. Чего уж тут не понять? Очень быстрый и точный револьвер. А знаешь, ещё за счёт чего?

Овечкин скривил губы и пожал плечами.

— А за счёт того, что для выстрела достаточно нежнейшего прикосновения к спуску.

Милосердов прицелился в электрическую лампочку, торчавшую из-под небольшого абажура, и спустил курок. Раздался выстрел. Лампочка брызнула во все стороны осколками тонкого стекла. Свет погас.

— Ёжик стриженный! — вскричал Милосердов. — Что же ты не сказал, что он заряжен? И какого чёрта он заряжен?

Овечкин побледнел, чего, однако, в полутьме заметить было нельзя. Спohватившись, он чиркнул спичкой. Милосердов достал свечку из шкафчика.

— Не знаю, Платон Фомич, — сказал виновато Овечкин. — Наверное, кто-то из наших сверял калибр и забыл разрядить.

— Калибр! — передразнил Милосердов. — Вы так друг друга здесь перебьёте! Кто уголовников ловить будет?



На шум сбежались полицейские.

— Ничего, ничего, господа, — успокаивал Платон Фомич коллег, с удивлением взиравших на свечку, разбитую лампочку и осколки стекла на полу. — У нас тут приключилась маленькая оплошность.

В патрон ввернули новую лампочку. Милосердов в раздумье походил по комнате.

— Значит, говоришь, пуля, нагар, кровь, простреленный и выброшенный в Неву труп... Полный, так сказать, набор улик?

— Точно так, Платон Фомич.

— А скажи-ка мне, Светозар, зачем Навроцкому понадобилось везти труп в город и бросать его в Неву, если поблизости от дачи три озера имеется?

— Чтобы не нашли на озёрах, если бы искали.

— А вот в Неве почему-то нашли. Тебе не кажется это странным?

— То есть как?

— Ведь стоило ему привязать к трупу что-нибудь тяжёлое, так и в Неве, пожалуй, не нашли бы?

— Возможно, он в спешке забыл это сделать или что-то ему помешало...

— Что ж, возможно... А вот скажи, пожалуйста, почему Навроцкий сам сообщил в полицию об исчезновении этой барышни и при этом даже не потрудился уничтожить пятна крови на полу?

— Ведь это было убийство любовницы... Возможно, совершив его, он переживал тяжёлое потрясение и не лучшим образом соображал, что ему делать...

— Ты, Светозар, так убедительно говоришь...

Овечкин осклабился.

— Только вот речи твои меня не убеждают.

Физиономия Овечкина вернулась в исходную позицию. Милосердов быстро полистал папку с материалами дознания и следствия.

— Негусто... Тонковата у тебя папка-то! — посмотрел он на Овечкина поверх очков и бросил папку на край стола за ненадобностью. — Выстрел кто-нибудь слышал?

— Слышали хозяева дачи, проживающие в соседнем доме.

— Когда?

— Накануне вечером, в седьмом часу.

— Что именно слышали?

— Хлопок, похожий на выстрел.

— Ну ладно. Значит, выстрел был...

— Был. Этого и Навроцкий не отрицает. Сначала, когда я спросил его про свежий нагар в стволе, он сказал, что стрелял в лесу, а на дознании, когда речь зашла о пятнах крови, стал утверждать, что Шарлотта Янсон якобы убила какого-то голубя. Никто ему, разумеется, не поверил.

— Голубя?

— Именно.

— Ну хорошо... А почему, по-твоему, Навроцкий так охотно предъявил тебе револьвер, а не соврал, что оружия у него нет, или не выбросил его, прежде чем телефонировать в полицию? Или ты полагаешь, что он глуп как пробка?

— Я об этом как-то не подумал, Платон Фомич.

— Ёжик стриженный! Что ж тут думать-то? — проворчал Милосердов. Он вынул из кармана жилетки выдавший вид серебряный хронометр и сверил по нему стенные часы. — Сегодня, пожалуй, уже поздно, — сказал он. — А вот завтра с утра отправимся в Осиную рощу. Так что будь любезен, Светозар, не опаздывай.

Сидя на следующий день в коляске, мягко катившейся в сторону Осинной рощи, Милосердов был задумчив и мрачен. Следственным производством по делу Навроцкого он был недоволен, так как даже поверхностное ознакомление с ним оставляло неблагоприятное впечатление.

Улики казались ему неубедительными, свидетельские показания — недостаточными.

— Вот ёжик стриженный! — сетовал он, опираясь руками на костяной набалдашник трости и хмуро поглядывая на Овечкина. — Стоит мне заболеть или уехать, как в отделении начинается чёрт-те что! Толком ничего сделать не могут, запутывают самые простые дела...

На попытки Овечкина протестовать Милосердов не обращал внимания и до самой Осинной рощи учил его уму-разуму. Впрочем, Овечкин, служа под началом одного из лучших петербургских следователей, готов был многое от него терпеть.

Прибыв на место, Милосердов сделал общий осмотр дачи, а затем приступил к деталям. Больше всего его интересовали фигурировавшие в деле пятна крови. И хотя после печального события уже прошло некоторое время, а помещение, несомненно, подвергалось уборке, в том числе и мытью полов, всё же ещё можно было надеяться обнаружить ускользнувшие от следствия детали. Платон Фомич, покряхтев, опустился на колени и начал осматривать пол, разглядывая подозрительные места через увеличительное стекло.

— Поди-ка посмотри, что это там за тренога стоит, — сказал он через некоторое время Овечкину, кивнув головой в дальний угол просторной комнаты, где под покрывалом стоял мольберт.

— Картина, Платон Фомич.

— Что за картина-то?

— Вроде как акварель, не масло.

— Да что на картине-то?

— Женщина.

— Ёжик стриженный! Что за женщина-то?

В голосе Милосердова послышалось раздражение.

— Откуда мне знать, Платон Фомич? Женщина и есть женщина.

— Ты, брат, как пентюхом был, так им и останешься, — прокряхтел Платон Фомич, поднимаясь с колен и запихивая увеличительное стекло в карман сюртука. — А ещё хочешь карьеру в сыскной полиции сделать!

Овечкин покраснел и надулся.

— Ладно, посмотрим, что здесь такое, — примирительно сказал Милосердов, подойдя к картине.

— Сдаётся мне, Платон Фомич, что это сама жертва, — очень уж похожа.

Милосердов вытянул шею и почти упёрся носом в картину.

— Медленно ты, Светозар, соображаешь! — сказал он, сравнивая фотографию Лотты с изображением девушки на картине. — Конечно, сама жертва! Капля в каплю! А где это она стоит и куда смотрит?

— Похоже, что у реки или у озера... и смотрит в воду.

— Вот именно. У озера... Смотрит в воду... Неплохо барышня рисовала, чёрт возьми! Ведь это она сама рисовала?

— Так точно, Платон Фомич. Она увлекалась живописью.

— Ну что ж, всё натурально... Весьма и весьма натурально...

Милосердов задумался и, сложив руки на груди, долго взирал на картину. Овечкин не мог понять, чем эта

картина могла заслужить внимание патрона. Казалось бы, что может быть банальнее? Всё здесь понятно: женщина, сжимая в руке платочек, стоит на берегу и смотрит в воду. Даже если Шарлотта Янсон изобразила сама себя, что же здесь такого интересного? Так прошло довольно много времени, и Овечкину показалось, что его начальник просто заснул в этом неудобном положении. Ему и раньше приходилось наблюдать, как Милосердов клячет носом за письменным столом, но вот спящим стоя он его ещё не видел. Он робко заглянул ему в лицо и невольно отшатнулся: в прищуренных глазах живо блестели бегающие по картине зрачки: Милосердов соображал.

— Ладно, Светозар, — сказал он наконец, — Кажется, мы здесь больше ничего не найдём. Поехали!

Они вышли из дома и направились к калитке по посыпанной мелким гравием дорожке.

— Ёжик стриженный! — вскричал вдруг Милосердов, да так, что Овечкин вздрогнул. — Совсем забыл!..

Он ринулся назад в дом, Овечкин — за ним. Наверху, в комнатах Лотты, Милосердов снова упал на колени и вытащил лупу.

— Видишь эти пятна крови?

— Ну да.

— Пол мыли?

— Мыли. Я хотел предупредить хозяев, чтобы не мыли, да не успел — отдраили всё. Но ещё раньше, до того, как Навроцкий телефонировал в полицию, пол вымыла его приходящая прислуга.

— Вот смотри... Там, где с половиц слезла краска, пятна въелись так, что их нельзя было отмыть. А здесь несколько пятен идут цепочкой, но прерываются.

Милосердов поднялся с колен.

— Ты вот что... Дело твоё молодое, зрение у тебя лучше, да и спина покрепче. Ползи-ка ты по коридору и по лестнице и каждый вершок тщательно проверь. Может, ещё где пятна найдёшь.

Милосердов протянул Овечкину лупу, и тот со вздохом, — поворчав, что, мол, в очках с такими толстыми стёклами зрение у него, конечно, лучше, — опустился на четвереньки. Пока он ползал, Милосердов уселся в кресло и с аппетитом съел обязательное ежедневное яблоко, всегда готовое к употреблению в боковом кармане его сюртука.

— Кто яблоко в день съедает, тот хворобы не знает, — сказал он, старательно пережёвывая нежную мякоть.

Овечкин изобразил на лице неопределённую гримасу, означавшую, очевидно, улыбку. Ему вдруг жутко захотелось есть.

— Да пятна-то какие-то мелкие... — сказал он немного погодя. — Вот я был на деле мещанки Водовозовой, так там весь пол кровью, как потопом, залило, новые штиблеты перепачкал...

— Где пятна? — поднялся с кресла Милосердов.

— Да вот они. Нигде не было, а здесь, в конце коридора, снова появились.

— Ты раньше их, во время следствия, видел?

— Нет.

— Ёжик стриженный! Ползи дальше, проверь лестницу.

Овечкин послушно пополз. Попадавшие ему то там, то здесь пятна привели их в тёмный подвал с земляным полом.

— Господи! — побледнел Овечкин. — Неужели он её здесь закопал?

— Это перед тем, как утопить в Неве, что ли? Чудак ты, Светозар!

— А может, это и не она вовсе была — та, которую выловили из Невы?

— А как же Навроцкий её опознал?

— Ошибся, может быть...

— А бумажник? А шарф?

Овечкин молчал.

— Эх, Светозар! Ведь ты же сам следствие вёл. Навроцкий-то, может, и ошибся, а вот ты ошибаться не имеешь права.

В углу стояла лопата. Милосердов взял её и протянул Овечкину:

— Возьми-ка, ткни...

— Где?

— Да везде!

— Весь подвал перекопать прикажете? — обиделся Светозар.

— Ёжик стриженный! — не выдержал Милосердов. Отставив в сторону трость и выдернув лопату из рук Овечкина, он начал ковырять ею то там, то здесь. — Что это? Ну-ка посвети!

Овечкин зажег спичку и тут же с испугу выронил её.

— Фу, гадость!

— Тебе не в полиции служить, а с девицами хороводы водить! — проворчал Милосердов. — Зажги ещё!

Овечкин трясущимися руками зажёл ещё одну спичку. В углу подвала в кучке окровавленных перьев лежал растерзанный голубь. Раскрытый, словно застывший в предсмертном страдании, клюв и неподвижные стеклянные пуговицы глаз наводили на Овечкина мистический трепет.

— Обыкновенный голубь... Ладно, Светозар, пойдём наверх... — вздохнул Милосердов. — Не похоже, чтобы он её здесь закопал, да и кто закопал бы в подвале-то? Разве что сумасшедший или полный идиот.

— Это, Платон Фомич, позвольте заметить, одно и то же.

— Что?

— Сумасшедший и полный идиот.

Милосердов внимательно посмотрел на Овечкина, отчего тот покрылся нежной краской смущения.

— Ты вот что, — сказал он, подумав, — сходи к хозяевам дачи и спроси, нет ли у них кошки.

— Кошки? Зачем это вам?

— Да, кошки. Сходи, сходи.

Овечкин, хмыкнув, поплёлся к соседнему дому, где жили хозяева, сдававшие дачу Навроцкому.

Милосердов тем временем пристроился на крыльце дачи, вдохнул полной грудью воздух, подставил лицо солнцу и, прищурившись от удовольствия, сказал сам себе:

— Эх, хорошо!

— Платон Фомич! — долетел до него осторожный, приглушенный крик Овечкина.

— Что такое?

Овечкин выпучил глаза и тянул подбородок в направлении забора, на котором восседал, равнодушно взирая на действия полицейского, упитанный рыжий кот.

— Так, ясно... — зевнул Милосердов. — Значит, кот имеется... Как ты думаешь, Светозар, такой кот мог бы затопить эту несчастную птицу в подвал?

— Пожалуй, мог бы... — сказал Овечкин, оценив на глаз физические возможности кота.

— И сдаётся, он сделал это без задней мысли, от чистого сердца, а не для того, чтобы навести следствие на ложный след. Как ты полагаешь?

— Кого вы имеете в виду, Платон Фомич?

— Ёжик стриженный! Кота, конечно! Ну и бестолковый же ты, Светозар!



Овечкин опешил, но не подал виду.

— Похоже, что без задней мысли... — согласился он, но тут же засомневался: — То есть как это?..

### 3

На обратном пути Овечкин загрустил, замкнулся в себе и молчал будто язык проглотил; ему очень хотелось есть. Милосердов, скучая, решил развеселить молодого человека.

— Ты что это скуксился, Светозар? — покосился он на Овечкина и слегка толкнул его локтем. — Я вот тебе анекдот расскажу. Встретились на Фонтанке англичанин и японец и поспорили о том, что лучше: Восток или Запад. Англичанин говорит, что, дескать, Запад. Ну а японец твердит, что, мол, Восток. В это время мимо них русский мужик на телеге проезжал. Ну, остановили они его и просят, чтоб он их рассудил. Мужик покрутил ус да и говорит: «Вот фофаны! Али разума в вас совсем нет?» Привстаёт он на телеге и декламирует:

Как глуп вопрос ваш! East or West?<sup>1</sup>  
Вестимо, Russia is the best!<sup>2</sup>

— Хи-хи-хи, — похихикал Овечкин, но тут же опять сник.

— Ты что это такой дутик сегодня? — приставал к нему Милосердов. — Погоди, я ещё не до конца рассказал. Ну так вот... Мужик стегнул лошадку и дальше поехал, а англичанин с японцем глаза вылупили и стоят как вкопанные, мысль переваривают. Мужик оглянулся, увидел, что

---

<sup>1</sup> Восток или Запад? (англ.)

<sup>2</sup> Россия лучше всего! (англ.)

они всё ещё смотрят ему вслед, постучал указательным пальцем по черепу да как гаркнет: «*Aurea mediocritas!*»<sup>1</sup>

— Хи-хи, — вяло усмехнулся Овечкин.

— Ты погоди, Светозар, хихикать — это ещё не конец. Ну вот... Англичанин и японец совсем оторопели, а когда опомнились, англичанин и говорит: «Ёджик стридженный! Что за удивительный страна! Здесь мужик на инглиш и на латынь говорить!» — «Вой-вой!» — вторит ему японец. — Осень утвивительный страна! Я ещё в Сипирь это саметил. Там мусаки в корящий том в супах тут, а выхотят колые и в снec сикают!»<sup>2</sup>

— Хи-хи, — хихикнул Овечкин и зевнул.

— Погоди зевать-то — это ещё не всё. Ну вот... А мужик-то наш проехал пару кварталов да остановил телегу у шикарного подъезда. Выходит к нему навстречу швейцар и говорит: «Святые угодники! Это вы, граф?! А я-то, старый дурак, вас и не признал. Вылитый же вы сегодня мужик... Пожалуйста, пожалуйста... Маскарад-то уж, чай, в разгаре...»

Милосердов взглянул на Овечкина, но тот уже сладко дремал.

— А вот как ты думаешь, Светозар, — сказал он намеренно громко, — человек познаёт природу или природа через человека познаёт самое себя?

Овечкин проснулся, но был голоден и не расположен к философии, а потому промычал в ответ что-то невнятное. Милосердов махнул на него рукой и засвистал известную арию из «Свадьбы Фигаро». Наконец докатили они до полицейской части.

---

<sup>1</sup> Золотая середина! (лат.)

<sup>2</sup> Ой-ой! Очень удивительная страна! Я ещё в Сибири это заметил. Там мужики в горячий дом в шубах идут, а выходят голые и в снег сикают.

— Фу, какая здесь духота! — сказал Милосердов, вылезая из коляски и вытирая лоб носовым платком. — Наверное, все двадцать Реомюра, никак не меньше. Вроде и лето кончилось, а всё парит!

— Никак нет.

— Что «никак нет»?

— Сегодня только двенадцать градусов.

— А ты откуда знаешь?

— У Навроцкого на даче в окне термометр висел.

— Гм... Ты бы, Светозар, не на градусник, а на другие вещи смотрел, — проворчал Милосердов. — А всё-таки жарко...

«С такой комплекцией, надо полагать, всегда жарко», — подумал Овечкин, покосившись на животик патрона.

— Что? — прищурился Милосердов. — Думаешь, с моей комплекцией всегда жарко?

Овечкин густо покраснел.

— Ну-ну... Посмотрим, какая комплекция будет у тебя в мои лета... Уф, что-то устал я сегодня...

— Отдохнуть бы, Платон Фомич... — оживился Овечкин. — Да и есть жуть как хочется.

Но Милосердов не обратил внимания на жалобы подчинённого, будто и не слышал ничего. В служебном кабинете он долго стоял у окна и барабанил пальцами по подоконнику, затем сел за письменный стол и стал медленно переворачивать страницы дела Навроцкого. Овечкин, мешая мыслительной работе патрона, молчал. Самому ему, кроме идеи о жареной говяжьей котлете, в голову положительно ничего не приходило. Прошло с полчаса, и он почти заснул в кресле, убаюканный однообразным шелестом бумаги. Вдруг Милосердов выскочил из-за стола и хлопнул

себя по лбу так, что Овечкин невольно вздрогнул и пристально взгляделся в лысину патрона: не осталось ли там повреждений?

— Ёжик стриженный! — вскричал Платон Фомич. — Что там было изображено, на картине?

— Как что? Женщина, то есть девица Янсон...

— Что у неё было в руке? Ведь она что-то держала в руке?

— Кажется, платок.. носовой... — неуверенно проговорил Овечкин, пытаясь вспомнить. Он недоумевал, почему его начальника снова занимает эта картина.

— Платок, говоришь? — Милосердов побарабанил пальцами по столу. — Вот что! Поезжай на дачу и посмотри хорошенько, что она там держит в руке. Немедленно возвращайся и доложи мне. Я дождусь тебя здесь. Займусь бумагами... У тебя лупа есть?

Овечкин вытаращил глаза и, вероятно, впервые в жизни понял, что такое ненависть к начальству.

— У тебя лупа, говорю, есть?

— Нет.

— Вот, возьми мою. Рассмотрй всё тщательно через лупу. Я хочу точно знать, что у неё в руке.

Распираемый чувством досады, Овечкин направился к двери.

— Да, вот ещё что, — остановил его Милосердов. — Ты, кажется, голоден? Зайди по дороге в трактир, перекуси. Даю тебе на это пятнадцать минут. Да водку, смотри, не пей!

Овечкин обиделся и хотел было серьёзно возразить, но, рассудив за благо не ссориться с начальством, чтобы не повредить карьере, промолчал и уехал. Он был зол на Платона Фомича и всю дорогу до Осинной рощи употребил на сочинение язвительных куплетов вроде этого:

Скривил Платон свирепо рот:  
Воров кругом невоворот!

Или ещё язвительнее:

Если стукнуть Фомичу  
Головой по кирпичу,  
Будет плохо кирпичу,  
Но отлично — Фомичу,  
Потому что наш Фомич —  
Это тот ещё кирпич!

#### 4

Вернулся Овечкин поздно вечером и, застав Милосердова в сыскной комнате храпящим на кожаном диване, несколько раз кашлянул.

— Ну как? — спросил Милосердов, протирая глаза.

— Вот, решил привезти её сюда. Сами взгляните.

Овечкин вручил Милосердову картину и лупу. Платон Фомич повернул акварель так, чтобы её лучше освещал электрический свет.

— Ёжик стриженный! — воскликнул он, вглядываясь в белый лоскуток в руках изображённой на картине девушки. — Здесь что-то написано... Так я и думал — это же вовсе не платок, а записка!

Он вооружился лупой и долго смотрел через неё, потом с довольной улыбкой протянул Овечкину руку. Тот её с радостью пожал.

— Ну, Светозар, поздравляю! Быть тебе начальником сыского отделения!

Овечкин просиял. Он, конечно, понимал, что его заслуги здесь нет, и отнёсся к словам начальника как к шутке,

но ему всё равно было приятно. Милосердов подмигнул ему, достал из шкафчика графинчик с коньяком и две рюмочки, и они молча выпили.

— Ты поезжай домой, отдохни, а я останусь здесь до завтра. Утром наведём справки, не было ли в эти дни утопленниц в Осинной роще. Сдаётся мне, что одно из тамошних озёр она и нарисовала. Завтра скажу Тайцеву Петру Алексеевичу, чтобы навестил господина Навроцкого и поздравил его со скорым освобождением.

После ухода Овечкина Милосердов налил себе ещё одну рюмочку коньяку, выпил, икнул и, снова наставив увеличительное стекло на картину, смакуя с каким-то особым удовольствием каждый звук, точно споласкивая его коньяком, прочитал вслух: «*Mea culpa*»<sup>1</sup>.

— Ёжик стриженный! — покачал он головой. — Ну девка даёт! И как мелко написала-то, без увеличительного стекла и не разберёшь...

И, зевая, он зашаркал к дивану.

## 5

Явившись утром в часть, Овечкин увидел Милосердова листавшим страницы каких-то дел.

— А, это ты, Светозар? — оторвался от бумаг Платон Фомич. — Ты вот что, ступай-ка, выясни, не случались ли утопленницы в Осинной роще. Ну, ты знаешь... с того самого дня...

Овечкин скоро вернулся и доложил, что никаких трупов и утопленниц на озёрах обнаружено не было. Это обстоятельство несколько огорчило Милосердова.

---

<sup>1</sup> Моя вина (лат.).

— Зацепилась за какую-нибудь корягу... — сказал он хмуро.

— А как же всё-таки быть с телом Шарлотты Янсон, которое уже выловили из Невы? — робко спросил Овечкин.

Милосердов посмотрел на него непонимающим взглядом.

— Ты это о чём?

— О трупе, который мы уже имеем.

— Не спеши, всё будем делать по порядку. Я должен допросить Навроцкого... Впрочем, давай-ка сначала съездим в покойницкую и ещё раз взглянем на труп.

— Он ещё там? — удивился Овечкин.

— Да, я уже справился. Его никто не пожелал забрать. К тому же по недосмотру он остался там дольше, чем положено, но нам это только на руку.

Овечкин вспомнил, как в морге, когда он ездил туда с Навроцким, у него закружилась голова и противная тошнота подступила к горлу. К счастью, никто этого не заметил, ведь Навроцкого тогда самого едва не хватил удар.

— Платон Фомич, может быть, вы без меня?.. Я ведь там уже был и видел её.

— Ничего, съездишь ещё раз. Ты можешь мне понадобиться.

В морге осматривать труп и сличать его с фотографическими портретами Лотты Янсон Милосердову пришлось всё же в одиночку: Овечкину сразу же сделалось дурно, и его пришлось отвести в уборную. Когда они вышли на свежий воздух, бледный как смерть Овечкин узнал, что Милосердов доволен увиденным и что между трупом и Лоттой Янсон имеется несомненное сходство, но из-за некоторых повреждений лица (при этих словах патрона Овечкин поморщился) полной уверенности в их идентичности или, наоборот, в отсутствии таковой не может быть.

— В пользу их идентичности, кроме схожести лиц, говорят одинаковое сложение тела, рост, цвет волос, глаз и другие детали... Правда, на фотографиях Лотты Янсон, — говорил задумчиво Милосердов, — видна едва заметная родинка на щеке, а на трупе найти её не удалось, но именно в этом месте у покойной имеется странная ссадина...

— Неужели всего этого мало? — спросил Овечкин.

— Допустим, что это Шарлотта Янсон... — сказал Милосердов, останавливаясь посередине тротуара. Тогда отчего ей приспичило ехать в город, когда вблизи дачи к её услугам было несколько озёр на выбор? Впрочем, это дело вкуса... Но стрелялась она явно не из револьвера Навроцкого. Не могла же она застрелиться, а затем сесть на извозчика и ехать в город, чтобы утопиться...

— Платон Фомич, зачем же вы так усложняете? К чему вся эта некромантия? Если предположить, что её застрелил Навроцкий, всё встанет на свои места...

— Гм... Предположить... Ты, Светозар, в сыскной полиции служишь или в жёлтой прессе подвизаешься?

— Но позвольте, Платон Фомич... — возразил Овечкин. — С чего же, если не с предположения, и начинается поиск фактов и улик?

— Строить предположения, конечно, не возбраняется... — сказал Милосердов. — Почему бы, к примеру, не предположить, что Шарлотта Янсон застрелилась из револьвера Навроцкого, причём пуля прошла навылет и застряла в оконной раме, а уж затем князь, струсив, сбросил её в Неву, чтобы избежать скандала?

— Платон Фомич, а и впрямь... Ведь это же очень правдоподобно... Как же это я не сообразил?.. Это всё объясняет! Узнав из анонимного письма, что у неё есть соперница, она...



— Да, пожалуй, правдоподобно... — перебил его Милосердов, тыкая в задумчивости тростью в тротуар. — Вот что, Светозар... Мы упустили одну деталь. Поезжай-ка скорей в Осиную рощу и привези мне труп.

— То есть... как труп? — остоленел Овечкин.

— Труп этой птицы... голубя.

— Позвольте, Платон Фомич... Как же это? Зачем вам? Какое это имеет отношение?

Овечкин озадаченно округлил глаза, и Милосердову показалось, что за толстыми стёклами очков его помощника шевельнулись два шара для детского бильярда.

— Привези, привези... — похлопал он его по плечу. — А по дороге сам подумай зачем.

— Вы шутите, Платон Фомич?

— Не гневи меня, Светозар! — сказал Милосердов и остановил первого попавшегося извозчика.

— Куда прикажете, барин? — спросил тот.

— В Осиную рощу!

— Э-э, далековато это будет, барин.

— Я вот у тебя бляху-то конфискую — будет тебе тогда далековато! — сказал Милосердов начальственным тоном.

Извозчик струхнул. Овечкин нехотя сел в экипаж и, отъехав несколько сажений, услышал себе вдогонку строгий окрик патрона:

— И смотри поосторожнее с трупом-то! Довези его без повреждений!

Извозчик испуганно оглянулся сначала на Милосердова, а затем, подняв бровь, окинул внимательным взглядом Овечкина. Покачав головой и буркнув себе что-то под нос, он с удвоенной злостью стегнул лошадку кнутом:

— Пшла-а, захребетница!

Вечером в кабинете Милосердова Овечкин с гадливым выражением на лице выложил на стол завёрнутый в газету труп голубя. Платон Фомич, как будто в предвкушении чего-то приятного, потёр одна об другую ладони, не спеша облачил их в тонкие хлопчатые перчатки и, развернув газету, старательно осмотрел смердящую птицу. Овечкин зажал нос большим и указательным пальцами.

— Прекрасно! — сказал Милосердов. — Взгляни-ка сюда, Светозар. Вот то, что я искал.

Овечкин с омерзением посмотрел на голубя. Отогнув перья, Милосердов продемонстрировал ему два чёрных отверстия в трупe птицы.

— Кажется, кто-то его прострелил, — сказал Овечкин. — Пуля прошла навывлет.

— Интересно, кто бы это мог быть? — усмехнулся Милосердов.

— Вы хотите сказать, что Навроцкий говорил правду?

— А почему бы и нет?

— А как же его бумажник, шарф?

— Ты думаешь, он оставил бы на убитой или покончившей с собой шарф со своей монограммой?

— Шарф ему, вероятно, понадобился, чтобы волочить её к автомобилю... А снять его он просто забыл впопыхах...

— Ну что ж, правдоподобно... А бумажник?

— Бумажник она по какой-то причине могла спрятать под платье сама... Скорее всего, он об этом даже не знал.

Милосердов заходил в раздумье по кабинету.

— Во всяком случае, — сказал он немного погодя, — на судьбу господина Навроцкого это уже не повлияет. У след-

ствия нет ни одной настоящей улики против него, ни одного неопровержимого доказательства его вины и ни одного хоть сколько-нибудь важного свидетеля, и я считаю своим долгом позаботиться о его скорейшем освобождении.

— Позвольте, Платон Фомич, а как же всё-таки бумажник и шарф? Разве это не улики? А всё прочее?

Милосердов продолжал ходить по кабинету, словно не замечая Овечкина.

— Решено, — сказал он наконец. — Завтра же пойду к прокурору и уговорю его написать в кассационный департамент представление с просьбой о пересмотре дела.

## Глава двадцать шестая

### 1

Благодаря стараниям и авторитету Платона Фомича кассационный департамент отменил приговор окружного суда и дело Навроцкого было направлено на следствие. У дверей Литовского замка<sup>1</sup> князя встречали Тайцев и сам Милосердов.

— С возвращением на волю, Феликс Николаевич! — сказал Тайцев. — К счастью, недолго вам пришлось сидеть в заключении.

— Благодарю вас, Пётр Алексеевич, за всё, что вы для меня сделали! — крепко пожал ему руку Навроцкий.

---

<sup>1</sup> Петербургская городская тюрьма (сожжена в Февральскую революцию).

— Ну, если бы не наш знаменитый сыщик, я ничем не смог бы вам помочь. Благодарите вот Платона Фомича.

— Благодарю вас, господин Милосердов! — с чувством сказал Навроцкий.

— Видите ли, князь, — сказал Милосердов, отвечая на его рукопожатие с явным удовольствием, — вся эта афера была задумана, чтобы выудить деньги у Маевского, а Маевский втянул в это дело вас. Вы оказались побочным, так сказать, продуктом этого обмана, непредусмотренной жертвой. А коль уж вы вмешались, вас попытались обезвредить, упрятав в тюрьму. И ловко же, ёжик стриженный, мошенники воспользовались исчезновением барышни Янсон!

— Позвольте, при чём здесь Маевский? Какие мошенники? — удивился Навроцкий.

— Ах да... Вы же ещё не знаете... — почесал в затылке Милосердов и добавил: — Ну да расскажу вам об этом в другой раз, мне и самому пока не все детали ясны... А теперь...

— Теперь, Феликс Николаевич, — перебил приятеля Тайцев, обеспокоенный, как бы тот снова не заговорил о Лотте, — после всех этих переживаний вам необходимо несколько деньков отдохнуть.

— Насладиться, так сказать, свободой, — прибавил Милосердов.

— Ну а Платон Фомич развяжет это дело до конца, — сказал Тайцев.

Приятель подвезли Навроцкого до его квартиры.

— Вот возьмите, — протянул ему Милосердов изъятый Овечкиным револьвер.

— Ещё раз благодарю вас, Платон Фомич, — сказал Навроцкий, прощаясь. — Вы спасли меня от верной каторги.

— Полноте, князь... Не стоит благодарностей, — возразил Милосердов. — Такая уж у меня служба: кого спасаю, а кого и сажаю. Были бы вы виновны — и вас бы на каторгу упрятал. Кстати сказать, не сочтите, пожалуйста, за труд тотчас сообщить мне, если услышите что-нибудь о господах Петрове и Шнайidere.

Навроцкий, ещё раз удивившись, обещал. «Значит, полиции что-то известно... — думал он. — Но какова же связь между моим арестом и этими господами?» Расспрашивать Милосердова он, однако, не стал: ему хотелось поскорее попасть к себе в квартиру и вкусить комфорта и свободы.

— Послушай, Платон Фомич, о каких это мошенниках ты говорил? — спросил Тайцев, как только экипаж с друзьями двинулся дальше.

— Ах да... — сказал Милосердов зевая. — И тебе расскажу. Наберись терпения. А сейчас позволь-ка мне минутку-другую вздремнуть...

## 2

Долго отдыхать Навроцкому, однако, не пришлось. Уже на следующий день ему телефоновал Маевский.

— Феликс Николаевич, приезжайте немедленно ко мне, — говорил он каким-то заговорщицким голосом, почти шёпотом, будто боялся, что его подслушают. — Я вам всё расскажу. И захватите с собой оружие, если оно у вас есть.

— Зачем? — удивился князь.

— На всякий случай. Сейчас не время объяснять... Приезжайте!

Навроцкий хотел спросить его о чём-то ещё, но на другом конце провода трубка легла на рожек. Он быстро оделся, зарядил и засунул в карман возвращённый ему

Милосердовым «Веблей» и отправился к Маевскому на таксомоторе: возиться с «Альфой» не было времени. У Маевского дверь ему открыл лакей.

— У нас несчастье, ваше сиятельство! — сказал он взволнованно. — В Константина Казимировича стреляли. Скорую помощь я уже вызвал. Приедут с минуты на минуту.

— Как стреляли?! — поразился Навроцкий. — Кто стрелял? Я всего час назад говорил с ним по телефону!

— К нему приходил какой-то господин с немецкой фамилией.

— Постой... С немецкой фамилией, говоришь? Уж не Шнайдер ли?

— Кажется, он самый... Константин Казимирович уже ждал его, и этот... Шнайдер поднялся к нему наверх...

— Ну же! Что было дальше? — в нетерпении спросил князь.

— Я ушёл к себе и слышал, как они разговаривали в кабинете...

— Стало быть, они громко разговаривали?

— Так точно, почти кричали, но слов я не разобрал... А потом будто кнутом по паркету хлестнуло... Я думал, господа забавляются, лупят из револьвера по портретам, — Константин Казимирович и раньше так практиковался, — но там как-то странно всё стихло, и тогда я поднялся посмотреть, в чём дело... Ну и...

Навроцкий, не дослушав, бросился вверх по лестнице и вбежал в кабинет Маевского.

Константин Казимирович лежал на спине и тяжело дышал, у него из-под затылка вытекала на ковёр струйка крови. Глаза его были открыты и смотрели в потолок.

— Кто это сделал? — спросил князь.

— Шнайдер... — прохрипел Маевский.

Он силился что-то сказать, но не мог. Навроцкий отступил от него на шаг, раздумывая, что же следует предпринять.

— Петров... — почти беззвучно слетело с обескровленных, вздрагивающих губ Маевского. — Деньги у них...

Он закрыл глаза.

Навроцкому многое стало ясно. «Адрес Шнайдера найти не удастся: он давно исчез из города... Но можно попытаться разыскать Петрова», — подумал он и тотчас телефонировал графине Дубновой:

— Леокадия Юльевна, это очень важно! Где я могу найти Петрова?

— Подожди, друг любезный... Дай подумать... В банке в этот час его уже нет... Позвони мне через пять минут, я сейчас справлюсь.

Навроцкий нервничал, пять минут показались ему днями, проведёнными в Литовском замке, но когда он снова услышал голос графини, она и в самом деле назвала ему адрес:

— Это в Аптекаарском переулке. Записывай... — И, продиктовав адрес, она не удержалась, чтобы не полюбопытствовать: — Что это тебе приспичило? Случилось что? Зачем он тебе понадобился?

— В другой раз, Леокадия Юльевна... Благодарю вас! — сказал Навроцкий и повесил трубку.

Маевский вдруг открыл глаза и едва слышно просипел:

— Ничего, князь... Выберусь... Заживёт как на младенце...

Навроцкому, при виде этих неподвижных глаз, смотрящих прямо перед собой из расползающейся по ковру лужи крови, сделалось не по себе. Он быстро вышел на улицу.

К дому Маевского, озабоченно гудя в рожок, приближался автомобиль скорой помощи...

Минут через десять таксомотор с Навроцким на полном ходу въехал в Аптекарский переулок. Дверь в квартиру Петрова оказалась незапертой. Навроцкий вынул из кармана револьвер, взвёл курок и вошёл внутрь. Перед ним предстала картина беспорядка: стулья, один из которых был сломан, валялись на полу, этажерка лежала опрокинутой среди разбросанных книг. В углу комнаты, криво опираясь спиной о стену, с кляпом во рту, сидел связанный по рукам и ногам человек, на лице у него было несколько свежих ссадин. Навроцкий узнал в нём Петрова.

— Где Шнайдер? — спросил он, вытащив у него изо рта кляп.

— Бежал.

— Куда?

Петров отвернулся к стене.

— Куда? — крикнул Навроцкий, тряхнув его за воротник рубашки.

— В Финляндию.

— А деньги?

Петров не отвечал.

— Где деньги? — повторил вопрос Навроцкий, приблизив дуло револьвера к его лбу.

— При нём.

Навроцкий подумал, что, судя по всему, Петров не лжёт и деньги действительно у Шнайдера. Он шагнул к двери, но остановился.

— Когда Шнайдер уехал?

Петров покосился на настенные часы.

— Четырёхчасовым поездом, — сказал он, скривив губы в усмешку. — Плакали ваши денежки, князь.



У него был вид человека, который после блестяще разыгранных дебюта и миттельшпиля неожиданно, в самом конце партии, зевнул фигуру, — человека обескураженного и обозлённого, но уже признавшего своё поражение.

— Поезд номер двадцать пять ушёл в четыре часа тридцать минут. На нём и уехал Шнайдер, — уточнил он. — А следующий, номер пять, отходит в пять минут седьмого, да вот только дожидаться вас на вокзале в Гельсингфорсе Иван Карлович не будет. Ищи его теперь свищи где-нибудь в Ницце или Баден-Бадене...

Навроцкий тоже взглянул на часы. Было уже тридцать пять минут пятого. Вернув на всякий случай кляп туда, куда его поместил Шнайдер, — в глотку Петрова, — он снял с телефонного аппарата трубку и назвал барышне номер Милосердова.

— Господин Милосердов? Это Навроцкий. Маевский в больнице, он тяжело ранен... Петров лежит связанным и, кажется, тоже ранен, но легко... Шнайдер бежал...

Он сообщил Милосердову адрес квартиры, в которой находился Петров, положил трубку и вышел на улицу.

— На Комендантский! Скорее! — бросил он поджидавшему его возле подворотни шофёру...

На аэродроме таксомотор подъехал прямо к воротам одного из ангаров. Взяв с собой шофёра и сжав в кармане револьвер, Навроцкий зашёл внутрь. Новенький русский «Фарман», изготовленный на заводе «Дукс», стоял заправленный и готовый к вылету. Пугать револьвером Навроцкому никого не пришлось: людей в ангаре не было. Он отворил ворота, выкатил вдвоём с шофёром аэроплан наружу, взобрался на пилотское место и, с благодарностью вспомнив урок Блинова, завёл двигатель. И не успел он протянуть

шофёру банкноту и почувствовать за спиной толчки вращающегося пропеллера, как из соседнего ангара, услышав звук мотора, размахивая руками и что-то крича, выбежали механики. Навроцкий выстрелил в воздух. Механики остановились. Ещё через несколько секунд аэроплан взял разгон и, оторвавшись от земли, начал упрямо карабкаться ввысь, подминая под себя холодный осенний воздух...

### 3

Под правым крылом аэроплана Навроцкий видел берег Финского залива и летел, придерживаясь линии, начертанной водой, песком и соснами. Где-то там, внизу, всего несколько месяцев назад по дороге в Борго они с Лоттой вышли из автомобиля и сидели на дюне, любясь морем. Ему вспомнилось владевшее им тогда чувство — сладостное, томящее ожидание счастья, — и слёзы выступили у него на глазах...

Менее чем через полчаса полёта Навроцкий заметил, как под ним, оставляя за собой жирный шлейф дыма, по железнодорожному полотну медленно ползёт поезд; там, в одном из вагонов, с его, Навроцкого, деньгами, думая, вероятно, что находится в полной безопасности, сидит Шнайдер. Как и рассчитывал Навроцкий, из состязания с локомотивом «Фарман» вышел победителем: он легко нагнал и оставил позади себя поезд. Но перед самыми Териоками мотор у Навроцкого за спиной начал вдруг пофыркивать и работать с перебоями: горючее, очевидно, было на исходе. Он вспомнил прошлую зиму, когда был близок к тому, чтобы свести счёты с жизнью, и подумал, что сейчас сделать это было бы до смешного просто: стоит лишь направить аэроплан резко вниз или, дав полную волю

крылатой машине, откинуться в кресле и ждать смертельного удара. Но именно в эту минуту ему с невероятной жадностью захотелось жить. Он твёрдо знал, что даже отсутствие в баке горючего не сможет его убить. Мотор окончательно заглох, но, сплавив в несокрушимый монолит всё своё внимание, волю и чувство аэроплана, которое пришло к нему за эти немногие минуты полёта, он уверенно, не испытывая ни малейшего страха, посадил бесшумно планирующую машину на шоссе вблизи териокского вокзала. Добежав до перрона, когда поезд уже тронулся после третьего звонка, он едва успел вскочить в замыкающий состав тёмно-коричневый с фиолетовым отливом вагон третьего класса и, на минуту задержавшись, чтобы перевести дух, в тамбуре, медленно пошёл по вагонам, всматриваясь в пассажиров. Шнайдера не оказалось ни в первом вагоне, ни во втором, ни в третьем. Наконец, миновав пять вагонов, Навроцкий обнаружил его в одном из купе первого класса. Прижимая локтем к туловищу небольшой кожаный саквояж, Шнайдер читал газету, и, хотя она заслоняла ему лицо, Навроцкий узнал своего бывшего управляющего по цвету волос и манере стричься. Он подошёл к нему вплотную и, одной рукой стиснув рукоятку револьвера в кармане пиджака, другой отстранил газету. Из-за газеты на него вскинул глаза незнакомый господин с бакенами и усами а-ля Вильгельм. Навроцкий смешался.

— Прошу извинить. Я ошибся...

Господин с бакенами посмотрел на него тяжёлым, напряжённым взглядом и не проронил ни слова. Навроцкий пошёл по вагону дальше. У него мелькнула мысль о бесполезности этой погони. Какая наивность — поверить Петрову! Он вышел в тамбур и начал взвешивать дальнейшие действия. На ум ему пришло, что где-то он уже видел пер-

стеню с зелёным камнем, подобный тому, что сидел на пальце этого субъекта с газетой. Но где? Он вспомнил вдруг цимофан Ивана Карловича и тотчас догадался: это Шнайдер, он заgrimирован! Он бросился назад в вагон, на глазах испуганных пассажиров вынимая из кармана «Веблей», но господина с бакенами в купе уже не было. Навроцкому не оставалось ничего другого, как только двигаться в обратном направлении, в хвост поезда. В одном из вагонов дорогу ему преградил кондуктор-финн, но, заметив в глазах Навроцкого отчаянную решимость, а в руке — револьвер, отпрянул в сторону. Дверь в последний тамбур оказалась закрытой и не поддавалась. Через стекло Навроцкий увидел, что Шнайдер готовится выпрыгнуть из поезда. Едва он успел подумать, что при такой скорости тот непременно покалечится, как в руке управляющего мелькнул чёрный металл, в тамбуре громко бахнуло и зазвенело разбитое стекло. Пассажиры в вагоне вздрогнули, дамы ахнули и завизжали. Навроцкий почувствовал, как что-то обожгло его левое предплечье у самого локтя. Пиджак был пробит пулей, кожу саднило, но рука действовала. В тот момент, когда он сделал ответный выстрел, Шнайдер распахнул дверь и выпрыгнул из поезда. Через разбитое стекло Навроцкому удалось освободить заблокированную ручку и выйти в тамбур. Ещё секунда — и он не раздумывая шагнул в обдававший поезд жёсткий поток воздуха. Упав на железнодорожную насыпь, он почувствовал резкую боль в плече. Смесь пыли и паровозной гари ударила ему в лицо, царапнула, точно наждаком, в ноздрях, в горле. Невдалеке, в перелеске, он увидел фигуру припадающего на одну ногу Шнайдера и, нацелив на него ствол «Веблея», дважды нажал на гашетку...

## Глава двадцать седьмая

### 1

— Яблоки полезны, Пётр Алексеевич. Когда их жуёшь, думается лучше, — говорил Милосердов, с хрустом надкусывая солидной величины краснобокое яблоко и наблюдая за передвижениями по стене большого чёрного паука.

Тайцев, зашедший в сыскное отделение узнать, как продвигается следствие по делу Навроцкого, уже не раз слышал от своего приятеля дифирамбы яблокам.

— Знаем, знаем... — усмехнулся он. — К'ю яблоко в день съедает...

— Вот именно, Пётр Алексеевич! А какие яблоки росли в саду у моей матушки! Мёд, а не яблоки! Нынче таких уже не встретишь...

Узнав от Милосердова, что тот только что вернулся из госпиталя, куда отвезли раненого Маевского, Тайцев терпеливо дожидался, когда Платон Фомич расскажет подробности.

— Вот ведь тварь, а тоже жить хочет, ползёт куда-то по своим паучьим делам, — кивнул на насекомое Милосердов. — Загадочное, между прочим, существо... Я его на днях подкормить хотел, напихал ему в паутину хлебных крошек, так ведь не ест! Гордый, стало быть... Сам себя, мол, прокормлю... Вот бестия!

— Видно, не вегетарианец он, — заметил Тайцев. — Ты, Платон Фомич, лучше мух ему налови.

— Ты полагаешь? — покосился на паука Милосердов. — Да где их взять-то? Нет их уже, холодно...

— А ты купи.

— Где же это?

— Здесь неподалёку лавочка есть, там всякую живность продают: черепах, рыбок... За четверть фунта сушёных мух три копейки просят, а за унцию — копейку.

— Ему, может, не сушёных, а живых подавай... Уж очень привередливая тварь.

Милосердов положил огрызок яблока на край пепельницы, поработал кончиком языка между зубами, извлекая оттуда остатки сладкой мякоти, и только после этого посвятил Петра Алексеевича в подробности покушения на Маевского, о которых ему рассказал сам потерпевший, получивший серьёзное, но не опасное для жизни ранение.

— Позволь, Платон Фомич... — недоумевал Тайцев. — Что-то я в толк никак не возьму... Маевский, Петров, Шнайдер... При чём здесь дело Навроцкого? Что всё это значит?

Когда в голове Милосердова накапливалось достаточное количество материала для размышлений, развязка наступала очень быстро: хорошего крупного яблока ему обычно хватало для того, чтобы обдумать и проанализировать самые запутанные дела и выработать крепкую версию преступления. Так было и на этот раз. Когда тщательно прожёванная масса плода отправились в последний путь, оставив во рту и в душе Платона Фомича приятное о себе воспоминание, в голове его воцарилась заоблачная ясность. Покушение на Маевского представилось ему закономерным звеном в цепи событий, связанных с исчезновением Лотты Янсон. Сложившаяся у него версия опиралась на целый ряд фактов и умозаключений, и он готов был предъявить её суду. Походив по комнате в размышлении о том, как бы подходчивее изложить дело, он, довольный потирая руки, сказал:

— Это, Пётр Алексеевич, значит, что вышел славный пасьянс.

— Рад за тебя, Платон Фомич. Но кто же такой Петров? — спросил Тайцев.

— Этот Петров — личность примечательная, тёртый калач, — сказал Милосердов, немного подумав. — Некоторое время он служил в банке простым кассиром, а затем стал представляться членом правления банка и мало-помалу втёрся в аристократические круги. Это позволило ему провернуть несколько финансовых махинаций. Он проходил свидетелем по целому ряду уголовных дел, но его прямое участие ни разу не удалось доказать. К тому же он не гнушался сутенёрством и собирал дань с нескольких проституток, промысляющих на Невском проспекте.

— Ну и субъект!

— Используя знакомство с Дерюгиным и кое-какие слухи, ходившие в городских и околоправительственных кругах, — а впитывал он их в салоне графини Дубновой, — Петров придумал несложную комбинацию с липовой покупкой железнодорожной ветки с целью якобы её перепродажи казне и сумел втереться в доверие к Маевскому. Обвести вокруг пальца Маевского, который, несмотря на всю свою удачливость, смыслит в делах неважно, ему не составило труда. Маевский азартен, привык к успеху и поэтому слишком доверчив и неосторожен. К тому же он увяз в любовных интригах и сделался до глупости невнимательным в делах. Ну а уж Маевский, по подсказке того же Петрова, не догадываясь, разумеется, о готовящемся обмане, втянул в это дело вашего Навроцкого...

— А Лотта Янсон? Какое отношение ко всему этому имеет она?

— Лотта Янсон? Постой, Пётр Алексеевич... Ты меня не перебивай... Ну вот, кажется, сбился... Ёжик стриженный! О чём это я говорил?

— О том, что Навроцкого втянул в это дело Маевский.

— Ну да... Так вот, прикарманив деньги Маевского, а затем и Навроцкого, Петров и Шнайдер задумали избавиться от обоих, но так, чтобы не навести на себя подозрение и лучше чужими руками. Маевский же, который знал о деле гораздо больше Навроцкого и был для них опаснее, внезапно уехал за границу. Тогда они и решили не теряя даром времени начать с Навроцкого. Они установили за ним слежку, и, когда Петров вдруг обнаружил, что Лотта Янсон, с которой жил Навроцкий, невероятно похожа на его подопечную проститутку Глафиру Карпович, он тут же задумал воспользоваться этим обстоятельством. Но как? Пока он ломал над этим голову, Лотта Янсон возьми да и пропади, причём обстоятельства и причины её исчезновения, очевидно, были ему известны... Так или иначе, действовать он начал немедленно, в тот же день. Он сразу понял, что это подарок судьбы, и первым делом отправил на тот свет Карпович...

— Зачем?

— Во-первых, для того, чтобы избавиться от свидетеля своих неблагоприятных дел. Во-вторых, чтобы направить следствие по ложному пути, что, заметь, ему сначала и удалось. Ну и, в-третьих, чтобы руками правосудия упрятать Навроцкого надолго в тюрьму. Он считал, что для Навроцкого этого будет достаточно. Хуже было с Маевским, из рук которого он получил деньги. Не будь Маевский так занят любовными похождениями и прояви он больше интереса и настойчивости в деле с железной дорогой, он мог бы легко разоблачить Петрова. И это, несомненно, рано или поздно случилось бы. Поэтому здесь были необходимы более радикальные шаги, и Петров решился на убийство. Но убить Маевского он хотел вовсе не в собственной квар-



тире поручика, а заманив его в ловушку, чтобы легче было замести следы. Для этого он подослал к Маевскому Шнайдера. Маевский же, давно подозревавший Петрова в обмане, почуял это, вспыхнул, и между ним и Шнайдером произошла стычка с известным тебе, Пётр Алексеевич, концом.

— К счастью, Маевский жив...

— Повезло бедняге... И в который уже раз!

— В него и раньше стреляли?

— Ты, Пётр Алексеевич, кажется, не в курсе... Ведь он едва остался жив после автомобильной аварии. Однако речь сейчас не об этом... — Платон Фомич взял со стола графин, налил в стакан воды и сделал несколько глотков. — Так вот... — продолжал он. — Вернёмся к убийству Карпович. Застрелив её, Петров повязал ей на шею шарф Навроцкого и для верности засунул под одежду его же бумажник. Эти шарф и бумажник он уже давно нашёл у неё в квартире и по монограмме легко догадался, кому они принадлежали. Труп он сбросил в Неву, не привязав к нему никакого груза.

— Странно... Ему кто-нибудь помешал?

— Отнюдь не странно, Пётр Алексеевич. Ты, наверное, знаешь, что самоубийцы, чтобы утопиться, обычно привязывают к телу что-нибудь тяжёлое. То же самое делают и убийцы: вешают на труп своей жертвы камень или что-нибудь в этом роде...

— Разумеется. Я и говорю, что странно...

— Ну вот... А Петров, напротив, хотел, чтобы труп Карпович всплыл как можно скорее и желательно в людном месте, поэтому и сбросил его в Неву с таким расчётом. Он не без основания надеялся на то, что убитую скоро найдут и примут из-за поразительного внешнего сходства за про-

павшую Лотту Янсон, а о проститутке Глафире Карпович, приехавшей в Петербург бог знает из какой Тмутаракани, никто даже и не вспомнит. Всё это должно было неминуемо повлечь за собой арест Навроцкого, что и произошло. Уже на следующее утро был обнаружен труп Карпович, а вечером арестовали князя.

— Ловко же этот вурдалак всё рассчитал!

— Да, ловко. Но Петрову ещё и пофартило. Ведь аресту Навроцкого способствовало и то, что в канале ствола его револьвера был найден свежий нагар, а в оконной раме у него на даче застряла пуля.

— Да-а, ничего не скажешь, стечение обстоятельств...

— Вот именно, Пётр Алексеевич, стечение обстоятельств! Не мог же Петров рассчитывать, что Лотта Янсон будет стрелять в голубя!.. А теперь сам рассуди. Ведь что было у полиции? Револьвер Навроцкого со свежим нагаром — раз; пуля в раме — два; кровь на полу — три; простреленный труп, в котором князь сам признал Лотту Янсон, — четыре; и, наконец, на трупе найдены бумажник и шарф, оба с монограммой князя, — пять. И при этом никакого алиби у Навроцкого не было. Дача находится в уединённом месте, хозяева видели его накануне вечером, когда он вернулся из Петербурга, приходящая прислуга — на другое утро, а где он был ночью, подтвердить было некому. И как бы ты, Пётр Алексеевич, ни ругал полицию и моего Овечкина, а при таких обстоятельствах, согласишься, и ты, пожалуй, не раздумывая арестовал бы князя.

— Да, пожалуй... Но послушай, Платон Фомич... Разве мог Петров знать, куда исчезла Лотта Янсон?

— Объявись она вдруг, Петров бы ничего не терял. Он, разумеется, учёл вероятность такого оборота дела и обставил всё так, чтобы в убийстве Карпович его нельзя

было уличить, даже если бы личность этой проститутки полиции удалось установить. Впрочем, поскольку Петров пока не арестован, мы не можем знать, что, собственно, ему было известно об исчезновении Лотты Янсон и был ли он к нему причастен.

— Ты хочешь сказать, что он и её мог?..

— Этого я не могу утверждать, но, как это ни прискорбно, и исключить тоже. Учти, Пётр Алексеевич, что речь шла о миллионе рублей. Благодаря связям в аристократических и купеческих кругах Петрову удалось создать мифическое дело по покупке и продаже ветки железной дороги и без особого труда заполучить огромные деньги на собственный счёт в банке. За такие деньги он готов был устранить на своём пути все препятствия, и попытка убить Маевского доказывает это. К счастью, и Маевский, и Навроцкий живы, но опасность для них не миновала, пока Петров и Шнайдер на свободе. А ведь сегодня один из них был у нас почти в руках, и, если бы Навроцкий не дал такой досадной промашки, Петров сейчас сидел бы у меня на допросе. Надо было князю кого-нибудь приставить к нему или самому дожидаться полиции... Ну или хотя бы связать его покрепче... Когда мы приехали по указанному адресу, Петрова там уже не было.

— А где же деньги Навроцкого?

— Деньги Петров, разумеется, успел из банка забрать, но сейчас они, по-видимому, у Шнайдера, хотя, может быть, и нет. Не исключено, что Петров или Шнайдер попытаются скрыться с ними за границу. Кое-какие меры мы уже приняли, но их может оказаться недостаточно.

— А письмо? Найденное на даче князя анонимное письмо? Мог его написать сам Петров?

— Очень даже мог. Машинку «Ремингтон», на которой оно было напечатано, мы, к сожалению, пока не нашли, но я уверен, что написал его именно Петров или его сообщник Шнайдер. Они следили за каждым шагом Навроцкого и, узнав об его встречах с княжной Ветлугиной, решили этим воспользоваться. Петров ведь сам был вхож в дом графини Дубновой и, следовательно, был в курсе городских сплетен и хорошо знал о предстоящем бале-маскараде у неё на даче...

— Ну и хитёр же этот Петров! А что Шнайдер? Какова его роль?

— Шнайдер алчен к деньгам и летит на их запах, как стервятник на падаль, вот и всё. Кстати, по паспорту его фамилия Шнейдер, а вовсе не Шнайдер, как он напечатал на всех своих визитных карточках... Так вот, когда Петров посулил ему приличный куш, он легко согласился участвовать в этой афере. От него Петров получал информацию о состоянии дел Навроцкого, его возможностях и намерениях — до тех пор, конечно, пока Шнайдер не струсил и не предпочёл спрятаться от князя.

— Как же ты, Платон Фомич, распутал этот клубок? За что зацепился?

— За что? Ну, к примеру, за бумажник...

— И каким же образом, позволь узнать?

— Изволь. Навроцкий, разумеется, признал в утопленнице Лотту Янсон и не мог не признать бумажник с собственной монограммой. Это и неудивительно: Карпович дьявольски похожа на барышню Янсон, к тому же труп её сутки пробыл в воде, а бумажник... Нет ничего странного в том, что в такой ситуации, испытывая глубокое потрясение, Навроцкий не мог взять в толк, каким образом его

бумажник очутился на теле покойницы. Позже, у меня на допросе, он всё же вспомнил, что когда-то давно оставил этот бумажник у некой девицы Длашеньки при пикантных обстоятельствах. Адреса её он, разумеется, не мог припомнить, и мне пришлось отправиться на её поиски. В живых, как известно, этой Длашеньки к тому времени уже не было, но на Невском проспекте, после расспросов нескольких уличных девок, мне удалось установить её личность и кое-что узнать, в частности о связи её с Петровым. Есть и свидетельница, утверждающая, что Карпович рассказывала ей об оставленном у неё каким-то богатым посетителем бумажнике с монограммой *Ф. Н.* и даже показывала его. Когда я предъявил ей этот бумажник, она его сразу узнала. Опознала она и труп Карпович. Кстати, одна немаловажная деталь: на щеке Лотты Янсон, если внимательно приглядеться к её фотографическим портретам, есть миниа-турная родинка, а у Карпович её не было. Бедняга Навроцкий в случившемся с ним в морге нервическом припадке этого не заметил, да и неудивительно: на трупе, в том месте, где должна была находиться родинка, имелось странное повреждение, как будто щёку покойной чем-то скоблили. Можно предположить, что тело Лотты Янсон при падении в реку получило повреждение, — заметь, других повреждений, кроме отверстий от пули, у неё не было, — но мне подумалось другое: кто-то умышленно разодрал кожу на трупе в том месте, где была родинка, чтобы скрыть её отсутствие у покойной. Так вот, именно эта отсутствующая родинка и убедила меня окончательно в невинности Навроцкого. А дальше всё пошло, как в игре в домино: кость к кости. Сначала я собрал в архиве полиции сведения о Петрове, познакомился с делами, по которым он проходил

свидетелем, потом приватным образом допросил нескольких лиц... Да тебе, Пётр Алексеевич, это будет, пожалуй, неинтересно: в нашей работе много рутины... Но не сомневайся: если поймаю Петрова, вину его в убийстве Карпович смогу доказать.

— Силён же ты, Платон Фомич! Недаром про тебя говорят, что ты гордость питерского сыска...

— Будет тебе, Пётр Алексеевич... Не люблю я этого... — вздохнул Миросердов. — Теперь вот жду, когда телефонирует Навроцкий. Хотел бы я знать, где он сейчас... Боюсь, однако, что и Шнайдер, и Петров попытаются сбежать за границу через Финляндию. Это обычный путь наших уловников.

— Шнайдер опасен?

— Как тебе сказать... Он уже отбывал срок за мелкую растрату, но пока, кажется, никого не убивал, если не считать ранения Маевского и Петрова. Впрочем, возможно, у Петрова была лишь небольшая царапина или Навроцкому только показалось, что он ранен. Никаких следов крови в той квартире мы не обнаружили. Зато нашли сломанную мебель и все признаки драки. Поэтому не исключено, что лёгкое ранение, если оно и было, произошло случайно, во время вспыхнувшей между ними ссоры. Сдаётся мне, что кровавое намерение устранить Маевского целиком лежит на совести Петрова... По словам Маевского, Шнайдер выстрелил в него лишь тогда, когда испугался, что тот может выдать его полиции. Впрочем, кто знает? В тихом болоте бес сидит...

— А что же всё-таки могло случиться с Лоттой Янсон?

— Весьма вероятно, что она покончила с собой. Об этом свидетельствует акварель, на которой она изобразила соб-

ственное самоубийство и предсмертную записку. Акварель была свежей и писалась, очевидно, на скорую руку, так как всё, что находится по краям рисунка, обозначено довольно условно. Зато старательно выписаны её лицо, поза, порыв тела, в котором подчёркнуто намерение утопиться, и, наконец, текст записки. Эта акварель, вне всякого сомнения, послание нам.

— Но ведь труп не найден...

— Да, труп не найден. Но в нашей практике это не такой уж редкий случай. Утопленники не всегда всплывают. Она могла зацепиться за какую-нибудь корягу, а может быть, повесила на шею камень, который и держит тело на дне.

Пётр Алексеевич покачал головой.

— Жаль, — сказал он с горечью. — Очень жаль. Славная была девушка... И так любила Навроцкого... Это было заметно.

## 2

Прошёл час. Милосердов и Тайцев молчали, думая каждый о своём. Наконец звонок телефона заставил обоих вздрогнуть. Платон Фомич снял трубку. Слушая, он изредка поглядывал на Петра Алексеевича.

— Да... А вы что же?... Я приму меры... А вы сразу ко мне... Ну хорошо, завтра... — доходили до Тайцева его короткие реплики.

— Ёжик стриженный! — проворчал Милосердов, опуская трубку на рожек.

С минуту он сидел в кресле с хмурым лицом, обдумывая, по-видимому, какое-то решение.

— Да в чём дело-то, Платон Фомич? — не выдержал Тайцев.

— Ты, Пётр Алексеевич, посиди здесь, — сказал Милосердов, вставая. — Я сейчас вернусь.

Он вышел, но уже через несколько минут вернулся.

— Телефонировал Навроцкий, — сообщил он. — Он поймал Шнайдера, но тот всё же ускользнул. Я сделал кое-какие распоряжения, но боюсь, что теперь это бесполезно: Шнайдер уже в Финляндии, а с тамошней полицией у нас, как ты знаешь, нынче отношения не ахти какие. Помощи от них не дождётся. Им всё кажется, что мы на их конституцию посягаем... — Он немного помолчал и сказал: — А деньги, между прочим, у князя.

— У Феликса Николаевича?

— Ну да.

— Слава тебе господи! — перекрестился Тайцев.

— Шнайдера Навроцкий ранил и одолел боксом, но из-за сильного ушиба плеча всё же упустил... Однако при пиковом интересе ваш князь не остался: саквояж с деньгами — у него. — И, расплывшись в улыбке, Платон Фомич добавил: — Ай да князь! Ай да ёжик стриженный! На аэроплане догнал этого проходимца!

## **Глава двадцать восьмая**

### **1**

Дело по обвинению Навроцкого в убийстве Лотты Янсон было прекращено. Чувство подавленности и горечи не оставляло его, однако, ни на минуту. Вскоре его постиг ещё один удар. Поздней осенью пришло известие о кон-



чине Екатерины Александровны. Душа княгини отлетела тихо, без страданий, во сне. Завещания она не оставила, и Навроцкий стал полновластным хозяином нескольких имений, приносящих постоянный доход. Материальная основа его жизни была обеспечена, но обстоятельство это не утешало его. Какими бы сложными ни были его отношения с матерью, после её смерти он почувствовал себя ещё более одиноким. Тёплое как будто потеряло для него значение твердыни, за которую он держался от молодых ногтей, чтобы не утонуть в холодной безбрежности жизни. И всё-таки, проходя через опустевшие комнаты старинного дома, встречая на каждом шагу знакомые с детства вещи, он не мог не чувствовать уютной теплоты, разлитой здесь в каждом углу, не испытывать желания когда-нибудь здесь осесть.

Ни у графини Дубновой, ни у Ветлугиных Навроцкий теперь не бывал, от сделанных Анной Фёдоровной попыток встретиться с ним уклонился. Надо сказать, избегал он и всякого общества вообще, и лишь Пётр Алексеевич да Дмитрий Никитич, считая своим долгом подкреплять и ободрять князя, изредка заходили к нему поболтать.

О поединке между Анной Фёдоровной и Лоттой Навроцкий узнал от Любови Егоровны, встретив её однажды в кафе «Рейтер», куда теперь часто заходил посидеть за столиком, за которым когда-то увиделся с Лоттой после приезда её в Петербург. Любонька поведала ему об этой странной дуэли под большим секретом, взяв с него слово никому ничего не рассказывать. История эта потрясла Навроцкого, и отчаянный поступок Лотты предстал перед ним в новом свете. Он снова и снова упрекал себя в слабости, нерешительности и непостоянстве — качествах,

приведших к столь трагическому концу. Иногда он приезжал в Осиную рощу и подолгу бродил в холодном, безлюдном парке, где ещё так недавно они гуляли вместе. По ночам Лотта являлась ему во сне. И снилось ему, как под его аккомпанемент, мягко ступая по половицам, босая, танцует она кэк-уок и в открытые окна дачи вместе с занавесками внезапно врывается ветер, пугая её, вызывая у них приступ смеха; как, закрыв глаза и подставив лицо солнцу, склоняет она голову на борт тихо скользящей лодки и концы её выпущенных на свободу волос слегка касаются тёмной воды; как, внимательно глядя на вазу с цветами, сидит она на веранде и сосредоточенно, осторожно водит кистью по листу бумаги — сама как цветок, сама как пейзаж... Как хотелось ему притронуться к её волосам, глазам, губам! Но не мог он двинуться с места, не мог протянуть руку... И каждый раз, просыпаясь, он не хотел верить, что это был сон, что никогда уже не увидит он её живой, смеющейся, благоухающей ароматом молодой жизни. И чувство неизбывной тоски, тупого отчаяния пронимало его до слёз: как мог он так мало ценить счастье?

В конце осени, когда Навроцкий вернулся в Петербург из недельной поездки в Тёплое, где прогулки верхом по схваченной морозцем земле несколько успокоили его нервы, почтальон принёс ему толстый пакет из фотографии Карла Буллы. В пакете лежала пачка снимков, сделанных в Осиной роще тем самым фотографическим аппаратом, который Навроцкий в конце лета подарил Лотте. Как видно, Булла сам решил выслать ему забытые, невос требованные снимки. Глядя в волнении на эти навечно застывшие мгновения, Навроцкий вновь испытал боль постигшей его утраты, вновь остро ощутил вину, которую не

мог искупить. И вместе с тем его охватывал тихий, радостный трепет, когда он держал в руках эти бумажные свидетельства их счастья, ведь на этих карточках она останется с ним навсегда...

В самые последние дни ноября в Петербург, как и ожидалось, приехал Клод Дебюсси. Чтобы отдать дань его летнему увлечению изысканной, утончённой музыкой этого композитора, Навроцкий сходил на его авторский концерт. У него в кармане лежала фотография Лотты, и ему всё время казалось, что сама она сидит в кресле подле него, что вот-вот притронется к его руке и встретится с ним взглядом, полным искреннего восторга. Он слушал музыку не шевелясь, почти не дыша, чтобы как можно дольше не разрушать эту иллюзию. И под призрачные, текучие, ускользающие, как сон, звуки к нему внезапно вернулась способность душевных движений, в сердце робко всколыхнулись умершие было желания. Он отчётливо ощутил потребность уехать, провести зиму за границей, зализать кровоточащую рану где-нибудь на берегу океана, в глуши. Мысль о поездке в Биарриц и Португалию, прерванной почти полтора года назад, овладела им с новой силой.

Когда он определённо собрался ехать, в морозном декабрьском воздухе, припудривая прохожих, метались мелкие, невесомые снежинки. Сквозь бесформенные, рваные тучи временами проглядывало солнце. Он испытывал слабое облегчение, точно болезнь на время утратила бдительность и отступила. Нужно было бежать, не дать депрессии вновь сковать его.

— Как поедете, ваше сиятельство? — спросил Афанасий, когда Навроцкий приказал ему съездить на вокзал за билетом.

— О чём ты?

— С которого вокзала то есть ваше сиятельство изволит ехать?

— Разве ты не знаешь, откуда поезда отходят в Париж? С Варшавского, разумеется... И сколько раз, дружище, просить тебя не говорить мне «ваше сиятельство»?

— Да уж привык я, ваше си... — запнулся Афанасий, направляясь к двери. — Всю жизнь вашего батюшку так называл.

— погоди, — остановил его Навроцкий. Он вдруг погрузился, сдвинул брови и в раздумье потянулся к крышке сигарного ларца.

Афанасий терпеливо ждал в дверях, наблюдая, как рделся кончик сигарки, пока Навроцкий её раскуривал.

— С Финляндского, — услышал он наконец решение князя и, вздохнув то ли оттого, что дорога туда была в два раза длиннее, то ли ещё от чего-то, закрыл за собой дверь.

## 2

Долго не решался Навроцкий съездить на дачу в Борго, где всё должно было мучительно напоминать ему о коротком летнем счастье. Дачу эту он хотел предоставить в полное распоряжение Петра Алексеевича, но перед отъездом за границу всё же собрался с духом и отправился туда.

Нанятый в Гельсингфорсе экипаж неспешно двигался по мощёным улочкам Борго, когда Навроцкий приказал извозчику завернуть к домику Лотты. И домик, и окружающий его палисадник оставались такими же, какими были летом. Ничего на первый взгляд не изменилось в этой картине, и лишь холодное время года наложило на неё унылую печать: домик как будто весь сжался под тяжестью серой декабрьской мглы, но внутри него по-прежнему

чуялись уют и тепло. Навроцкому больно было видеть это место снова, но что-то приковывало его к этому уголку, к окнам, завешенным светлыми занавесками. Не смея тронуться с места, не замечая, как слёзы ползли у него по щекам, он долго вглядывался в эти окна из-под поднятого верха экипажа. В глазах у него стало рябить, и он наконец решился ехать дальше, как вдруг что-то изменилось в застывшей перед ним картине: в верхнем этаже произошло какое-то движение, отдёрнулась штора, распахнулась дверь на маленький балкончик, и в проёме двери на мгновение показалась женская фигура. «Жилица», — подумал Навроцкий. Он приказал извозчику ехать, но тут же остановил его. Фигура мелькнула снова, балконная дверь захлопнулась, зажглась лампа и осветила лицо молодой женщины с книгой в руках. Он напряг зрение и не поверил собственным глазам: такими знакомыми показались ему и этот силуэт, и эти черты. И чем пристальнее он вглядывался в них, тем меньше оставалось у него сомнений. И когда через минуту он поднимался на крыльцо этого дома, когда, отчётливо ощущая удары собственного сердца, поворачивал рычажок звонка, ему казалось, что ещё мгновение — и сердце не выдержит этого внезапного потрясения и он упадёт замертво — вот здесь, на этом пороге, у её ног...

## Эпилог

### 1

Крохотный итальянский городок Белладжио, что прилепился к берегу живописного озера Комо у подножия гор, млел в лучах утреннего солнца. Кусты пунцовых азалий вносили в прозрачную весеннюю палитру сладкую, томительную ноту. Лодки рыбаков, возвратившись с уловом, покачивались у причала. С палубы маленького парохода сходили на берег немногочисленные туристы в соломенных шляпах и белых панзамах. Среди них выделялась красивая пара: худощавый высокий мужчина и молодая светловолосая женщина. Лица обоих сияли улыбкой.

— Здесь так чудесно! — сказала женщина по-русски, прищуриваясь и обводя взглядом белые фасады зданий и синеву озера.

— Ещё один маленький рай на нашем пути, — проговорил мужчина, оглядываясь кругом.

Они вышли на середину примыкающей к набережной площади, где женщина вдруг остановилась в оцепенении и закрыла побледневшее лицо руками. Стоя голубей, привлечённая семенами подсолнуха, которые бросала на землю сердобольная местная старушка, опустилась на площадь, окружив мужчину и женщину. Угадав причину испуга своей спутницы, мужчина обнял её за плечи и начал

горячо в чём-то убеждать. Но прошло несколько минут, а женщина всё стояла с закрытыми глазами и тихо дрожала. Тогда мужчина, выкрикивая какие-то русские слова, ожесточённо замахал на птиц руками.

— Синьор! Синьор! Что вы делаете?! — негодуяюще воскликнула старушка.

Но мужчина, не обращая на неё внимания, продолжал разгонять тучных, ленивых птиц, пока стая, обиженно дергая крыльями, не снялась и не исчезла за крышами домов.

## 2

На другой день рано утром, проснувшись и открыв глаза, женщина обнаружила, что около неё в постели никого нет. Она потянулась, прогоняя сон, и хотела было повернуться, но не смогла: руки и ноги её оказались связанными. В изумлении осмотрелась она и увидела, что в ногах у неё, впившись в неё мутным, водянистым глазом, сидит отвратительный голубь-альбинос. Сердце женщины обдало ледяным ужасом, из лёгких её вырвался крик.

В это время мужчина расхаживал по коридору гостиницы с сигаркой в зубах. Услышав крики, он быстро подошёл к двери номера. До него донеслись рыдания, перемежаемые невнятным шумом. Он поморщился, но не двигался с места. Через несколько минут всё стихло. Немного подождав, он осторожно открыл дверь и вошёл в номер.

Голубь мирно дремал в ногах у женщины, её мокрое от слёз лицо было спокойно. Казалось, оба они — и женщина и птица — навеки смирились со своей участью. Мужчина отвязал голубя от спинки кровати и, открыв окно, выпустил на волю. Белая птица хлопнула крыльями и, точно кусочек сахара, растворилась в густом утреннем тумане.

Освободив женщину от пут, мужчина присел на краю кровати, но невольно отпрянул: рука женщины взметнулась, чтобы ударить его по щеке, и тут же упала, словно надломилась, не выдержав тяжести направлявшего её гнева...

### 3

Исполнили свою незатейливую арию стенные часы. Мужчина и женщина молча смотрели друг другу в глаза, и им казалось, будто какой-то сказочный гигант укладывает и этот чужой город, и случайный отель, и перенесённую ими боль в грандиозное, нерушимое сооружение их общей судьбы. И вдруг доблестный, победоносный Дажбог, стремительно перевалив через горы, искромсал лучами-пиками жирный туман — неповоротливого стражника, сибаритствующего на мягкой озёрной перине, взял штурмом город, ворвался в окно гостиничного номера и ревниво высветил лицо молодой женщины, будто желая спросить: «Веруешь ли в меня?» И лицо женщины озарилось ясной, лучистой улыбкой. И в то же мгновение блеснул на ночном столике чёртov палец — её реликвия и талисман, и откуда-то с причала, поставив точку на безмолвии утра, весёлым напоминанием о жизни, о счастье в комнату залетел гудок парохода. Женщина прильнула к груди мужчины, и он услышал движение её губ, тихое, нежное, как прикосновение к щеке промытого дождём и согретого солнцем воздуха:

— Спасибо, Феликс! Я их больше не боюсь...

*Конец*

2002



*Литературно-художественное издание*

**Владимир Валентинович Крюков**

## **ЧЁРТОВ ПАЛЕЦ**

Ответственный редактор *Наталья Хаметишина*

Художественный редактор *Александр Яковлев*

Технический редактор *Татьяна Харитонова*

Корректор *Людмила Самойлова*

Верстка *Светланы Копелевич*

Подписано в печать 02.02.2007.

Формат издания 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 18,48. Тираж 5000 экз.

Изд. № 70060. Заказ № 91.

Издательство «Амфора».

Торгово-издательский дом «Амфора».

197110, Санкт-Петербург; наб. Адмирала Лазарева, д. 20, литера А.

E-mail: [info@amphora.ru](mailto:info@amphora.ru)

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Лениздат».

191023, Санкт-Петербург; наб. р. Фонтанки, 59.





